

Владимир Ситников
СВАДЕБНЫЙ КРУГ



Владимир
Ситников



СВАДЕБНЫЙ КРУГ

Роман



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1986

84P7
С 41

Доработанное переиздание

С $\frac{4702010200-051}{078(02)--86}$ 136—86

- © Верхне-Волжское книжное издательство, 1981 (книга 1),
- © Верхне-Волжское книжное издательство, 1983 (книга 2),
- © Издательство «Молодая гвардия», 1986 г.

РАЗЛАД

Заросшая дикими китайками старая двухэтажка недавно еще глядела своими подслеповатыми окнами на мшистое, с оползшими могилами кладбище. А теперь на прахе безвестных бугрянских мещан и купчишек поднялись два пятиэтажных дома, исполненных по всем правилам малогабаритного зодчества. От этого соседства двухэтажка сжалась, стала еле приметной, но благодаря ему дождалась и цивилизации: раскатал коммунхоз асфальтовый блин, который пришелся по вкусу ребятам. Прыгали по «классам» голенастые девчонки, а в первомайские праздники и на троицу завладевали асфальтированным тротуаром взрослые жильцы.

Щупленький электромонтер, дядя Петя Сюткин, снимал со шкафа гармонь, высвобождал ее из клетчатого головного платка и выходил к лавочке. Он был в новых длинноватых и широковатых брюках, в непривычной капроновой белой рубашке. Ощупав протертую до желтого дерева хромку, пускал по улицам пробную трель и говорил:

— Эх, сыграть, чтоб в деньгах не нуждаться.

Раньше всех трель достигала слуха дяди Петиней жены, долгоносой бойкой Раиски. Та дробила по тротуару каблуками уцененных туфель и кричала соседкам:

— Девки, айдате плясать!

И выходили поседевшие, отяжелевшие «девки».

К новым дяди Петиним импортным брюкам ремня не полагалось, и они, не рассчитанные на нестандартную замухрышистую его фигуру, сползали. Дядя Петя исхитрялся, играя, подтягивать и поддерживать брюки локтями, и когда это не получалось, останавливал игру.

Гордо постукивая каблучками, ладная, в пригнанном по фигуре белом костюме выпархивала на улицу дочь верхней жилички Елены Николаевны Новиковой — Надька и намеревалась проскочить мимо. Лицо отчужденное, неприступным серпом выгнута бровь. Но Раиска

не признавала такой холодности, хватала Надьку за руку.

— Ой, да модная-то какая, гли-ко, все у тебя на-бекрень,— кричала она.— Присядь-ко, не чинись, из эдакого же теста сделана.

На смуглом лице Надьки сменялись чувства. Одно — сердито вырваться (но Раиску этим не возьмешь), второе — простовато расслабить лицо (с праздником вас!) и тоже уйти.

— Ох, девка-огонь,— выдыхал в восторге дядя Петя,— кому така достанетца, бес — не девка! — и проводил взглядом красивую, упруго идущую Надьку.— Пошто я рано-то родился?

— Не болтай-ко,— походя смазав мужа по затылку, кричала Раиска.— Испроверила я тебя.

Дядя Петя опять послушно брал гармонь.

Надька в отдалении останавливалась, открывала такую же белую, как костюм, сумочку, оскалившись перед зеркальцем, подводила помадой губы, нагоняла на лицо неприступность и отправлялась на уголок, где ждал ее Гарька Серебров. Гарька боялся попасть в полон к бывшим соседям из старого дома и только издали наблюдал веселье.

Застилая двухэтажку синим чадом, по воскресеньям с утра стреляли моторами мотоциклы и мотороллеры, солидно урчали «Москвичи» новоселов. На балконе нового пятиэтажного дома широко опирался на перила молодой инженер в белой рубашке. Оглядев округу, он отводил большими пальцами узкие модные подтяжки и баритонисто пел свадебную песню — эпиталаму из оперы «Нерон». Пел и делал вид, что никого не замечает: «О-о, Гимене-ей!»

Надька Новикова догадывалась, отчего так самозабвенно заливается новосел, и распахивала створки своего окна.

— Спойте еще что-нибудь,— просила она певца. Баритонистый инженер понимал, что ария дошла по назначению, и старался. Он был вроде ничего, привлекательный и, кажется, холостой. Во всяком случае его, как других, никто не утягивал за модные подтяжки в глубь квартиры.

— Будто Богомаев,— со знанием дела произносил дядя Петя.

— Магомаев, а не Богомаев,— поправлял его младший сын. Потом соседи из старого дома увидели Надь-

ку на балконе у того инженера. Дядя Петя крутил сердито головой.

— Ишь прохиндей, обхаживает нашу девку. Где Гарик-то Серебров?

Гарьке Сереброву тоже страшно не нравилось, как легко и быстро заводит знакомства его Надька. А она, то ли поддразнивая, то ли хвалясь, говорила ему, что один знакомый мим из театра считает ее похожей на итальянскую актрису Джину Лоллобриджиду, а перво-разрядник по альпинизму приглашает поехать на Кавказ. Оскорбленно качая головой, Гарька не без яда спрашивал, не слишком ли много у нее поклонников?

— А разве это плохо? Чем это тебе не нравится? Ты разве мне муж? — вскинув голову, недоумевала она.

— Ну, не муж, а все-таки, — терялся Гарька, поламывая свои длинные тонкие пальцы.

— Ревнуешь? — догадывалась Надька. Это ей нравилось. Ее ревнуют: — Ха-ха.

Однажды Гарька встретил Надьку с балконным баритоном около почтамта. Надька, прикрыв глаза, нюхала букет сирени, видимо, преподнесенный баритоном, а тот, поулыбываясь, держал в руках Надькину модную сумку и рассказывал что-то веселое. Он был высокий, на голову выше Гарьки, плечистый, уверенный и красивый.

— Надя! — внутренне вскипев, позвал издали Гарька. — Мы опаздываем в кино.

Прозвучало это раздраженно и обиженно. С пренебрежением махнув на Гарьку букетом, Надька досадливо сказала:

— Да подожди ты.

— Ну, зачем так, — плавно разведя руками, с мягким упреком проговорил баритон. — Давайте познакомимся, молодой человек, меня зовут Виктор, Виктор Павлович Макаев. Я работаю на машстройзаводе, по-вашему, на «чугунке».

Гарьке ничего не оставалось, как пожать великодушную руку этого Виктора Павловича.

— Ты знаешь, — сразу затараторила Надька, с торгом глядя на Макаева, — Виктор Павлович, оказывается, был в Финляндии и в Венгрии. Так интересно! А как он поет!

— Так вот финны — феноменально спокойны, — так же улыбаясь, продолжал Виктор Павлович. Говорил он о спокойствии, а в глазах вспыхивали опасливые искорки, крепкие, как боровые рыжики, уши пламенели от

присутствия невысокого, задиристого вида студентика с чибисовым хохолком волос на макушке.

— Скажи, когда это кончится? — прошипел Гарька, хватая Надьку за руку, когда Макаев закончил свой рассказ и, улыбочиво распрощавшись, пошел восвояси.

— Знаешь, Гарольд, — вырвав руку, назвала она его нелюбимым полным именем, — мне противно смотреть, как ты выкаблучиваешься. Чтоб больше такого не было, — и Надька, самолюбиво надув губы, молча пошла вперед.

На другой день они выскочили из ателье, где работала Надька, прямо под дождь. В сторонке около новенькой голубой «Волги» стоял Макаев в редкостном модном плаще болонья. Шурша и свистя полами этого черного, сверкающего от воды плаща, он подбежал к ним: садитесь, а то промочит.

Доброжелательнейший Виктор Павлович открыл дверцу. Гарька заподозрил, что Макаев уже давно сидел в машине и ждал, когда на крыльце появится Надька, и у него защемило сердце.

Надька сразу впорхнула в «Волгу», нехотя влез и Гарька. Они ехали по туманному от дождя Бугрянску. Надька, словно играя на Гарькиных нервах, сказала, что давно мечтает научиться водить машину.

— О чем может быть речь? Пожалуйста! — ласково взглянув на нее, согласно проговорил Макаев.

Откуда такая внезапная прихоть у нее? Гарьке она никогда об этом не говорила.

— А вы не свозите меня в Усть-Белецк? Там, говорят, есть красивые венгерские босоножки, — заговорила Надька, и Гарька помрачнел. Что она все вяжется к этому Макаеву? И опять уверенный, доброжелательный Виктор Павлович отвечал:

— О чем речь? Пожалуйста!

Гарьке показалось, что какая-то невидимая тайная нить протянулась между Надькой и Макаевым, и он не в силах ее спутать или порвать. Это ощущение беспомощности мучило его, хотелось быстрее вытащить Надьку из машины и пешком, прямо по лужам убежать подальше. Как он ненавидел этого Макаева! Гарька мрачно курил и, отвернув голову, смотрел на мокрые с обвисшими ветками липы.

Голубая «Волга», доброжелательный, готовый выполнить любую прихоть Макаев, видимо, поразили Надькино воображение. Какой он несуетный, уверенный, этот

Виктор Павлович. Для него нет ничего невозможного. Он может свозить ее в Усть-Белецк, он может купить дорогие духи, о каких не смеют мечтать девчонки из ее ателье. Гарька свирепел. Он жег ее презрительным взглядом.

— Ты не знаешь совсем человека и едешь,— выговаривал он ей после того, как Надька съездила с Макаевым в Усть-Белецк.

— Да что ты, Гарик, он прекрасный человек,— легкомысленно помахивая новой сумочкой, не замечала Гарькиной злости Надька.

В сентябре Гарьку послали на картошку. Он тщетно ждал от Надьки писем. Она всегда писала неохотно, считая переписку ненужным сентиментальным занятием, а тут вовсе ни одной весточки. Страдая от тревожного предчувствия, от ревности, что ли, или еще черт знает отчего, Гарька отбил из тихого деревенского почтового отделения одну за другой две негодующие срочные телеграммы. В ответ пришла телеграмма от Надькиной матери, Елены Николаевны. «Надя уехала друзьями юг. Все хорошо Новикова».

Какой юг? Она ни на какой юг не собиралась ехать. Но все-таки это была какая-то ясность. Мало ли, предложили горящую путевку, и пришлось срочно выезжать. Значит, писем не будет.

Вернувшись домой, Гарька нашел Елену Николаевну. Та проговорила, что Надьку пригласил поехать на юг на собственной автомашине не кто иной, как Виктор Павлович Макаев. Их несколько, автомобилистов с семьями, а Макаев один. Пассажир обязательно нужен.

Елена Николаевна еще плела что-то, успокаивая Гарьку. Они-де только проедут Кавказским побережьем Черного моря, как будто это была двухчасовая поездка за город. Гарька не находил себе места. Он был убежден, что Макаев обманет Надежду. Уже обманул. Разве это не обман: тридцатитрехлетний старик облапошил двадцатилетнюю девчонку. А у той, конечно, закружилась голова. Кавалер предлагает съездить на юг на своей машине.

Наконец он узнал, что Надька вернулась в Бугрянск, и бросился в старую двухэтажку. Он должен был тотчас убедиться в том, что Надька по-прежнему любит его. Иначе могло с ним произойти что-то страшное: могло лопнуть от противоречивых чувств сердце, могла расколоться от суеты мыслей голова. Запыхавшийся, чувствуя, как неистово колотится сердце, он влетел по лест-

нице на второй этаж старого дома. Надька открыла дверь сонная и сердитая. Взглянула исподлобья, лениво застегнула верхнюю пуговицу халата и спросила:

— Ты что — спятил? Бухаешь в дверь как полоумный.

А он улыбался, лез целоваться. Он же так стосковался.

— Если еще так будешь стучать, я тебя не пушу,— предупредила она, садясь на мятую кровать.— Ты шизик, что ли?

Гарька смотрел в такое бесконечно близкое, такое красивое лицо, перебирал Надькины пальцы и вдруг ужаснулся: неужели эти руки целовал Макаев? Руки у нее были красивые, с плавными, мягкими линиями изгиба. Неужели они обнимали Макаева? Нет, не может быть. Гарька встряхивал головой, стараясь избавиться от этих мыслей: нет, нет, нет!

— Ну, сколько пальцев насчитал? — отнимая руку, проговорила она.

Гарька подошел к столу, листнул лежавшую на нем книгу. От корешка посыпался попавший меж страниц пляжный песок. «Они загорали там вместе». Это было невыносимо.

— Угощайся,—показав на тарелку с желтыми яблоками, сказала она, позевывая.— На Украине купил.

Надька рассказывала о южном фруктовом изобилии, о море, о кострах, около которых они пели под гитару песни, с послеотпускным тщеславием гордилась загаром, сравнивая свои смуглые руки с Гарькиными. И где-то в глубине Надькиных глаз Гарька улавливал неведомые приятные отсветы той красивой жизни у бирюзового моря. Наверное, в ее ушах стоял обволакивающий, чарующий плеск воды. А может, это был не шум моря, а влюбленный шепот. Рот у Надьки был знойно полуоткрыт, будто от жажды, круглый, бараночкой, рот. Под глазами лежали темные полукружья, наводящие Гарьку на подозрения о чем-то тайном и порочном. «Ух, Надька-пантера, искусительница!» — хотелось простонать ему. Он поламывал пальцы и вскидывал больной взгляд на ее лицо, пытаясь распознать фальшь или угрызения совести, но ее глаза смотрели чисто и правдиво. Устыдившись своих подозрений, Гарька начал виниться в том, что он самое разное думал о ней.

— Если ты будешь такой подозрительный,— отбежав

к окну, крикнула она, — лучше не приходи. Кто ты мне, чтоб так, чтоб так... — и вдруг у нее задрожали плечи.

Гарька, пожалуй, только раз, когда она вернулась от бросившего их с матерью отца, видел Надьку плачущей. Ему стало вовсе невыносимо от своей тупой жестокости. Ох, какой он негодяй! Слепленный злобой ревнивец. Он подошел к ней, погладил по руке.

— Ну, извини, ну...

— Ты такое думаешь обо мне, — повернув заплаканное лицо, крикнула она. — Ты так глупо понимаешь. Разве не может быть чистой дружбы? Разве не может?

Гарька теребил занавеску. В дружбу с Макаевым он почему-то не верил.

— Ну, успокойся, — сказал он и утер своим платком ее глаза. Будто поверил ей, но сам успокоиться не мог. Он жаждал ясного и определенного ответа. Зачем Надежда ездила с Макаевым, что связывает их? Гарьке казалось, что ему от такого признания станет легче. Пусть она скажет, любит ли хоть немного его, Гарьку. Или уже надеяться не на что?

Надька сходила на кухню умыться, скомандовала, чтоб Гарька не подглядывал за ней, и ушла одеваться на веранду.

— Ты зря. Он хороший, он умный, веселый и добрый, а какие у него друзья! Знаешь, какая у него тяжелая жизнь? Он же только благодаря своей энергии и способностям выучился и стал инженером.

Гарьке хотелось кинуться к Надьке, схватить ее, он так бы раньше и сделал, а теперь не мог.

— А Макаев, значит, все чинил свою «Волгу»? — с ехидством спросил он.

— Как ты можешь так! — натягивая платье, крикнула она и пустилась опять рассказывать о том, что Макаев хороший. Он из очень большой бедной семьи. Мать и сейчас живет где-то в незначительном городишке на пенсию за умершего отца да на доходы от огородика, и Виктор помогает ей.

Они вышли на улицу. Пока Гарька рвал с потерявших листву китаек калено-красные терпкие яблочки для варенья, которое вдруг вздумалось сварить Надьке, она все еще рассказывала о Макаеве. Яблочки со звоном падали на дно кастрюли, которую держала Надька. Гарька заглушал стучком яблочек ее голос, но все равно она продолжала рассказывать неправдоподобную историю. По этой истории, много лет назад, когда Макаев

еще учился в техникуме, поехал он с отцом за покупками в Москву. И вот там произошел несчастный случай. Зазевавшегося Макаева-старшего сшибло автомашиной. Ее вел какой-то интеллигентный, солидный дядя, не то директор завода, не то крупный ученый. Водитель не умчался, а вместе с подоспевшим милиционером отвез пострадавшего в больницу и там поднял всех на ноги, чтобы были приняты экстренные меры для спасения. Витю Макаева этот человек увез к себе домой. Дня через два отец умер. Похороны взял на себя тот дядька, что сшиб отца. Он приезжал к Макаевым в городок, помог устроить Витину сестренку в техникум.

Виктор, окончив техникум, пошел в институт, а закончив его, проработал лет пять в Москве. Потом приехал в Бугрянск сразу главным технологом. Пост этот дан был ему не без участия влиятельного лица.

Гарька скептически усмехался. Надежда встряхивала возмущенно яблоки в кастрюле и обиженно говорила:

— Раз ты смеешься, я больше тебе рассказывать не буду.

А Гарьке показалось, что Макаев ценой жизни отца приобрел легкую судьбу. Другой бы отказался от всякой помощи человека, по вине которого погиб отец, а этот...

— Ты ничего не понимаешь,— возмущалась Надька.— Хватит мне, не надо больше этой кислятины. Слезай!

Но Гарька назло ей обрывал яблоки.

Всю осень и зиму они ссорились, иногда не встречались неделями. Это были невыносимо тяжелые дни. Гарька с невероятным трудом дотянул до зимних каникул и сразу же уехал в дом отдыха. Мать сказала, что иначе сын завалит дипломный проект. Да и, собственно, она не хочет видеть, как он нервничает и становится настоящим психом.

Гарьке и вправду стало в доме отдыха лучше. Он ходил на лыжах по сосновому бору,пил пузырьчатую воду из источника номер один, который, по преданиям, бытующим здесь, давал силу и возвращал красоту. Молодежи в доме отдыха было много, и к Гарьке вернулось обычное состояние легкой веселости. Он играл на гитаре и пел, участвовал в викторинах, в общем, окунулся в беззаботную жизнь.

Позвонив домой, он заговорил с матерью бодрым и повеселевшим голосом. Слышимость была прекрасная.

Стояла ночь, падал снег за окном, и голос матери был совсем рядом. Не мешая разговору, что-то позванивало в трубке, будто чивикали птицы. Этакое веселое, музыкальное сопровождение.

— Папа чувствует себя хорошо,— рассказывала Нинель Владимировна.— Да, Гаричек, ты обрадуешься, я тебе такой прекрасный свитер купила. Коричневый, крупной вязки. Все говорят, что тебе будет к лицу.

Гарька расспрашивал мать, видела ли она кого из знакомых, а ему хотелось узнать, не звонила ли Надька. Неужели она вовсе забыла его?

— Да, ты знаешь,— вдруг с осуждением заговорила сама Нинель Владимировна.— Надежда-то выходит замуж за какого-то Макаева. Наверное, это тот, с которым она ездила летом на юг. Елена Николаевна его расхваливает, а я думаю: хорошо, что Гарик перестал встречаться с Надеждой. Такая легкомысленная, ветреная девчонка.

Гарька чуть не выронил трубку и, чтоб не выронить, до боли притиснул ее к уху. У него перехватило горло. Он был безгласен, нет, он был просто мертв.

— Гарик, Гаричек, не переживай,— догадавшись, почему молчит сын, встревожилась Нинель Владимировна.— Из-за такой дряни переживать. Понял? Не переживай,— уже кричала она.— Ты что — не слышишь? Отвечай!

Нет, Гарька все слышал, крик матери был совсем рядом. Он оглушал его. Казалось, что крик этот несется по всему зданию дома отдыха.

— Хорошо. Я все понял. Все понял,— промямлил он и, повесив трубку, опустился в кресло, разбитый и оглушенный. «Как же так? Чего она наделала? Чего она наделала? А может, это вранье? Нет, не вранье, это правда. Это должно было случиться»,— пронеслось у него в голове.

Наконец Гарька понял, что он должен сделать. Нужно сейчас же ехать к Надьке и уговорить ее не выходить замуж. Он не стал ждать утра. Он накинул демисезонное легкомысленное, взятое для шика пальто и отправился на тракт.

Мела поземка. На дорогу языками выползали суметы. На открытом этом месте Гарьку плотно охватила и сковала смертельная стужа, но он вроде не чувствовал ее. Наконец возле него притормозил молоковоз, и зако-

ченевший Гарька забрался в пахнущую бензином кабину.

Старый деревянный дом еще наполовину спал. Содрогнулись и загудели стены, когда он забарабанил в дверь. Надька, уже одетая в свой любимый полосатый свитер-самовяз, на этот раз не возмутилась, не назвала Гарьку шизиком. Увидев его, она вскрикнула словно бы от радости и удивления: «Ты!» — и, не дав растерянности захватить себя врасплох, пропела.

— Ой, Гарик, вернулся! Поздравь меня, я выхожу замуж.

Не думала ли она, что он обрадуется?

— За Макаева? — шагнув в комнату, спросил он зачем-то.

— Да, Виктор мне сделал предложение, и мы уже записались, — сказала она и показала кольцо. Кольцо было массивное.

— Первое звено в цепи, которой ты сковываешь себя, — съязвил Гарька. Ему хотелось быть суровым и холодным и сделать что-то мужественное, сильное. К примеру, гордо уйти, сотрясающе хлопнув дверью, но вместо этого Гарька прижал к груди руки и растерянно пролепетал:

— А как же я? Я-то как, Надя? Ведь я, — и вдруг у него потекли слезы. Презирая себя, он силился сдержаться, но от этого борения с самим собой начались всхлипы, он вдруг заревел. Заревел по-настоящему, глупо, некрасиво, как не ревел с самого детства. Он отвернулся к стене и, прикрываясь от Надьки рукой, плакал.

А Надька испугалась. Она теребила его за рукав пальто и бормотала:

— Ну, Гарик, ну, что ты?

Он, все еще стыдясь смотреть на нее, вытер глаза и ругнул себя:

— Ух, мямля! Ух, идиот! — и стукнул кулаком по спинке стула. Рука не чувствовала боли.

— Ну что ты, Гаричек, — растерянно бормотала Надька. — Ты успокойся. — Она усадила его на стул, прижала его голову к груди. — Ну, что ты, глупенький. Не плачь, а то и я зареву, — и она тоже всхлипнула.

Гарька почувствовал себя маленьким-маленьким, ни за что ни про что обиженным и побитым, но он вскочил. К черту все! Он схватил Надьку за плечи и жадно, безжалостно начал целовать в лицо, в губы, в волосы, в шею. Она, задыхаясь, уклонялась от этих злых поцелуев,

а потом сама впиалась в его губы своими губами, приникла к нему.

— Гаричек, Гаричек,— простонала она. Потом, потрянув головой; проговорила уже потрезвевшим голосом: — Все, все, Гарик! Все и навсегда.

Гарька хлюпнул носом, утер рукавом пальто глаза и пошел к двери. Он и вправду понял, что все.

— Гарик, прости,— донеслось до него.

Он повернулся к Надьке, посмотрел на нее долгим презрительным взглядом.

— Эх, ты,— сказал он, а потом, сделав шаг к ней, взмолился: — Не выходи за него!

Надька вытянула руку, словно защищаясь.

— Все, Гарик, все. Вот кольцо.

— Плевать на кольцо! — крикнул он.

— Я люблю его,— нетвердо проговорила Надька.

— А я не верю. Зачем тогда ревешь?! — снова крикнул он.

— Мне тебя жалко, Гарик,— отозвалась она.

— Дура! — с презрением сказал он и, задев плечом о стену, пошел на улицу. Было уже светло. Он не знал, как отомстить, как навредить Надьке и Макаеву. Надо, наверное, убить этого подлого типа. Потом он понял, что Макаева убивать не надо. Пусть самого Гарьку убьют где-нибудь. Тогда Надька поймет, что только Гарька был дорог ей.

Надька и Макаев набрались нахальства и прислали Гарьке напечатанное типографски зазвонистое приглашение на свадьбу. Гарька решил, что ему, прежде чем погибнуть, стоит прийти туда и за столом закатить речь против Макаева. Пусть все знают, какой он! Но Гарька никуда не пошел. В тот вечер он сидел дома и смотрел телевизор, но не видел, что делается на экране, потому что в голове у него был еще один экран. Гарька представлял, как Надька обманута и одиноко сидит рядом с преуспевающим тузом Макаевым. Гости кричат «горько». Ему от этого крика становилось так тяжело, что хотелось кусать себе руки и выть.

Временами Гарьке казалось, что он умрет от обиды. Но, удивительно, он жил, отправлялся в положенное время в институт, даже защитил дипломный проект, хотя не верил, что защитит.

Когда Гарька решил, что он успокоился, долго не видя Надьку, вдруг раздался в телефонной трубке ее го-

лос. В нем он уловил виноватость и вроде бы даже прежнюю нежность.

— Это ты? Я боюсь нарваться на Нинель Владимировну, — сказала Надька. — Мне надо с тобой поговорить. Все на меня дуются, а эта взбалмошная тетка Раиска даже обозвала меня бессовестной. Мне так тяжело. Ты можешь ко мне прийти?

Наверное, Гарьке надо было бросить трубку, а может, сказать, что тетка Раиска совершенно права, но Гарька вместо этого кинулся в старинный с пилястрами домище — «дворянское гнездо», где Макаев получил квартиру.

Надежда встретила Гарьку какая-то растерянная. Смуглое лицо ее было бледным, под глазами темнели полукружья.

— Я у твоих ног, — с поспешной всепрощающей радостью выпалил он, сбрасывая пальто. — Наденька...

— Тихо, тихо, — отступая от него в глубину комнаты, растерянно проговорила она. — Я... Ты знаешь, какая-то я теперь...

— Зачем тогда замуж выходила? — сказал Гарька. — Брось его. Мы уедем с тобой на Камчатку или в Ставрополь к дяде Броне.

— Дурачок, — по-взрослому сказала Надька, приближаясь к нему, — я хочу, чтобы у нас была дружба, чтоб ты не сердился.

Надьке, наверное, нравилось быть хозяйкой большой, высокой квартиры с лепными карнизами. Квартира была похожа на музей: дверь с массивной старинной щекоткой и кольцом, трюмо в черном железе, такие же фонари. Ни дать ни взять, средние века в местном макаевском исполнении. Чем дальше, тем больше чудес. На широкое ложе в сумеречной спальне смотрят со стены деревянные рогатые рожи — подделка под египетские маски.

Гарька ходил по «музею» и думал, что Виктор Всесильный — так он называл Макаева — человек с запрограммированной жизнью. На первом месте машина, на втором жена, потом квартира. И вот Макаев довольно настойчиво и последовательно достигает всего этого. Надька сказала, что он не раз отказывался от малогабаритных квартир, чтоб получить эту. Для метража чисто теоретически должна была жить у Виктора Всесильного его мама, но мама оказалась мифической: она ни разу не бывала здесь. У мифической мамы, не думавшей даже

ехать к сыну, предполагалась больная нога, поэтому Макаев получил хороший третий этаж.

Надька неловко, боясь разбить, доставала хрустальную вазу с печеньем, неумело, путаясь в широких рукавах шелкового, наверное, дорогого халата, готовила чай. Гарька с тоской и щемящей нежностью угадывал эту неуверенность. Ему хотелось схватить ее за плечи и поцеловать, как когда-то, но обида держала его, заставляла скептически обозревать макаевские апартаменты. А Надька, Надька, гордая недотрога, вдруг всхлипнула, и слезы закапали прямо в чай. Этого он уже вынести не мог, все заслонила жалость. Он обнял Надьку, ткнулся губами в шею. И Надька, не позволявшая ничего, кроме поцелуев, когда он ухаживал за ней, тут сама сбросила свой скользящий шелковый халатик и, закрыв глаза, прижалась к нему.

— Я так стосковалась, Гаричек,— прошептала она, доступно и согласливо подчиняясь ему.

И как Надька могла любить какого-то Макаева, если так иступленно любила его, Гарьку?!

Уходя, Гарька боялся смотреть Надьке в глаза, не радость, а стыд вызвала у него эта любовь, которой Надька, наверное, хотела загладить свою вину. И все же они продолжали встречаться. У Гарьки было противно, пакостно на душе. «Больше этого не будет. Надо взять себя в руки»,— каждый раз после встречи с Надькой убеждал он себя, но взять себя в руки не мог. Он поджидал Надьку около ателье, звонил ей, мчался со всех ног, чтоб увидеть. Но это уже была не та любовь, что до ее замужества, а какая-то тяжелая, жадная, горькая и испуганная. И Гарька мучился оттого, что она получалась такой. Надо было что-то делать. Вот если бы Надька решилась и плюнула на своего Макаева...

— Нет, Гарик, нет,— торопливо повторяла она, закрывая Гарьке ладошкой рот— этого не будет. Нельзя!

И как она могла так жить?!

Наконец это кончилось. Гарька получил распределение в Крутенскую Сельхозтехнику. Он наотрез отказался оставаться в Бугрянске, хотя Нинель Владимировна успела где-то закинуть словечко о том, чтобы сына оставили в городе на ремзаводе.

— Ну, что ты молчишь, Стась? — наступала она на мужа со слезами в голосе.— Скажи ему.

Станислав Владиславович, огромный, очкастый, побрякивал в кулак. Он недолюбливал город, всегда с об-

легчением покидал его, как только открывалась охота. Если не было в больнице дежурства, уходил вместе с Гарькой из дому на праздничные дни. Голубоватые ельники, омывающие росой сапоги щетинистые ржаница, запахи соломенных суметов были милы ему с детства. Разве идет все это в сравнение с ленивой городской толчеей, с фальшивым великолепием фанерных колоннад в городских скверах. Хмуря могучий лоб, Станислав Владиславович поправлял очки и неопределенно произносил:

— Сам большой, пусть сам.

— Но, Стась, как он один? — моляще смотря на мужа, стонала Нинель Владимировна.

— Вот это разговор. Папа прав, — откликнулся Гарька и гладил начавшие стареть, покрывшиеся морщинками материны руки. Гарька покидал Бугрянск с облегчением. Ему казалось, что, униженно, безвольно волочась за Надькой, он в конце концов доконает себя и жизнь его будет пустой и никчемной, запутается он в чем-то лживом.

СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ

И в Крутенку продвинулся прогресс. За два с половиной часа долетел сюда Гарька на электричке. Отчего-то не обратил он внимания в давние свои посещения, когда работал на уборке, что стоит Крутенка на известняках. Сахарными отвесными стенами спадал берег к речке Радунице. На улицах в сухую августовскую пору долго и непроглядно держалась белая мучная завеса. Зато как хорошо стучали уверенные шаги по сносившимся, позеленевшим от времени опокowym тротуарам. Такие тротуары привели инженера Сереброва к районному объединению Сельхозтехника. Там его встретил управляющий этим объединением Арсений Васильевич Ольгин, усмешливый моложавый человек с казачьим смоляным чубом. Нового инженера Сереброва с заковыристым странным именем Гарольд вводил он в курс местной жизни.

Крутенский район — самый северный в Бугрянской области. Леса да болота, поля-пятачки. Был он в разное время в составе разных краев и областей и, как память об этом, осталась странная особенность: учреждения живут по местному времени, а окрестные деревни и поселки — по московскому, на час позднее. Говорят, что это

выручало иных колхозных председателей, когда те, опоздав на разнос, отделялись вместо выговора легким предупреждением. Рассказывал об этом лукавый Ольгин Сереброву, вертя в короткопалых руках карандаш-чижик, заточенный с двух сторон, и в качестве морали советовал:

— Вам рекомендую появляться ровно в восемь по местному.

Серебров сам выбрал Крутенку. Ему казалось, что он очень хорошо знает эти места, что тут живет немного иной, чем в других районах, народ. Потомки новгородцев, цельные, добрые, хлебосольные и гостеприимные люди. К примеру, председатель райпотребсоюза Соколов или председатель райисполкома Николай Филиппович Огородов. Дочь Огородова Вера долго и безответно сохла по Гарьке. Это он дал Вере прозвище Веранда.

На четвертом курсе послали их, парней с факультета механизации, на уборку в Крутенский район. Составленный из разномастных вагонов поезд вез их мимо малолюдных лесных станциек, старорусские названия которых были написаны чуть ли не тогда, когда для суровости в конце слова добавлялся твердый знак. В соседнем вагоне оказались девчонки из пединститута. И вот они, сельхозники, стали наперебой развлекать филологинь.

Гарькин друг Генка Рякин, забравшись на девчоночью скамью, пристраивал свою кудлатую голову на плечо то одной, то другой девицы, сладко шурил глаза и говорил:

— Хорошо-то как, хоть бы не умереть!

Иная девчонка поводила плечиком, чтоб освободиться от Генкиной головы, тот ронял свою голову ей на колени, получал хорошего тумака, но продолжал умиляться: хорошо-то как, хоть бы не умереть! Гарька, меланхолично пощипывая струны гитары, смотрел из-под шляпы-пельмешка на Генкины чудачества и старался уколоть ершистым словом крупную, с летучими бровями, деваху, которая преданно смеялась над его шутками и песенками. Смех ее долго не мог улечься, и Гарьке было приятно чувствовать себя остроумным человеком. Когда очередь дошла до знакомства, эта деваха протянула руку первой.

— Вера... Огородова,— сказала она.

— Ну, такое маленькое имя вам не подходит,— сострил он.— Веранда, вот вам какое годится.

Вера вспыхнула, обиделась, но он и потом не щадил ее. Несмотря на обиды, Вера после колхоза пригласила Гарьку и Генку Рякина в Крутенку на день своего рождения. Здесь и познакомился Серебров с ее папашей Николаем Филипповичем, а также с Евграфом Ивановичем Соколовым.

Недаром, видно, говорят, что когда влюбляется мужчина, он становится робким, а женщина — смелой. Веранда всю осень звонила ему по телефону, но не признавалась, что это она. Молча дышала в трубку, безгласно напоминая Сереброву о том, что обещал он найти ее в Бугрянске.

— Дышите глубже,— сердясь, кричал Гарька и бросал трубку. Ему было тогда не до Веранды: он сходил с ума оттого, что Надька Новикова увлеклась своим Макаевым...

И вот теперь, слушая председателя Сельхозтехники, инженер Серебров от восторга бил ладонями по резиновым голенищам своих сапог. Особенно понравилось ему, что самая главная и единственная в Крутенке площадь неофициально называется площадью Четырех Птиц: там кинотеатр «Буревестник», кафе-столовая «Чайка», отдел милиции, где начальником Воробьев, и райпотребсоюз, который возглавляет Соколов.

— Ну, Евграф Иванович увековечился,— приговаривал Серебров.— Я ведь его знаю.

— Значит, сразу войдешь в курс дел,— подвел итог доброжелательный Ольгин, бросая карандаш-чижик на бумаги.— В линейно-монтажном участке тоже надо уметь вертеться.

Инженеру Сереброву не терпелось заняться делом в этом самом линейно-монтажном участке — ЛМУ, отправиться на строящийся скотный двор или зерносушилку, где надо монтировать оборудование для так называемых трудоемких процессов. Работать так работать, но Ольгин, приказав оформить Сереброва мастером ЛМУ, в колхоз его посылать не спешил.

— Осваивайтесь, готовьте документацию на ильинский коровник,— сказал он.

Наверное, зря оставил его Ольгин в Крутенке. Инженер Серебров вдруг ощутил, как томительно длинны здесь сутки, как трудно их заполнить.

По утрам и вечерам горланили в Крутенке петухи. Их переключку мог заглушить только магнитофон инженера Сереброва, с которым он раз десять прогуливал-

ся после работы до площади Четырех Птиц. Отсюда шел он на вокзал, где был газетный киоск. В деревянном высоком здании вокзала толкалась в ожидании поездов заспанная, плохо умытая публика. Хлопая дверями, втискивались нагруженные узлами и чемоданами новые пассажиры и озирались, ища, где можно приспособить себя и багаж.

Вот тут, на вокзале, через который, как через воронку, протекал весь люд с поездов и на поезда, неожиданно-негаданно Серебров столкнулся с институтским другом Генкой Рякиным. Тот обрадованно заржал, показывая свои литые редкостно крепкие зубы. Говорили, что словчил Рякин, пригрелся в Бугрянске, а он вот где оказался, в Крутенке.

— Да ты что, дорогуля! — обнимая Сереброва, кричал Рякин. — Кому я там нужен? — и, радостно толкая Сереброва плечом, добавлял: — Эх, хорошо-то как, что мы вместе, хоть бы не умереть.

Генка Рякин сбил Сереброва с почти скромного и почти степенного образа жизни. Уже в гостинице Генка начал показывать себя. Размахисто заполняя дотошную гостиничную анкетку, которая годилась не для поселения на одну-две ночи, а для подбора на дипломатическую работу, записал после «Ф. И. О.»: «Брюнет, 1946 года рождения. Цель приезда? Конечно, ограбление банка».

В графе «Место рождения», ухмыляясь, он указал «Марсель», а в графе «Домашний адрес» — «Рио-де-Жанейро». Правдой были только первые слова — «Брюнет, 1946 года рождения». Дежурная, пожилая, позевывающая тетка, встрепенулась и, торопливо нацепив очки, стала требовать от Генки, чтоб он не дурил и анкету переписал, «как следно быть», но тот уперся, доказывая, что родился именно в Марселе и что паспорта у него нет, один диплом.

Тетка в черном казенном халате слушать Рякина не стала. Она задвинула перед его носом фанерное волоковое окошечко и пригрозила:

— Вот милиционера позову, дак...

Гарьке не очень по вкусу была Генкина задиристость. Чтоб смягчить обстановку, он стал через глухо закрытое окошко доказывать дежурной, что Марсель может быть не только французским городом, а простой деревней. Но дежурная к уговорам была глуха.

— Позвольте телефон, — оскорбленно постучал Рякин в окошко, напустив на лицо обиду. Дежурная сердито

выставила в окошко телефонный аппарат, и Генка, откинувшись, заворковал, прося, чтоб девушка соединила его с председателем райисполкома Николаем Филипповичем Огородовым.

— Николай Филиппович, пламенный привет. Это ваш давний гость Рякин. Помните у Верочки на дне рождения... Да, работать. Вместе с Серебровым. Не сможете ли помочь насчет гостиницы? Лучше номерок на двоих, а то, понимаете, работы много,— бодро-весело закричал, похохатывая, Рякин.

Вряд ли председатель Крутенского райисполкома Огородов толком помнил их, хоть и гуляли они вместе на дне рождения, но что ему стоило распорядиться, чтобы дежурная дала двухместный номер. Дежурная из почтения к начальству стерпела Генкино хулиганство в анкете и протянула им ключ. Мог Рякин подать себя, имел способность повсюду вносить шум и веселье. Рядом с ним казалось, что все люди — хорошие знакомые. И знакомые эти, чтобы помочь ему, пойдут на все, так же, как пойдет он, Генка, на все, чтоб отблагодарить их.

Посетители и работники Сельхозтехники робели перед говорливыми новоиспеченными инженерами. Те вели себя независимо, бойко переговаривались, когда остальные работники объединения скромненько сопели над бумагами. Даже Ольгин не выдержал рякинского натиска и оформил его в торговый, по Генкиному мнению, всеильный отдел. Теперь Рякин говорил: «Запчасти — по моей части».

Пожалуй, в эти дни оба инженера проводили больше времени на престарелом венском диванчике в вестибюле, чем в своих отделах. На диванчик присаживался всякий люд, ждущий очереди к Ольгину. Даже вольно и широкоступающие председатели передовых колхозов присаживались порой тут, чтобы перевести дух. Почти все они становились благодарными слушателями Генкиных анекдотов и баек. Поднялся сюда и легендарный в Крутенском районе человек, председатель колхоза «Победа» Григорий Федорович Маркелов, огромный, килограммов на сто двадцать великан с моторно рокочущим голосом, широким, битым оспой лицом, покалеченной, забирающей вбок ногой. Не шагал, а будто литовкой косил.

Маркелов тяжело опустился на жалобно пискнувший диванчик, загроздив почти весь его, и спросил инженеров:

— Командирова знаете?

— Как же,— откликнулся Рякин.— Пантя? Председатель колхоза «Труд»?

Как раз в «Труде» и работали они на уборочной.

— Он, он самый. А ну-ка, тащи клей да газету,— распорядился Григорий Федорович. Зеленоватые, навывкат глаза Маркелова светились азартом. Он вожаденно мотнул головой.

— Ну, Пантя, держись!

Лысый, суетливый Ефим Фомич Командиров был постоянной мишенью маркеловских розыгрышей и шуток. Прозвище Пантя прилипло к Командирову из-за того, что он свое любимое слово «понимаете» произносил коротко — «панте».

Рякин притащил оплывшую клеем бутылку с соской на горлышке, и Маркелов, высунув язык, потирая мясистые руки, принялся вылеплять на газетном заголовке буквы. В районной газете появилась статья о несбыточных планах колхоза «Труд». Называлась она «Командиров в роли фантаста». И вот Маркелов не поленился — вместо слова «фантаст» выклеил — «Фантомас». Получилось «Командиров в роли Фантомаса». Полюбовавшись работой, Маркелов захохотал.

— Не начудишь ведь, дак не прославишься,— и, довольный, пошел к Ольгину.

Проникшись пренебрежением к незадачливому Ефиму Фомичу, Серебров и Рякин тоже уели его. Когда в торговый отдел пришла из колхоза «Труд» заявка на конные косилки, долго, на все лады смеялись они над отсталостью Панти. А потом Рякин написал на заявке: «Вы бы еще каменный топор заказали» и поставил вместо подписи закорючку. Ну, и непроходимый тупарь этот Командиров: в тракторный век просит конные косилки.

Заместитель начальника торгового отдела районного объединения Сельхозтехника Рякин и мастер ЛМУ Серебров не бросили студенческих замашек. Они наперебой колобродили, демонстрируя провинциальным крутенцам свою необыкновенность. Серебров теперь тоже не признавал служебной дистанции и запросто хлопал по плечу беловолосого первого секретаря райкома комсомола Ваню Долгова. Тот, как все ярко выраженные блондины, жарко краснел. Ему такая вольность не нравилась. Все-таки он был фигурой. Ваня неуютно поводил плечами, стараясь освободиться от панибратских объятий.

«Своим парнем» был для них и голубоглазый ласко-

вый человек — председатель райпотребсоюза Евграф Иванович Соколов.

— Здорово мы тогда чаду давали, — крутя головой, вспоминал Рякин день рождения Верочки Огородовой.

— Я жду, Евграф Иванович, приглашения на охоту, — говорил Серебров с видом прожженного зверолова. — Может, на медведя сбродим?

— Надо, надо вас сводить, — соглашался Соколов, застенчиво пряча покалеченную правую руку, и выпрашивал, перебрались ли ребята из гостиницы в общежитие?

— Перебрались, — отвечал Рякин и, схватив Евграфа Ивановича за пуговицу плаща, ошарашивал вопросом: — Шубку беличью сделаете для любимой женщины?

— Э-э, на что замахнулся, — щурясь от сентябрьского неяркого солнца, смеялся Евграф Иванович. — Из искусственного меха, пожалуйста. Вот сухое вино есть.

И они шли за сухим вином.

Чуть ли не другом был для них сам председатель райисполкома Огородов, понятный, свойский мужик, у которого вся его ясная биография отразилась на лацканах пиджака: орденская колодка, институтский ромбик, депутатский значок.

— Ой, парни, молодцы. Весело с вами да мне недосуг. Вот Верочка приедет на воскресенье, заходите. Она ведь в Ильинском, — говорил он и, подняв приветственно руку, торопился к Дому Советов.

Пряательское, легкое отношение к Огородову усилилось, когда они узнали, что Николай Филиппович шалун. Кто-то сказал, что жена экскаваторщика Феди Трубы — Аза Никаноровна была его любовницей. В командировках предрик Огородов и заведующая кабинетом политпросвещения Аза Никаноровна Трубина частенько оказывались в одном месте.

Гарька и Генка специально сходили в кабинет политпросвещения посмотреть на фигуристую заведующую, которую с легкой руки Маркелова звали в районе Золотой Рыбкой. Золотая Рыбка оказалась кокетливой, с картавинкой в голосе, ласковой дамочкой. Она доверительно положила Гарьке на плечо руку и глядящим движением провела по нему.

— Могодцом, могодцом, что вы зашли. Мохет, вы читали когда-нибудь лекции и мы вас пгивгечем в качестве комсомогского пгопагандиста? А мохет быть, в нагодном театге будете выступать?

Гарька замахал руками.

— Упаси и помилуй, господь, подальше от самодеятельности.

Генка Рякин нахально рассматривал Золотую Рыбку, плел окоlesiцу о том, что они больше склонны к индивидуальной работе — тет-а-тет.

— Ой, что вы,— ловко обходя опасные словесные силки, вздыхала Золотая Рыбка.— Индивидуальной фогмой учебы у нас охвачено очень мало людей. Трудно осуществлять контхоль.

У Генки всегда были неожиданные объяснения достоинств.

— У Огородова губа не дура,— заключил он со знанием дела.— Какую «рыбку» заловил в бредешок, красивая и даже не хромая.

В Крутенке Сереброва и Рякина замечали издалека. Следом несся опасливый шепоток: «Отчаянные!» Этот шепоток, любопытные взгляды льстили им. Они вкатывались в Дом культуры на лекцию о любви и дружбе, чтоб мудреным, задиристым вопросом сбить зелененькую, из выпускниц пединститута, лектрису; в общежитской комнате, которую им отвели на двоих, на дверь наклеили вырезанную из журнала свирепую бульдожьё морду с предостерегающей надписью «Осторожно, злая собака!» и приколотили две ручки: одну — у самого порога; вторую — на самом верху. До верхней не дотянешься, до нижней приходится склоняться в три погибели.

— Это для удобства,— нахально улыбаясь, объясняли они,— вдруг придет великан или маленькая лилипуточка, к примеру, девочка Дюймовочка.

Нет, не хотелось им расставаться со славой необыкновенно остроумных людей. Правда, это было чревато. Когда Серебров написал в стихах протокол профсоюзного собрания, его вызвал Ольгин и, делая строгое лицо, сказал, что надо знать меру. Председатель месткома, женщина обидчивая, пришла к начальнику вслед за Серебровым и, всхлипывая, сказала, что издевательства не потерпит.

— Ну что это такое? — промокая платочком глаза, возмущалась она: — «Сидели на собрании, чтоб совершить избрание. Повестка всем знакома — комиссии и месткома». Да как я такую ерунду понесу в райком союза?

Серебров, глядя в окно, чтоб не видеть слезливую

председательшу, вины своей не признавал и на полном серьезе доказывал Ольгину, что нигде не говорится, в какой форме писать протокол. Значит, можно и в стихах. К нему вот пришло вдохновение... Ольгин теребил свой курчавый чуб и старался встретиться глазами с Серебровым.

— Протокол все-таки надо переписать,—сказал он наконец, поймав его взгляд.— Не стыдно? Взрослый человек! Шутки шутками, я их тоже люблю, но через край не стоит, надо знать меру.

А ему хотелось «через край» и не хотелось «знать меру».

Как-то в воскресенье, идя из магазина, он встретил Веру Огородову. Ух ты, как она изменилась! Была такая застенчивая, скажи слово — вспыхнет, а тут разговаривает хоть бы что. Легкобровое лицо с крапинками веснушек на носу. Улыбчиво светится в глазах смех. Капроновые голубые банты в косе делают ее по-девчоночьи юной.

— Отчего это вы, Гарольд Станиславович, не замечаете знакомых? — игриво упрекнула она его и повела глазами. Откуда-то узнала даже его придуманное мамой забористое имечко Гарольд, от которого ему всегда было не по себе.

— А я считал, ты на Курилах,—сказал он.

— Нет, я здесь, в Ильинском, на воскресенье приезжаю к папе и маме,—проговорила она, озаряя его своим обрадованным, добрым взглядом.

— Ломоносовых не открыла? — спросил он.

— Нет пока. Пока ребят ругаю за то, что почерк плохой, за то, что длинные гривы носят,—проговорила она и опять улыбнулась. Улыбка у нее была славная, круглое лицо такое милое, что петушиться Сереброву не захотелось, но он не терял самоуверенного гонорка. Стоял этаким фертом, отставив ногу, и спрашивал:

— А как в Ильинском насчет развлечений? Ресторана по-прежнему нет?

— Хор есть в школе. Агитбригада. Валерий Карпович руководит,—сказала она растерянно.— Да ты не помнишь, что ли, Ильинское?

Все он помнил: и зачуханное селышко Ильинское, и Верины страдания из-за неразделенной любви к нему, и рыжего клубаря Валерия Карповича, но делал вид, что забыл.

— Если бы ресторанчик, я бы приехал. Ну а как у

тебя со временем сегодня? Зайдем к нам? Посидим, на гитаре потренируемся.

Она, как прежде, неудержимо покраснела.

— Ну что ты! — вырвалось у нее.

— А что? Я надеюсь, ты замуж не вышла и твой поклонник не прибежит с топором.

— Еще чего, — смутилась она. — Замуж, — и густо залилась краской.

— Меня ждешь? — спросил он, усмехаясь. Это уж было действительно «через край». Вера взглянула на него побито и незащищено, и ему показалось, что она, как прежде, любит его и, наверное, пошла бы к нему в общежитие, не оказись он таким хамом. Она даже не нашла, что ему ответить. Потупилась, глядя на носки туфель.

— Может, на танцы сегодня махнем? — спросил он, беря ее под руку.

— Нет, нельзя, я завтра на уроки опоздаю, — пытаюсь освободиться от его руки, сказала Вера. «Определенно любит», — с самоуверенностью завязанного сердцеда решил Серебров. Это открытие вызвало у него вначале легкое замешательство, а потом вдруг пробудило тщеславие. Он сказал, что проводит Веру до автобуса и действительно, поддерживая под локоток, повел к площади Четырех Птиц, где находилась автостанция. Вера, смущенная, красная, высвобождала руку: что подумают? А он все-таки доконал ее — раскланялся и поцеловал галантно пальчики, прежде чем посадить в ильинский автобус. Что ему! Он современный, не признающий никаких провинциальных условностей человек.

Простенькая, незамысловатая Вера-Веранда... А он по-прежнему вспоминал свою Надьку. Вырвавшись в Бугрянск, обязательно забегал к ней в ателье. В своем освеженном кокетливым воротничком и желтым двойным швом халатике модельер Новикова выходила в вестибюль.

— Ой, Гаричек, — всплеснув руками, пела она. — Я так тебя хотела увидеть. Ты мне снился несколько раз.

И по тому, как вздрагивал ее голос, он понимал, что она действительно ему рада.

— Я счастлив, что хоть во сне бываю рядом, — отвечал он и истосковавшимся взглядом смотрел ей в глаза. Он был уверен, что Надежде плохо с Макаевым, раз она так смотрит.

Иногда удавалось побродить с ней по осеннему тем-

ному Бугрянску, схватить воровской поцелуй на «необитаемых островах», как он называл захолустные улицы, и даже зайти в старый дом, если Елена Николаевна была в отъезде.

Но иной раз Надька встречала его с усмешкой:

— Ну, как ты там, не нашел себе доярочку?

Если не удавалось устроить свидание, он возвращался в Крутенку рассерженный, хмурый и убеждал себя в том, что надо давно забыть взбалмошную Надьку.

Веселая, легкая жизнь в Крутенке вдруг дала осечку. Удар по ней пришел оттуда, откуда Серебров его никак не ожидал: верный друг Генка Рякин, с которым он так славно озорничал и колобродил, вдруг объявил, что его вызывают на работу в областную Сельхозтехнику. Он врал о любимой женщине, которая все, что угодно, делает для него, говорил, будто она выхлопотала место. Серебров не верил в эту «любимую женщину». Рякин плел все это, чтоб не проговориться, не выдать действительного благодетеля.

Гарьку такое коварство подломило. Это было даже не коварство, а предательство. Рякин, видимо боясь решительного разговора с Гарькой, позвал на проводы инженера птицефабрики, луноликого, улыбчивого Геру Бурова, и «застегнутого», не очень разговорчивого первого секретаря райкома комсомола Ваню Долгова.

Генка аппетитно врал про «любимую, потрясную, даже не хромую женщину», просил Гарьку напоследок сыграть любимую песню. Все у него было «любимое». Гарька так расстроился, что от огорчения порвал струну.

Когда Серебров остался один, ему расхотелось быть записным озорником. Он решил, что больше не станет ходить в людные места. Хватит с него того, что было. Однако вечера опять тянулись нудно, читать надоело, и он, начистив ботинки, выходил на каменные стертые тротуары, чтобы подышать воздухом и втайне от себя послушать, не играет ли радиола на танцплощадке около Дома культуры.

От нечего делать Серебров заговаривал в столовой с раздатчицей Зинкой. Эта деваха с шальными козьими глазами выкидывала разные фокусы: то вместо одного бифштекса хлопнет на тарелку сразу три, то вместо молока нальет сливок. И все из-за того, что Серебров как-то похвалил Зинкины щеки.

— Они у тебя такие,— пошевелив в воздухе пальцами, сказал он,— можно губы обжечь.

Скуластенъкая, с жаркими щеками, Зинка кинула на него самолюбивый взгляд. Втайне она, наверное, считала себя красивой.

Серебров ел, а белоглазая отчаянная Зинка следила за ним сквозь полки раздаточной. Опасный был у нее взгляд, и Серебров не удержался и подлил масла в огонь:

— Ну, Зин, сведешь ты меня с ума.

Вскоре Серебров не знал, куда деваться от Зинки. Везде и всюду она попадалась ему навстречу и улыбалась. Когда он появлялся на танцплощадке, она была там. Если он был в кинозале, в фойе слышался громкий Зинкин смех. И зачем он похвалил ее щеки? Она ведь совсем еще подлеток, наверное, еле-еле добралась до семнадцати годков. Такая на что угодно решится.

Гарька обрадовался, когда Ольгин объявил, что посылает его на недельный семинар в Ставрополь. Приятно за казенный счет прокатиться по стране. И тем более побывать в Ставропольском крае, где живет брат отца Бронислав Владиславович, попросту дядя Броня, с которыми были связаны милые детские воспоминания.

Когда они жили в старом доме, завалился однажды зимним вечером в квартиру приземистый, почти квадратный человек с запорожскими усами и устроил тарарам. Он угощал мать и отца соленым салом, вином, громово хохотал, вспоминая детство, а потом рявкнул украинскую песню «Гей, на гори тай женцы жнуть»; от которой содрогалась старая двухэтажка. Станислав Владиславович не уступил младшему брату и рявкнул «Блоху».

Нинель Владимировна, желая воцарить в доме приличие и благообразие, сунула Гарьке в руки скрипку. Пусть дядя Броня подивится, какой способный у него племянник. Под Гарькино пиликанье дядя Броня задремал и даже всхрапнул, чем смертельно обидел Нинель Владимировну.

В воскресенье непоседливый дядя Броня потребовал, чтобы его сводили на каток, так как он ни разу не стоял на коньках. Чертыхаясь, вызывая улыбки, этот широченный дядя-шифоньер упорно ковылял по льду.

— А ну их к бису,— сбрасывая коньки, сказал он в конце концов и пошел с катка в пивную. Растолкав завсегдатаев, он поставил на круглый мраморный столик пять кружек пива. Одну из них тут же сунул племяннику. Милая мамочка лишилась бы языка, увидев, как ее

сын-семиклассник, боясь уронить себя в глазах дяди Броня, тянет противное пиво.

Вытащив из кармана вяленую воблу, дядя Броня разодрал ее мощными своими лапами и одарил соседей, сразу же завоевав их любовь и почтение.

— Ты летом ко мне в совхоз приезжай. Мы с тобой на охоту пойдем,— сказал он на прощание Гарьке.

Помощь дяди Броня понадобилась, когда Гарька вдруг ощутил, что из-за скрипочки растет никуда не годным хилым пай-мальчиком. Почти каждый день встречал его по дороге в музыкальную школу презрительный, злой, косоглазый, как половица, восьмиклассник Кузя и, ударив по шее, протягивал ногтистую руку. На руку надо было положить деньги. Если денег оказывалось мало, тот шарил по Гарькиным карманам. Унизительное, противное это обыскивание, угроза получить две двойки за четверть заставили Гарьку решиться на побег. Конечно, он покатил в Ставрополь, где работал ветеринарным врачом дядя Броня.

Дома Гарька оставил прощальную записку. Сделал он это, конечно, напрасно, потому что в Москве его сняли с поезда и вернули в Бугрянск. Удивляя своей жестокостью соседей по старому дому, врач Серебров порол сына ремнем под стоны Нинель Владимировны и ругался похлеще дяди Пети. Однако порка впрок не пошла. Гарька удрал еще раз и с приключениями, чумазый и худой, добрался-таки до овцеводческого совхоза «Красочный», где жил тогда дядя Броня. Тот взял племянника под защиту и оставил у себя, устроил в школу. Дядя брал его с собой в поездки по дальним кошарам, где выхолащивал барашков. Во время этих путешествий Гарька до корост сбил себе крестец, мотаясь в седле, но не жаловался. Рядом с дядей Броней хотелось чувствовать себя взрослым.

— Самая хорошая профессия — ветеринарный врач. Простой врач лечит человека, а ветеринарный все человечество,— взмахивая скальпелем, доказывал тот.— Иди, Гарик, в ветеринары.

Весной дядя Броня возил племянника за дикими тюльпанами на Маныч, тюльпаны были нужны даме сердца — агрономше Аннушке. В совхозной школе учился Гарька хорошо и чуть ли не отличником закончил седьмой класс.

Осенью он возвратился в Бугрянск. Когда перед ним вновь возник Кузя и протянул руку за привычной данью,

Гарька стукнул сначала по этой руке, а потом так врезал Кузе по шее, что того повело в сторону.

— Сразу и драться,— почувствовав, что в выросшем, загоревшем Гарьке что-то переменялось, проканючил Кузя.— Сказал бы, а то...

И вот семинар в Ставрополе. Дядя Броня на выходные увез племянника к себе в совхоз.

— Скучно у вас, посмотреть не на что,— задирался Гарька, глядя на ровную, как стадион, жухлую степь.

— А весна? Забыл, как на Маныч ездили? — напоминал поседевший, но такой же решительный и неукротимый Бронислав Владиславович. Он работал теперь директором совхоза, и в нем, пожалуй, еще больше прибавилось напористости. Загнав «газик» в лесополосу, он спрашивал:

— Ну чем не лес! Даже грибы бывают.

Гарька скептически усмехался. Забыл, что ли, дядя Броня, какими бывают настоящие леса?

Угощая племянника в лесополосе знаменитым ставропольским шулюном — наваром из баранины, который ловко и быстро приготовил сам, Бронислав Владиславович позиций не уступал, хлопал племянника по плечу и гудел:

— Значит, решено. Приедешь сюда. Невесту тебе сам высватаю, не девка — малина в сметане.

Гарьку пошатывало от могучих дядиных похлопываний по плечу.

— А что — и приеду,— в конце концов загорелся он.— Шикарно живете.

«Чем черт не шутит, возьму да и махну к дяде Броне,— думал он дорогой.— Вот бы Надьку сговорить...»

В Крутенку вернулся он повеселевший.

Жизнь Сереброва опять пошла по накатанному кругу: Ольгин не спешил отправлять его в колхоз. Снова Серебров слонялся с громогласным магнитофоном на площади Четырех Птиц. Он страшно обрадовался, когда вдруг увидел на затянutom гусиной травкой пустыре Еврафа Ивановича Соколова. Простоволосый, седеющий, в синем спортивном костюме, председатель райпотребсоюза играл с породистой звериной, пегим сеттером-лавераком. Серебров побежал на этот пустырь.

Он хорошо помнил заповедь охотников, усвоенную от отца: можно обругать владельца собаки, но нельзя худо отозваться о самой собаке, если не хочешь нажить смер-

тельного врага. А тут и не надо было кривить душой: прекрасный пес был у Соколова.

— Ух, Евграф Иванович, какая у вас собака,— завистливо простонал Серебров. Почувствовав расположение хозяина, бесконечно добрый сеттер прыгнул и лизнул Сереброва в лицо.

— Валетушка, Валет,— стонал Серебров, играя с сеттером. Тот терпел его руку. А какие понимающие, умные были у него глаза.

— Так я ведь собаку по глазам и выбираю: если тупые — толку не будет. Живость есть, значит, сообразительная собака, все будет понимать. Только вот говорить не станет. Да как сказать, иногда мне кажется — говорит мой Валет.

Желая показать свои способности, Валет полз по траве на брюхе, поскуливал, лизал руки хозяина, потом вдруг срывался с места и, болтая тряпичными ушами, описывал радостный круг.

— Можно, я буду приходить играть с ним? — попросил Серебров.

Евграф Иванович, поняв Гарькино одиночество, тут же затащил его к себе. Он оказался забавным доморощенным философом: всех зверей, птиц и рыб наделял разумом, приписывал им гордость, добродушие, стремление покрасоваться.

— Я волков за что уважаю,— рассуждал Соколов, взмахивая вилкой.— Волк — он семьянин, никогда волчицу не бросит. Кормит ее, пока она со щенятами в логове обретается. Лису хитрой считают, а она никакая не хитрая — любопытная. Увидишь из машины, посигналишь — остановится, не убежит. Завтра тебя за жерехом свожу. Ух, и зазнаистая рыба, ну просто спасу нет, какая зазнайка.

И действительно, ранним туманным утром Соколов постучал в дверь серебрянской комнаты. Омытая сапоги обильной росой, Евграф Иванович и Серебров напрямую пошли к реке, оставляя на белесой скатерти луга зеленые стежки. Когда до омута оставалось метров двадцать, Соколов, сделав сердитое лицо, резко махнул рукой, бухнулся на землю и пополз. Серебров бухнулся тоже и пополз по студеной мокрой траве, хотя ползти было сыро и он не очень верил в чудачества Соколова.

Они выглянули из-за кромки берега. В мгlistом круглом омуте и правда бил хвостом жерех. И вправду он оказался тщеславным. Евграф Иванович разгадал по-

вадку этого зазнайки: забросил блесну именно в тот момент, когда ударил хвостом жерех, и провел ее именно по тому месту, где был всплеск. Самоуверенный жерех думал, что ударом хвоста оглушил рыбешку. Это его и погубило. Вместо рыбешки он нахально и безбоязненно схватил блесну. Серебров во все глаза смотрел на одушевившегося Евграфа Ивановича и тихо смеялся.

За час они вытащили трех рыбин, да таких, что их не обхватишь, если даже соединишь в кольцо пальцы обеих рук. Притащили жерехов жене Соколова Нине Григорьевне.

— Жарь и вари, мать,— сказал Евграф Иванович, тепло сияя глазами.

Съесть уху или жареху Евграф Иванович был не способен без своего друга Николая Филипповича Огородова.

— Ну что — постное или скромное у вас завелось? — с порога крикнул Огородов. Сняв кепку, поздоровался с Серебровым, уверенно, по-хозяйски прошелся по комнатам. Николаю Филипповичу, очевидно, хотелось показать, что он человек, разбирающийся во всем, и в искусстве тоже. Напустился на Сереброва:

— Чего наши бугрянские художники рисуют? Понять невозможно. Вон на центральном рынке колхозники нарисованы: руки вывернуты, на головах колпаки. Да разве такие теперь колхозники! Девчонки одеваются не хуже городских. Парни — красавцы. Искажают художники образы деревенских людей.

— Так это скоморохи к ярмарке,— объяснял Серебров.

— Нет, я не согласен,— хмурясь, стоял на своем Огородов,— нельзя искажать. Нельзя обижать труженика.

— А все ж таки Шитов-то неплохой,— продолжая какой-то давний спор, говорил Соколов о первом секретаре Крутенского райкома партии.— Ездили с ним к Маркелову, так он его хорошо припер к стенке насчет магазина: до каких пор у тебя в пещере будут торговать? Строй, а то ведь стыдно, в передовиках ходишь.

— Не знаю, не знаю,— уклончиво пожимал плечами Огородов.— Пока он мужиков наших отучил в нагрудных карманах расчески и ручки носить, а больше ничего. Увидит ручку — вытащит. Это, мол, для платочка. В магазин зайдет, в очередь встанет. Боится, скажут — положением, мол, пользуется. И правильно, должен пользоваться. Смеются ведь над ним. Да если мне мяса на-

до, я с черного хода зайду. Будь добр, мне кусман лучше да побыстрее, я для вас стараюсь, руковожу. А он в очереди стоит. Смех. Да у первого строгость должна быть, чтоб спросить мог.— При этом Огородов сжимал кулак.— Я вон помню, Михаил Маркович Плясунов в магазин зайдет — все расступятся, в зал — все стихнут. Слова не скажет — аплодисменты. Грозен был. Со свадьбы и со дня рождения в командировку ушлет. И был порядок.

— Ну нет, Шитов справедливый,— говорил Соколов.

Сереброву больше нравились байки об охоте, споры о собаках.

— Моя сучка одета лучше, чем у Феди Трубы,— утверждал Огородов.— И она квадратненькая.

— Ну, скажешь,— не соглашался Соколов.— Вы ведь из одного гнезда брали, и ты еще ругался, что Федя лайчонка лучше взял.

Они, смакуя необычные слова, спорили, у кого лучше собака, как и на какого зверя надо натаскивать ее, и забывали о Сереброве.

Нина Григорьевна несла на стол все, что было в погребке, а Евграфу Ивановичу казалось мало.

— Вяленую рыбу, Нин, тащи,— командовал он.

Под конец предлагал:

— Оставайтесь у меня ночевать.

— Да что ты, Граша, у меня свой дом,— вскрикивал, похохатывая, Огородов.

— А ты, Гарик? — говорил жалко Соколов, не давая Сереброву пальто, и обижался, как ребенок.— Гнушаетесь. Ну, и уходите, уходите, если так. Уволю без выходного пособия.

— Ох-ох, Граша,— крутил головой Николай Филиппович, покидая соколовское подворье.— Завтра ведь места себе не найдет, извиняться станет. Горяченький, ох, горяченький.

Как-то Серебров попал к Евграфу Ивановичу на большое застолье. Там, кроме Огородовых, был первый секретарь райкома комсомола Ваня Долгов, как всегда, примерный, суховатый. С ним пришла его жена Рита, некрасивая, худенькая, но необыкновенно общительная и смешливая. О ней говорили, недоумевая: «Чем Ваню, эдакого серьезного, взяла, все у нее хи-хи да ха-ха». Но, видно, что-то было, раз такой осмотрительный Ваня Долгов не устоял. Рита сыпала прибаутками и хотела, чтобы всем было так же весело, как ей.

— Ой, инженерик молодой,— обрадовалась она, увидев Сереброву, и потащила за рукав в комнату.— Иди-ка, иди, там есть пара по тебе.

В большой комнате, которую Евграф Иванович называл залом, Серебров увидел Веру-Веранду. Она залилась нестерпимым румянцем.

— Все, как много лет назад,— нашелся Серебров.

— Ох, тогда-то весело было,— припомнила Верина мать Серафима Петровна празднование Вериного дня рождения, и ее благообразное иконописное лицо осветилось улыбкой.

Ваня Долгов и Огородов, полные значимости, толковали о том, что Командиров опять завалил уборку — Шитов попросил Маркелова послать на выручку комбайны. Маркелов послал, но такие старые, что они тут же стали.

— Ой, да мужики опять в дела полезли,— закричала Рита Долгова, появляясь с миской салата.— А ну, прекратить эти разговоры, а то, как Евграф Иваныч говорит: уволю без выходного пособия. Все за стол!

Мужики разговоры прекратили, но перед застольем вышли покурить в глухой дворик.

Видать, Огородов был крепок и знал это.

— Ну, вот тебе, Вань, сколько? — спросил он Долгова, оценивающе щупая у него мускулы на руке.

— Двадцать семь,— отвечал Долгов, сгибая руку.

— Двадцать семь, а я ведь тебя уложу,— смерив его взглядом, неожиданно проговорил Огородов. Он пружиристо присел, расставил ухватом руки, словно приготовился ловить курицу, и подступил к Ване. Схватились, Ваня неуверенно, Николай Филиппович цепко и всерьез.

— Э-э, Ваня, не поддавайся, не поддавайся,— бегая вокруг борющихся, кричал Соколов.— Поддашься — уволю без выходного пособия.

Огородов и Долгов налились кровью. Казалось, Ваня изловчится и вот-вот положит дюжего противника, но тот, повернув Ваню на месте, сумел опрокинуть и бросить на жухлую траву.

— Силен, силен, Николай Филиппович,— восторгался весь красный Ваня, отряхивая колени.

Разгоряченный Огородов победно оглядел Евграфа Ивановича, потом остановил взгляд на Сереброве.

— Хлипкий ты, не стоит руки марать,— сказал он с пренебрежением.

Сереброву, наверное, надо было согласиться: да, мол,

хлипкий. А он подлаживаться не захотел, ослабил галстук, задиристо сказал:

— А можно попробовать.

Серебров не надеялся на силу. Такого медвежатника, как Огородов, вряд ли он силой сломит. Но Сереброву в свое время показывал три безотказных самбистских приема институтский чемпион по боксу и борьбе студент Саша Рыков по прозвищу Пах-Пах. Вместо приветствия Саша всегда делал несколько боксерских ударов по воздуху со звуком: пах-пах!

Огородов жал дюже, напролом, в ухо Сереброву дышал жарко и свирепо. Сереброву удалось провести хорошо знакомый бросок через бедро. Огородов сам себя положил — слишком рьяно давил. Очувившись на земле, Николай Филиппович недоуменно захлопал глазами, не понимая, что с ним произошло. Сереброва вначале охватило тщеславное чувство, а потом он понял, что кровно обидел пожилого человека, и бросился поднимать Огородова. Тот серебрянской руки не принял, поднялся сам, молча отряхнул запачканный в глине рукав.

— Ну, что, Коля, не сдюжил? — поддразнивал Огородова Соколов. Огородов и тут ничего не ответил. Лицо у него было красное и обиженное.

— Извините,— пробормотал вслед ему Серебров, не зная уж, идти ли ему за стол.— Вы ведь сами хотели...

— Молодец, такого ведмедя завалил,— хлопая Сереброва по спине, радовался Соколов. Ваня Долгов, задержав приятеля в сенцах, проговорил с упреком и назиданием:

— К чему это ты? Я тоже мог его уложить, но поддался. Пусть потешится.

— Ну, знаешь,— рассердился Серебров.

Пока Серебров с Долговым были в сенцах, обида у Огородова, видимо, немного улеглась, но все равно лицо у него было хмурое. Серебров чувствовал себя не в своей тарелке. Прежде чем взял Соколов в руки свою голосистую, подмывающую на пение и пляс гармонь, он с немого одобрения Серафимы Петровны сманил Веру на танцы в Дом культуры. Закончились танцы поздно. Выйдя из старенького деревянного Дома культуры, Вера и Серебров сразу оказались в непроглядной тьме.

— Погода для влюбленных,— сказал он, беря Веру под руку.— По-моему, твои родители будут не против, если я тебя поцелую,— и повернул ее за плечи. Вера вырвалась.

— Нет, они против.

— А ты?

— Ой, какой вы, Серебров, дурак,— сказала она обиженно.— До свидания,— и пошла прочь. Наверное, ее надо было догнать, остановить, а он двинулся к себе в общежитие. Отец и дочь Огородовы показались чем-то похожими друг на друга. Бог с ними.

После этого вечера Серебров часто встречал Веру в Крутенке, даже в обычные рабочие дни. Она объясняла, что приехала в роно или в райком комсомола. Наверное, легче было созвониться, чем трястись на автобусе. А она приезжала! На автобус она почему-то садилась не на площади, а около Сельхозтехники, где была последняя остановка перед выездом на тракт. Увидев Сереброва, она краснела, опускала взгляд и беспричинно сердилась. Стоя перед ней в своей старой шляпе пельмешком, сапогах и выцветшей штормовке, он предлагал:

— Хочешь, на тракторе доведу?

Веру оскорблял легкомысленный, несерьезный тон.

— Когда вы перестанете, Серебров, паясничать? Сколько помню, вы все так,— вскидывая сердитый взгляд, говорила она.

— Значит, я такой,— подхватывал он.

Как-то Серебров сидел в своем прокуренном кабинете, оформляя документацию на монтаж зерносушилки. Под потолком висел слоями дым. Работники ЛМУ не признавали особых мест для курения, сами дымили прямо тут и позволяли это делать посетителям. У Сереброва даже глаза пощипывало от чада. Он открыл дверь, забрался на подоконник и пошире распахнул форточку. Комнату начало прополаскивать сквозняком. Серебров взглянул в окно. Привычная картина: около Сельхозтехники — мотоциклы, трактор «Беларусь», дальше — разъезженная улица. И вдруг он увидел Веру. Она стояла в своей белой вязаной шапочке, держа в руке сверток с книгами,— видимо, ждала автобус.

Серебров взглянул на часы, и ему стало жалко эту глупую Веранду: ильинский автобус прошел минут двадцать назад, и больше рейсов не будет. Или она собралась уехать на попутной машине?

Когда Серебров снова выглянул в окно, Вера стояла все на том же месте. Продолжал моросить тихий дождик. Серебров натянул штормовку, взял плащ с капюшоном, два шлема и вывел приписанный к ЛМУ Иж.

— Вот, надевай,— сказал он и подал Вере оранжевый

шлем. Это была новинка. Бугрянская ГАИ вводила для мотоциклистов противоударные шлемы, которые уже успели окрестить «набалдашниками».

— Я не поеду с вами,— сердито сказала Вера и отвернулась, не замечая шлема.

— Так всю ночь и будешь стоять?

— Буду,— уныло кивнула она.

— Странно. Ну, ты меня не терпишь, даже ненавидишь, так хоть к мотоциклу имей уважение. Вон он какой хороший.

Вера ладошкой отерла щеки, лоб, стряхнула воду с руки и опять отвернулась от Сереброва. Это происходило на виду всей Сельхозтехники, и Сереброву казалось, что все видят, как он уговаривает Веру сесть на мотоцикл.

Дождевая вода скопилась в складках его штормовки.

— Садись, тебе говорят! — прикрикнул он, зло крутя ремешок шлема. Вера опять покачала головой.

— Ох, глупая ты, ну просто спасу нет,— сказал он, стараясь быть добрым и снисходительным.— Садись, а то я тебя свяжу.

— А почему вы кричите на меня? — не глядя на него, спросила она с той же холодной злостью и так же вежливо, на «вы».

— Тебя ремнем надо пороть, а не кричать. Не артачься, надевай! — Но она снова отвернулась. Ему вдруг стало жалко ее.— Ну, что с тобой? Я тебя обидел? Тогда извини,— проговорил он подобрешшим, виноватым голосом и насильно накиннул ей на плечи плащ.

Ах, какой он теперь был предупредительный, покаянный. Она не противилась, когда он забрал у нее сверток с книгами, сама надела шлем. Мотоцикл с места взял скорость, сердито зарокотал, передавая загнанное глубоко внутрь возмущение хозяина. Замелькали по бокам присадистые купеческие лабазы с навесами, веером изогнувшиеся штакетины забора. Потом мотоцикл вырвался на тракт. Нудный дождик во время езды казался чуть ли не ливнем. Вера грудью касалась спины Сереброва, защищаясь от водяного шквала, и Серебров ощущал это теплое, нежное прикосновение. «О чем она там думает?» — ломал он голову, все еще недовольный.

Мотоцикл вымахнул на взлобок, и впереди на дороге Серебров увидел медленно переваливающийся автобус. Ну вот и все. Кончились его терзания. Но когда они поравнялись с натужно ревущим на глине «пазиком», Вера ничего не сказала, не тронула Сереброва за плечо, чтоб

он остановил мотоцикл. Запотевшие окна автобуса казались матовыми. Он был переполнен, но одного человека, конечно, взял бы. Надо было только посигналить, однако Вера ничего не говорила, и Серебров обогнал машину.

У самого Ильинского, в сосновом лесочке, прудя в колее грязную воду, мотоцикл остановился. Вера сошла на обочину дороги.

— Не замерзла? — спросил он, весело глядя в ее порозовевшее от ветра лицо. Она покачала головой — от холода губы не слушались ее. — Теперь прогрейся. Выпей водки с чаем, — бодро посоветовал он, подавая ей книги. Вера молчала, резиновым блестящим сапожком делала канальчик для выхода воды из лужи в колею. Серебров отметил про себя, что ножки у нее полненькие, стройные, голенища сапожек плотно охватывают их.

— Может, к нам зайдешь? — забыв о своем отчужденном «вы», проговорила Вера. — Замерз ведь.

Эта заботливость и даже ласковость задела Сереброва.

— Нет, я поеду. Ты извини за болтовню.

— Пойдем, я чай вскипячу, — попросила она, и в глазах ее он прочел чуть ли не мольбу.

— Скоро я надолго у вас появлюсь. В коровнике монтировать, — пообещал он и, довольный своей благородной сдержанностью, повернул в Крутенку.

Монтировать в Ильинском транспортер и автопоилки Сереброву так и не пришлось. Вскоре его избрали секретарем комсомольской организации районного объединения Сельхозтехника.

— Ну, что они делают! — взмолился Серебров, повернувшись к Арсению Васильевичу, сидевшему рядом в президиуме.

— Ничего, ты парень активный, задора у тебя хватит, — сказал тот без сочувствия.

— Но я же инженер! Я в ЛМУ! — крикнул Серебров в зал. — В колхозах буду месяцами.

— Никуда не уйдет ЛМУ, — громко сказал Ольгин.

Секретарство для Сереброва оказалось не самым трудным делом. В его холостяцком положении даже интересно было с ребятами и девушками, но, кроме секретарства, подбросили ему такую работенку, от которой он взвыл на другой же день. Ольгин позвал его к себе и, пряча злорадную ухмылку, сказал, что Сереброву поручается очень ответственное дело — вести курсы трактористок. Райком комсомола давно осаждает его, Ольги-

на, так вот он дает Сереброву. Судя по всему, сам Арсений Васильевич не верил в эту затею, а Сереброву предстояло учить всерьез самый нетехнический народ — девчат.

Это была сбродная публика: продавщицы, швеи, парикмахерши. И бог мой! Сидела за передним столом отчаянная Зинка с шалыми козьими глазами. Она радостно заулыбалась нахмурившемуся Сереброву.

Ваня Долгов произнес торжественную речь и представил Сереброву. Девицы при виде молоденького инженера заулыбались, заперешептывались. Им, видно, понравилось, что такой у них преподаватель: если не научит водить трактор, так хоть будет кому строить глазки.

Эти щebetуньи вовсе не разбирались в технике, но насчет всяких шпилек были куда находчивее и острее парней. Серебров сразу понял, как опасно быть молодым, холостым, иметь нос с горбинкой.

Ольгин свалил на него все учебные предметы и был очень доволен тем, что не потребовалось отвлекать других работников объединения. Выходя из себя, Серебров рассказывал своим слушательницам об устройстве трактора «Беларусь», втолковывал, почему необходимо соблюдать технику безопасности. Но что за лукавый народ оказался на курсах! Девчонки смотрели на него вроде бы с вниманием, понятливо кивая головами, а стоило спросить их о чем-либо, путались безбожно.

Серебров не раз находил в своем учебнике по тракторам записочки вроде такой: «Милый Гарик, в моем сердце горит огонь любви. Неужели ты не видишь? Потуши его. Я тебя умоляю». Он не знал, чьих рук это дело. Зинка, пунцовая, во все глаза смотрела на него, но вряд ли она писала такие вещи. Прочтя очередную записку, Серебров свирепел. Он стучал по столу карандашом, требуя внимания, и жестоко, сердито принимался, выражаясь языком Ольгина, «доводить до ума» устройство мотора.

В это время тянулась рука: можно вопрос?

Вскакивала курносенькая кубышка — швея Ездакова. — Гарольд Станиславович, — спрашивала она, разгрыывая смущение, — а будет после окончания курсов выпускной вечер?

— Это к делу не относится, — стуча карандашом по столу, отрезал Серебров.

— А вы ведь хорошо танцуете, — слышался голос Ездаковой. — Я видела...

Он этого дополнения не замечал — ждал, когда стихнут глупые разговоры.

— Ох, одному ему будет трудно, ведь нас целая дюжина,— притворно вздыхала продавщица из промтоваров.

Серебров молчал.

Теперь уже все девчонки вздыхали, глядя на него.

— Ну, наболтались,— произносил он и вдруг спотыкался, замечая горячий Зинкин взгляд. Она не отводила от него глаз, и это мешало ему говорить, двигаться. В перерыв, развешивая таблицы, Серебров слышал чей-нибудь ехидный голосок, выводивший частушку:

У милого у моего
Голова из трех частей:
Карбюратор, кумулятор
И коробка скоростей.

— Аккумулятор,— произнося по слогам, поправлял он.

— А у моего «кумулятор»,— говорила Ездакова.

После занятий он шел домой злой. «Черт знает что! Надо жениться, что ли, чтоб они отлипли, а то ведь я вовсе изведусь. Наверное, надо сделать это просто: поехать к Вере и сказать, чтоб выходила за меня замуж. А как Надька? Я же люблю ее, и она, несмотря ни на что, любит меня». Он по-прежнему весь взволнованно напрягался, заметив похожую на Надьку женщину. Если бы она согласилась бросить Макаева!

ДВЕ КОМАНДИРОВКИ

Инженер Серебров вроде бы настырно и круто обучал своих курсанток тракторному делу, но все чаще, оглядывая лица сидящих в кабинете учениц, думал о том, что потуги его напрасны. Группа становилась все меньше. Девушки, которые приходили еще на занятия, отчего-то перестали озорничать, спрашивать о выпускном вечере и перестали подкладывать преподавателю записки. Серебров думал теперь, что дни, когда находил он в своем учебнике их писульки, были самыми веселыми. Тогда в девчачьих глазах светилось любопытство, а теперь его не было.

И вот настал такой вечер, когда явилась в кабинет одна Зинка. Она улыбнулась и посмотрела на Сереброва своим вгоняющим в краску взглядом. Серебров по-

нял, что ему несдобровать. Он заметил, что на Зинке головокружительно модная мини-юбка. И невозможно было эту обнову не заметить, потому что Зинка распахнула пальтецо и, навалившись на косяк, скрестила ноги. «Смотри, инженер, я ведь ничего, наверное, получше многих других, постройнее учительши Огородовой, с которой ты ходил на танцы», — как будто хотела она сказать.

— Не будет сегодня занятий,— отводя взгляд от красивых Зинкиных коленок, сухо сказал Серебров.

— Почему? — встрепенулась Зинка, и в ее глазах мелькнул панический огонь.

— Народу нет, разве не ясно? — еще суше проговорил Серебров, свертывая в трубку свои конспекты.

Он обошел Зинку стороной, взял журнал посещаемости и, подождав, когда она выйдет в коридор, погасил в кабинете свет. Он отправился в райком комсомола, чтобы доложить Ване Долгову о том, что курсы благополучно распались и ему больше незачем таскать никому не нужный журнал.

Серебров, поскользываясь на ледяной полуде, вдвойне виноватый, двинулся белой от снега улицей к большому каменному зданию Дома Советов. Там еще светились широкие окна, и Долгов мог быть в райкоме комсомола. Однако кабинет его оказался запертым. Судя по стуку швабр, в здании никого не было, кроме уборщиц.

Серебров потоптался в вестибюле около выпиленного из древесностружечной плиты контура Крутенского района, напоминающего пряничного петуха, вздохнул и собрался пойти домой. Его задержал звук шагов на лестнице. Он подождал.

Сверху, в распахнутом черном полушубке с подвернутыми рукавами, в валенках и армейских бриджах, спускался похожий на этакое развеселого шофера первый секретарь райкома партии Шитов. Видно, он только что вернулся из поездки по району, поэтому был в таком наряде.

— Ну что, Серебров, как ваша преподавательская деятельность? — излаживаясь надеть шапку, спросил Шитов. В ярких карих глазах — смешинки: какая преподавательская деятельность! Игрушками занимаетесь, молодежь! Так понял Серебров взгляд секретаря. Однако ему польстило, что знает Шитов о его курсах. Жаль, похвастать было нечем. Серебров пощелкал озадаченно пальцами по журналу посещаемости.

— А все, Виталий Михайлович, закончилось,— сказал он.

— Что, всех обучил? — с улыбкой спросил Шитов, надевая перчатки.

— Нет, приказали долго жить, распались курсы,— ответил Серебров и легкомысленно цокнул языком, изображая выстрел.

— Как так? — удивился Шитов.— Ну-ка, пойдем,— и повернул вверх на широкую лестницу. По гулкому от пустоты коридору он повел Сереброва в свой кабинет.

О Шитове в Крутенке говорили много и по-разному. Одни восхищались им, другие недоуменно хмыкали. Огородов, к примеру, считал, что не хватает их первому хватки и твердости. Евграфу Ивановичу, наоборот, нравилась мягкость Шитова. Он с одобрением рассказывал о том, как Шитов спас редактора районной газеты Метелькова, который переложил за галстук и свалился в Бугрянске на трамвайных путях. Шитов, случайно увидев Метелькова, дотащил его до гостиницы, уложил спать. Конечно, потом Метелькову устроили баню, но то, что Шитов, не смущаясь и не кичась своим положением, тащил оказавшегося на трамвайных рельсах пьяного редактора, Соколову нравилось. Не бросил человека.

Николай Филиппович Огородов, с осуждением крутя головой, рассказывал, как поставлен был на бюро райкома вопрос об исключении Метелькова из партии и единогласно было решено его исключить. А на другой день Шитов собрал членов бюро и, смущаясь, сказал, что вот он разговаривал еще раз с Метельковым. Может, поверить ему и отменить вчерашнее решение? Жалко человека, боевой летчик в прошлом. Обещал держаться.

— Разве так делается? — осуждал Огородов первого секретаря.— Вон до Шитова Плясунов был. У того: сказал — значит, твердо.

Шитов завел Сереброва в свой кабинет с какими-то диаграммами на стенах, снопами ржи, ячменя и льна в углу. Серебров сел, пригладил на макушке чибисовый хохолок волос. На него пристально смотрели внимательные яркие глаза.

— Ну, так почему распались твои курсы? — подвигая к себе настольный календарь, спросил Шитов.

Серебров, нахмурившись, начал объяснять, почему перестали ходить девчонки: одних с работы не отпускают, другие боятся — сядешь на трактор и летом из колхоза

не вылезешь, а остальные, видно, потому, что по вечерам лучше гулять с парнями, чем изучать трактор. Сам он уже смирился с таким исходом и говорил спокойно, понимая, что теперь дела не поправишь.

— А почему сразу в райком партии не пришел? — допытывался Шитов, что-то записывая в настольный календарь.

— Долгову это известно.

— Спокойно похоронить собрались? — откидываясь в кресле, спросил Шитов с упреком. Выходило, что так, и Серебров не ответил.

— Ну а что надо сделать, чтобы люди выучились и работали? — все так же требовательно глядя на Сереброва, спросил Шитов и, загибая пальцы, начал перечислять: — Курсы организовать с отрывом от работы, сохранить зарплату. Еще что?

— На Ставропольщине есть такой отряд. Все девчата в одинаковой форме ходят. Красиво, — уныло сказал Серебров, глядя в заиндевелое окно.

— Мы чем хуже? — покосившись на Сереброва, возмутился Шитов.

— Ну, не хуже, но если уж курсы распались, о форме говорить нечего.

— Вот те раз. Ты духом не падай. Будем поправлять дело, — проговорил Шитов и стукнул по столу ладонью. — Получится, как пить дать, получится. Задора побольше надо. Вот я помню, по ликбезу мне курсы поручили вести до войны. Куда зеленее тебя был. Четырнадцать лет! Придешь в деревню — там бородачи. Думаешь, не станут ведь слушать, ни за что не станут, а начнешь толковать — вроде не смеются и берутся за карандаши.

Виталий Михайлович оперся щекой о кулак. Похоже, даже умилился воспоминаниями.

— Многого мы тогда добились. А почему? Верили, что добьемся. Главное, самому верить, что это надо. Как ты считаешь, нужны такие курсы?

— Наверное, — пожал Серебров плечами.

— Не «наверное», а точно. У нас механизаторов на трактора даже для работы в одну смену не хватает, а ты говоришь «наверное». Точно нужны! А тут такое подспорье. Двенадцать-пятнадцать трактористок. Это же... сколько мы торфа вывезем, удобрений! А это урожай. Смекаешь, какая цепь неразъемная?

Сереброву было приятно, что Шитов так напористо доказывает ему, зеленому специалисту, вместо того

чтобы отругать за неспособность и, уничижительно махнув рукой, выгнать.

— Ну, пойдем,— сказал Шитов, надевая шапку.— Нельзя, друг дорогой, сторонним человеком себя чувствовать. Распались курсы — он и журнал в архив.

Ничего, кроме неловкости и вины, не почувствовал Серебров после разговора с Шитовым.

На следующее утро к Сереброву зашел Ольгин. Не послал секретаршу, как обычно, а зашел сам.

— Зачем-то Шитов зовет меня и тебя,— сказал он, прикрывая плотно дверь.— Ты ничего не натворил?

Сереброва подозрение обидело.

— На курсы никто не ходит,— сказал он.— Что я могу натворить?

— Мало ли,— пожал плечами Ольгин.— Я говорил, что не получится, а Долгов: добьемся. Вот и добились.

Шитов, видно, их ждал: сразу же позвали в кабинет. Белое слепящее утро смотрелось в широкие окна, роняло холодные квадраты на яично-желтый пол.

— Нужен тебе отряд плодородия? — с ходу спросил Шитов Ольгина, едва тот сел. Ольгин помял чуб, округло и не очень понятно объяснил, что, конечно, механизаторов не хватает, но какая на девчонок надежда — всю технику переломают.

— Ты мне конкретно и определенно, Арсений Васильевич, скажи,— напирал Шитов, сверля Ольгина взглядом.— Нужен?

— Ну, как, курсы организовали...— выкручивался Ольгин.

— Э-э-э, дорогой, это ты не организовал, а просто отделался, чтоб не приставали,— поднимаясь, проговорил с упреком Шитов.— Бедного Сереброва бросил на съедение и успокоился.

— Ну, как? — вроде даже обиделся Ольгин.— С высшим образованием,— и покосился на Сереброва.

Серебров передернул плечами. Он не мог ничего возразить, хотя это было несправедливо.

— А вот так,— загораясь, проговорил Шитов и, подступив к Ольгину, вытащил у того из нагрудного кармана торчащие газырями ручки.— Сколько раз говорю — бескультурье.

Ольгин досадливо переложил ручки в боковой карман и хрустнул обиженно пальцами. Вид у него был недовольный: ну что секретарь с разными пустяками пристает?

— Организуем курсы,— сказал он, мечтая поскорее освободиться. И по тону его голоса чувствовалось: жалко ему тратить время на пустяковый разговор.

— А как организуете? — не отставал от Ольгина Шитов.

В кабинет влетел запыхавшийся Ваня Долгов, пригладил торчащие в стороны белые пряди волос.

— Садись,— сказал ему Шитов, все еще ожидая, что дельного скажет Ольгин.

— Ну, соберем опять всех с комсомолом вместе, поговорим,— пообещал туманно Ольгин.— Вот Иван Иванович, наверное, согласен.

— Да, придется снова,— нахмурился Долгов и осуждающе взглянул на Серебров: не оправдал вот надежд.

— Э-э, дорогие друзья,— не поверил им Шитов.— Все по торной дорожке хотите, а по торной не выйдет, опять в тупик заведет,— и, загибая, как вчера вечером, пальцы, начал перечислять, что надо непременно сделать для курсов. Во-первых, с отрывом от производства, во-вторых, с сохранением зарплаты.

Только теперь Серебров понял, почему недоуменные, не знающие, для чего их позвал первый секретарь райкома партии, сидели в приемной Соколов, директора быткомбината и маслозавода. Шитов решил разобраться с курсами капитально. Ту же всех пришлось Ольгину. Тот побряхтывал, записывая в пухлый блокнот требования секретаря райкома о том, чтобы выделены были для девичьего отряда новые машины, подобраны инструктора, мастера-наладчики.

— А не жирно будет? — вскидывая голову, спрашивал он.

— Если хочешь, чтоб дело не погубило, сделай по-хорошему,— напирал Шитов.— И еще пусть все побывают в швейной мастерской. За счет Сельхозтехники сшейте спецовки по вкусу. А директор курсов Серебров пусть мне докладывает каждую неделю о положении дел. Вы же ему помогайте, а не сторонними дядями будьте.

Ольгин выходил из райкома партии хмурый, а Сереброва этот разнос поднял. Прав Виталий Михайлович: уж если делать, так делать капитально, а то назначили руководить курсами, а у него за душой ничего, кроме журнала посещаемости.

На курсы записалось на этот раз двадцать пять дев-

чат. Еще бы, такие условия! В первый день устроила Сельхозтехника чаепитие. Открывал на нем курсы сам Виталий Михайлович, торжественный и улыбочивый. Он припомнил, как плакали, крутя пускач, первые деревенские трактористки в довоенных МТС, а теперь не трактора — забава, удобные и легкие. Встряхивая казачьим чубом, бровастый Ольгин доказывал на этом организационном чаепитии, как богата, добра и щедра Сельхозтехника. Девчата цвели улыбками, поталкивали друг друга локотками, слыша о том, что сошьют им форму, а осенью, когда кончатся работы, пошлют по бесплатным туристским путевкам на Кавказ.

Теперь инженеру Сереброву было легче. И девчата старались, и от Ольгина была помощь, и Шитов то и дело спрашивал, идут ли занятия. Где-то в начале марта закончил Серебров теоретический курс и сдал своих трактористок инструкторам для обучения езде. Ему было приятно и теперь встречаться со своими подопечными. Словоохотливые, в возбужденно приподнятом настроении, трактористочки щеголяли в новеньких голубых кепках, таких же голубых спецовках с многими карманами. Спецовки были красивые, даже кокетливые. «В следующем году отбоя не будет от желающих пойти на курсы, если так пойдет дело», — радовался Серебров.

Он почувствовал себя свободным, когда его ученицы уехали на работу в колхозы.

— Ты почему мне докладывать перестал? — спросил как-то Шитов по телефону у Сереброва.

— А все уже работают.

— Я же тебе говорил, что ты шеф до самой осени, — напомнил Виталий Михайлович. — Выходи, я заеду, посмотрим.

Дорога стлалась под колеса машины. Стоял конец апреля. В лесах и тенистых отпадках еще лежал снег, но всюю уже полыхали бирюзовым огнем озими.

— Да, у Маркелова ковер, — сказал с похвалой Шитов, глядя на поля. — Знаешь баечку о том, что у Маркелова и Командирова поля, что ковры. Только у Маркелова ковер такой, какие вешают на стену, а у Командирова такой, что бросают на крыльцо вытирать ноги, — и засмеялся.

В Ложкарях, бойкой, чистой, на песках, деревне, заросшей сосной, приезжие веселели. Народ здесь жил бодрый, любящий шутку, под стать председателю колхоза Григорию Федоровичу Маркелову. Маркелов поднялся

навстречу Шитову, гулкоголосый, приветливый, и тут же, с ходу выдал историю о Панте Командирове.

— Третьего дня один цыган ко мне заскочил. Не надо ли, говорит, бороны отремонтировать? А я ему: тю, опоздал, давно все к севу готово. Вот, говорю, у моего соседа Командирова горе случилось, надо в район лететь, а у вертолета хвост отпал, приклепать бы. Цыган смотрел-смотрел: правду говорю или арапа запроваляю? Видно, решил — правду, сел в телегу — и в Ильинское, а у Командирова-то нынче даже «газика» не было. На бульдозер променял, чтоб держать дорогу. А я — про вертолет, у которого хвост отпал. Через час, как цыган уехал, Командиров мне звонит: «Когда, панте, издевательства кончатся? Я, панте, Шитову буду жаловаться». Я ему: ты не сердись, Ефим Фомич, не начудишь, так не прославишься, — и Григорий Федорович безжалостно захохотал.

— Удивляюсь, как тебя на эту дурь хватает? — с осуждением покачал головой Шитов, но не рассердился. Чувствовалось, что он любит этот колхоз, доволен Маркеловым.

— Дак без смеху заплесневеешь, — натягивая пеласовое пальто, оправдывался Маркелов. — А девочки ваши у нас работают ничего. Мы их не обижаем, кормим, платим хорошо.

Идя по Ложкарям, Шитов стыдил Маркелова:

— Столовая у тебя, Григорий Федорович, хуже кабака. Вон Чувашов какую завернул красивую. А у тебя что — денег нет? Или магазин построил, так решил, что хватит?

— Будет, будет новая, — отговаривался Григорий Федорович.

А Шитов не отставал от Маркелова, расхваливал чувашовский поселок Тебеньки, где и газ есть, и зубо-врачебный кабинет, музыкальная школа, интернат для ветеранов колхоза.

— А ты только бедного Командирова разыгрываешь да веселишься, — попрекал он Григория Федоровича, когда ехали к месту, где работал девичий отряд.

— Ну уж и пошутить нельзя, — обижался Маркелов.

Трудолюбивым оранжевым слоником копался в черной котловине экскаватор, от него бежали синие колесники. Подъехали к экскаватору, шофер посигналил, и на землю тяжело выпрыгнул экскаваторщик Федя Труба, муж Золотой Рыбки. Проигрывал он в сравнении с

женой, был неуклюж, малоразговорчив. Лицо у Федя усталое и смурное, будто даже неумытое.

— Ну, что приуныл, Федор Антонович? — спросил его, поздоровавшись, Шитов.

Федя Труба стянул захватанную шапку, почесал пятерней голову и развел руками:

— Хоть просись отсюда, устаю больно, Виталий Михайлович. Им ведь перекуров не надо, по понедельникам у них головы не болят, — и покосился на белоzubых задиристых девчонок, окружавших их. Девчата, довольные, посмеивались над экскаваторщиком, смотрели весело, пошучивали. И особенно веселой выглядела Зинка. Апрельский полевой загар осмолил ее лицо и еще больше высветлил бедовые глаза.

— Выходит, мы получше парней? Загоняли бедного, — сказала она Феде Трубе.

— Молодцы, молодцы, девчата. Ну, как, нравится вам? — спросил Шитов. — Может, к учителю претензии, к Сереброву?

— Учитель что надо! — откликнулась Зинка и вспыхнула до корней волос. — И дядя Федя молодец.

Шитов похлопал Федю Трубу по спине.

— Не падай духом. Ладно все идет. Вон выработка какая высокая! Надеемся на тебя. Ты только бриться не забывай. У тебя отряд особый.

Федя потер колючий, будто кактус, подбородок.

— У нас и парикмахерша есть, можем побрить, — опять встряла Зинка. Видно, хотелось ей обратить на себя внимание Сереброва: смотри, я какая — и красивая, и работающая, и разговорчивая.

— Так сойдет. Мне ведь за вами не бегать, — откликнулся Федя Труба своим низким прокуренным басом.

Зинке, видно, все еще верилось, что не зря с похвалой говорил о ее жарких щеках инженер Серебров. Улыбчиво косила на него свои отчаянные глаза.

— Ну, я вижу, ты лихо научилась баранку крутить! — сказал он.

— Еще как! Могу и вас с ветерком прокатить, — задиристо крикнула Зинка, вскочила в кабину голубенького трактора, и вот уж он, попыхивая трубой, помчался по черной ленте дороги.

— Видишь, какое доброе дело провернули, — удовлетворенно сказал Шитов Сереброву. — Готовься, с осени семь отрядов организуем.

После поездки в поле Маркелов приставуче угова-

ривал Шитова и Сереброва отведать ушицы. Серебров проголодался и согласился бы отобедать у гостеприимного, веселого Григория Федоровича, но Шитов махнул рукой: поехали, в Ильинском поедим.

Маркелов непочтительно хмыкнул, когда услышал, что они хотят пообедать в Ильинском, сильно он сомневался, что накормит их Пантя.

— Смотри, как хорошо он девчат устроил,— с одобрением вспоминал Шитов об общежитии трактористок в «Победо»,— и телевизор тебе, и сушилка. Этот копейку не жалеет, когда видит, что можно выиграть рубль, а вот перспективно думать все еще не хочет. Настоящий торговый центр им надо, больницу, Дом культуры, а у него вкуса к таким стройкам нет. Все дворы скотные лепит. А ведь не одной работой живет человек.

Колеса осторожно и недоверчиво ощупывали колдобистую, разбитую дорогу. Разница между маркеловской «Победой» и командировским «Трудом» почувствовалась сразу же. День был в разгаре, а отряд плодородия в Ильинском не работал. Все шесть девчонок, сердитые, надутые, в грязных ватниках и сапогах сидели на лавке в теплушке и ждали обеда.

— Ну как, героини, дела? — бодро спросил Шитов, заходя в тесную избенку. Девчонки поживались, не отвечали.

— Ну что молчите? — напирал Шитов, опасливо присаживаясь на хромую лавку.

— Не будем мы здесь работать,— сказала хмуро толстенная коротышка Люда Ездакова.— Всех вон направили в хорошие места, а нас — в дыру.

На плите в чугушке варилась картошка в мундирах, пуская пузыри из-под крышки. Оказалось, кормят здесь девчонок плохо: вот сами взялись готовить. И наладчик попался пьяница, и экскаватора нет, а пока нагрузишь вручную тележку, целый век пройдет. Шитов хмурился, бил перчатками по руке, девчонкам сказал, чтоб в панику не впадали, он во всем разберется и с председателем решит.

— С Пантей только и решать,— гмыкнула Люда Ездакова и, подняв крышку, постукала ложкой по картофелинам.

В своем закопченном, тесном кабинетике Ефим Фомич Командиров, суетливый, плохо бритый, разговаривал с какой-то женщиной, по-старушечьи повязанной темным платком.

— Ну, иди-иди,— замахал он ей рукой.— Потом, панте, поговорим. Люди вон пришли.

— Говорите, говорите. Мы тихо,— сказал Шитов, садясь на хлипкий стул в этой темной боковушке, называемой кабинетом председателя.

— Сама из доярок ушла и дочь вот спровадила,— возмущенно заговорил Командиров, призывая возмутиться Шитова.

— У меня руки не владеют ужю. Двадцать лет доила, дак чо и девке пропадать? — откликнулась женщина, затягивая концы платка.

— Никакой, панте, сознательности,— ворчал Командиров.

— Анна Андреевна,— проговорил Шитов, подняв взгляд на женщину,— где дочка-то устроилась?

Женщину, видно, приятно поразило, что секретарь знает ее по имени и отчеству, она отмякла.

— Да в городе, на штукатурку учится.

— Вы уж помогите,— попросил Шитов.

— Хоть месяц-то поработай,— взмолился Командиров.

— Не владеют руки, дак,— всхлипнула женщина и утерла глаза концом платка.— Свою тогда группу-то хоть дайте.

Командиров расстроено вздыхал, стремясь показать, как ему безысходно трудно, а потом вдруг напустился на Шитова.

— Надо, Виталий Михайлович, вашего Чувашова приструнить, а то сманил у меня кузнеца Мартьянова. Такой, панте, дельный мужик и уехал. Да как так можно! У него четыреста человек, а у меня сто двадцать, и сманивает. Нахально сманивает.

Шитов хмурился.

— Поговорю,— пообещал он, теребя перчатки.— Ну а девичий-то отряд ты что же это не кормишь толком и заработать им не даешь? Они уезжать собрались.

Командиров обреченно взмахнул рукой, легко согласился:

— Пусть, пусть уезжают. Бог с ними,— видно, так он был затюкан другими заботами, что вовсе недосуг ему было заниматься девичьим отрядом.

Шитов хмурился. Почему-то он не замечал, что у Ефима Фомича рвется нагрудный карман от ручек, карандашей, расчески.

— Так можно любое хорошее дело погубить,— серди-

то проговорил Шитов, глядя расстроено на Ефима Фомича.

— Ну а где я экскаватор возьму? — развел тот руками.

У Командирова в колхозе везде были дыры и прорехи, и везде были виноваты другие люди, не он.

— Вот поглядите, что творят, — надевая шапку, проговорил он и потащил Шитова и Сереброва на строящийся коровник.

«Мой бывший подшефный», — вспомнил Серебров, шагая по гулкому пустому двору.

— Для возбуждения веры, панте, строить надо. Я говорю дояркам, что автоматика будет, — оживленно жестикулируя, рассказывал Командиров. Видно, верил, что с пуском этого коровника двинется колхоз вперед и доярки перестанут жаловаться на тяжелую работу, и все пойдет гладко.

— Завтра соберем колхозников и строителей, — твердо пообещал Шитов. — Хватит тянуть резину... Что ж, Гарольд Станиславович, обед перенесем на ужин? — спросил он, садясь в машину.

— Перенесем, — откликнулся тот. Прав был Маркелов: у Панти уши не поешь.

Настроение у Виталия Михайловича явно испортилось, он хмуро смотрел на уходящую под колеса дорогу. Сереброву тоже говорить не хотелось: выходит, он подвел своих курсанток — не проверил, как их встретят в Ильинском.

— Давайте к Маркелову девочек переведем, надо у них настроение поднять, зря, что ли, учились... — проговорил Серебров.

— Наверное, придется сделать так, — **согласился Виталий Михайлович** и попросил шофера повернуть машину в Тебеньки, к Чувашову.

Председателя колхоза «Новый путь» Александра Дмитриевича Чувашова считали в Крутенке счастливым. Все у него шло как-то легко и ладно. Поселок новый, каменный: просторная школа, торговый центр, Дом культуры, уютный особняк-интернат для престарелых колхозников. Шитов любил ездить сюда. В пору молодости он, тогда директор школы-восьмилетки, был у Чувашова секретарем парторганизации. И не кто иной, как он, руководил первым льноводческим звеном. Говорят, Шитов себя не жалел: подняв школьников, облазил в Крутенке стропила складов, повети, собирая голубиный

помет. Тогда ведь с удобрениями было туго. Лен вырос- тил хороший, доказал, что можно получать урожаи не хуже довоенных, и деньги впервые выдали на трудодни. С тех времен была у Шитова с Чувашовым крепкая дружба, однако теперь Шитов старался ее не выказы- вать, чтоб не обижались другие председатели колхозов и не плели небылицы о том, что Чувашову перепадает больше внимания, чем им.

Александра Дмитриевича Чувашова, плотного, голу- боглазого крепыша, они догнали по дороге. Тот ехал вер- хом на рысаке и, судя по посадке, был отличным кавал- еристом.

— Ты что это? — выходя из машины, удивился Ши- тов.

— Да озими смотрел, как перезимовали. Вроде не выпрели и не вымерзли. Теперь на поле в машине не про- едешь, а надо, — улыбаясь, ответил Чувашов. Улыбка у него была хорошая, добрая и умная. Серебров тоже вы- шел из «газика», любовался диковатым, всхрапывающим рысаком. Красивая была у Чувашова лошадь.

— Купил жеребца-то? — спросил Шитов.

— Нет, самому пришлось объезжать. Мало кто те- перь объезжать умеет. Везде лошадей извели, будто и не нужны они вовсе. Ну, ладно, вы в контору направляй- тесь, а я жеребенка отведу.

— Лошади — его страсть, — размягченно глядя вслед едущему наметом Чувашову, сказал Виталий Михайло- вич. — По две коняки он под седлом держал, когда на- чинал председательствовать. Кони уставали на две сме- ны работать, а он без смен работу вез. За душой-то у него была тогда одна колхозная печать. Чтоб сбрую ку- пить, у мужиков деньги занимал. Касса пустехонька была.

Пока они мыли в колоде сапоги, подошел Александр Дмитриевич, так же улыбочиво пригласил их в кабинет.

— Не часто жалуешь, Виталий Михайлович, — упрек- нул он Шитова, придерживая у горла серый свитер.

— А боюсь, — осторожно ступая на палас в кабине- те, проговорил Шитов. — Побываешь у тебя и чувству- ешь, что демобилизовался, успокоился. А успокаиваться рано. Ох, рано. Ты как теперь строишь-то, для возбужде- ния веры, как Командиров, или для жизни?

— А всяко было. И для возбуждения веры строил, — откликнулся Чувашов, нажимая на кнопку селектора и давая распоряжение.

Шитову хотелось показать, что здесь все иначе, чем в других хозяйствах.

— Вот обрати внимание,— сказал он Сереброву,— единственный колхоз, где квас есть. Специальную квасницу держит.— И они выпили крепкого квасу.

Потом попросил Шитов, чтоб сводил их Александр Дмитриевич в особняк для ветеранов колхоза, где шуплая старушка с оживляющим лицо веселым вздернутым носом отвела Виталия Михайловича в сторонку. Она, видимо, начальством его не считала и пустилась рассказывать о своих переживаниях.

— Не спится мне, Виталей Михайловицъ. Все корову свою вспоминаю,— завздыхала она.— Баска боле корова-то была. А как подумаю только, што не стану больше доржать-то, зареву.

Шитов качал сочувственно головой, вздыхал.

— Ничего не поделаешь, Степанида Ивановна. Ведь силы у тебя не те, да и молока тебе много не надо. Дает колхоз молоко-то?

— Как не дает, дает,— согласно качая головой, проговорила Степанида Ивановна. И выражение лица было такое: как мог подумать Виталий Михайлович, чтоб у них да молоко не давали.— Жалобиться грех. Дают, дают молока.

Серебров ходил следом за Шитовым и Чувашовым по Тебенькам, и никак в его голове не укладывалась разница в жизни села Ильинского и этого веселого поселка Тебеньки. Один район, и такое различие. Неужели только от двух человек зависит это?

Чувашов позвал их в столовую. На этот раз Шитов не отказался.

— Ну что, пообедаем за ужином? — смеясь яркими карими глазами, сказал он.— Смотри-ка, значит, пресс поставил, жмешь? — удивился, цокая языком, Шитов и полил из соусника черным льняным маслом капустный салат.— Эх, хорошо! Я в детстве его любил. Да, чуть не забыл, мы ведь от Маркелова к тебе. Ох, молодец, так он организовал вывозку навоза, что к севу ни у одной фермы ничего не останется.

Серебров удивился хитрости Шитова: Маркелову расхваливал то, что видел у Чувашова, а вот у Чувашова хвалит Григория Федоровича. Подзадорить, видно, хочет.

Чувствовалось, отдыхает здесь Шитов, однако упрек-

нул Чувашова за то, что переманил тот из Ильинского кузнеца Мартьянова, а там рабочей силы и так мало.

— Я не переманивал,— мгновенно серьезнея, теряя в глазах безмятежную голубизну, проговорил Чувашов.— Мартьянов переехал из-за садика и из-за школы. Трое у него маленьких, а в Ильинском садика нет. И еще что... Девочка у него в девятом учится. Ездил из Ильинского в Ложкари. А дорога там — не приведи господь. Села в тракторную тележку, и у нее флягами с молоком ногу раздробило. Ты понимаешь? А насчет сил тебе скажу. Если спустя рукава работать, никакая сила не поможет. Вот в посевную прошлую мы первого и второго мая работали, девятого, в День Победы,— тоже. Погожие дни были. А Пантя пропраздновал их. Я применяюсь к солнышку да дождям, а он к праздникам. Свадьбу устраивают на Первый май. Это в крестьянстве-то,— и Чувашов расстроено бросил вилку.— Далеко жить от земли стали. У нас ведь не каждый выдерживает. Тяжело. Звеньевые по льну в посевную и уборку по четыре часа в сутки спят.

Шитов хмурился.

Чувашов, сминая в руках салфетку, продолжал:

— Я ведь отказывался их принимать. Знал — будет Командиров жаловаться, так ведь люди. Не прими — уедут на торф, на завод и не будут уже землей заниматься. Крестьянина потеряем.

Шитов понимал, наверное, что прав был Чувашов, приняв кузнеца в свой колхоз, но вот по должности обязан он был друга своего упрекать за то, что тот переманивает людей из Ильинского.

Залпом выпив стакан компота, Александр Дмитриевич вытер бумажной салфеткой губы, с досадой отшвырнул ее в тарелку.

— Никак я не пойму таких, как преподобный Ефим Фомич. Жметса, детсад не строит, водопровод прорыть не хочет, а уедет от него из-за этого человек, к тебе в райком жаловаться бежит. Не жаловаться надо, а строить. Ты почему ему так-то не сказал, Виталий Михайлович?

— По-всякому говорил,— хмуро отозвался Шитов.— Ну, ладно, хоть больше-то не принимай, а то говорят, что я покрываю тебя.

— Значит, пусть уезжают на все четыре стороны? — спросил Чувашов, и опять в глазах сгустилась сердитая

голубизна. — Ты ведь помнишь, у нас тринадцать лет назад было все, как у них, но мы себя не жалели и не жалеем, вот и сделали.

Виталий Михайлович ничего не ответил. Что тут ответишь?

— Ну, ладно, спасибо за хлеб-соль, — сказал Шитов, поднимаясь и заминая разговор.

В Крутенку возвращались уже ночью. Серебров был доволен поездкой: узнал столько людей. К тому же Сереброву нравилось, что Шитов говорил с ним на равных. И вот теперь, повернувшись боком на переднем сиденье, тот рассуждал:

— Парадокс семидесятого года: жить стало в деревне лучше, легче, а молодежь оставаться на селе не хочет. Почему? Да потому, что запросы выросли. Мы по телевидению показываем жизнь еще лучше. А кто такой веселой жизни может противопоставить свою, не менее веселую? У нас пока один Чувашов, ну Маркелов отчасти. А Пантя разве противопоставит? Нет!

— Пантя — сонный человек, — сказал Серебров.

— Не скажи. Хлопчет он! Да не выходит у него. Не тот человек. Чтобы председателем хорошим быть, надо много талантов иметь.

Командиров был «огородовским кадром». Когда разукрупнили «Гигант», Николай Филиппович предложил председателями разъединенных колхозов избрать Маркелова и молодого, говорливого зоотехника из управления сельского хозяйства, Быданцева. Говорить этот парень умел, а вот дело в колхозе не шло, хотя председателю и помогали. В Доме Советов шутили: «Быд — забота общая». И вот Быд учудил — оставил председателя сельсовета бумаги и скрылся неизвестно куда. Потом известно стало, конечно: в Новгородскую область. Плясунов тогда распалился, вызвал Огородова.

— Кого подсунул? Если через три дня не подберешь в Ильинское председателя, сам обратно сядешь туда.

Огородов постарался, нажал на Командирова. Тот натиска не выдержал, согласился. Поставили, хотя знали — не тот человек Ефим Фомич. Да свято место пусто не бывает.

Шитов об этом не говорил — ссылаться на ошибки предшественников не любил. И Сереброву не стал объяснять Пантино выдвижение.

— И еще парадокс, — переводя разговор, проговорил Шитов, — кто уезжает? Не все. Старики остаются. За-

мать, и парни остаются. Девчонки уезжают. Мы все время считали, что женихов не хватает. Шалишь, теперь невест нет. Уезжают, потому что работать им, кроме как на фермах, негде — раз. И родители говорят: «Поезжайте». Вот как сегодняшняя Анна Андреевна у Командирова. Отослала дочку на штукатурку учиться.

— А в городе невесты чахнут на корню, — вставил Серебров, проникаясь согласием с Шитовым.

— Вот то-то и оно. Скажешь — невест не хватает, смеются. Кое для кого это вроде оперетты, но оперетта печальная. Девчат нет, нет новых семей. Этому Панте надо было в пятидесятые годы работать. Там справку не дал, вот и закрепил народ, а теперь школу строй, жилье строй, детсад, дорогу. А они посмотрят, как ты построил. Теперь надо человека убедить не только словами, надо показать — вот как у нас хорошо.

Серебров слушал Шитова, и росла у него симпатия к этому человеку. Видит, все видит. И нелегко ему, очень нелегко. На языке вертелся вопрос: почему все-таки в Крутенском районе такое пестрое соседство? Почему Пантя все еще сидит на председательском месте?

Шитов долго не отвечал. Смотрел на темные поля и молчал.

— Ну, кого поставишь? Нет подходящих людей, обезлюдел район. Командиров хоть не пьет — хлопочет, но не получается, — с досадой проговорил он наконец. Видимо, постоянно мучили его эти мысли. — Таких-то ведь, как Чувашов да Маркелов, немного, — сказал раздумчиво Шитов. — Хорошо колхозом руководить — это талант, может, с хорошим басом вровень. А много ли хороших басов?

Серебров начал перечислять известных басов.

— Ну вот, видишь — раз, два и обчелся, а заменишь бас баритоном — не та песня получается. Чувашов вон сколько настроил, иной за всю свою жизнь такого не сделает. И о людях думает. А они ведь все это чувствуют. Очень тонко чувствуют. Приехал я тут в Тебеньки, зашел в интернат к Степаниде Ивановне, а она очки на нос нацепила, пишет чего-то. «Письмо сочиняешь?» — спрашиваю. А она ладошкой творение свое прикрыла. Увидел я имена сверху: «Игнат, Григорей, Алексан». — «Ты уж не ругай меня, Виталий Михайлович, старинная я ведь, дак памятку за здоровье пишу». — «Понятно, — говорю. — Гриша, Игнат — сыновья. А кто Алексан?» — «Да председатель-от наш, Алексан-от Митревиць, дай

бог ему здоровья. Здоровьишко у него стало неважное»... Вот, Гарольд Станиславович, не каждого председателя за здравие станет старушка в бумажку свою записывать, заслужить это надо. А где Чувашовых-то таких взять? Не знаешь? И я пока не знаю.

Через неделю Серебров понял, что у Шитова были свои тайные мысли, когда возил он его с собой: в чем-то хотел убедиться секретарь райкома партии.

— Сватать тебя будем на второго. Костина в обком комсомола взяли,— сказал Сереброву Долгов.— Шитов сам тебя предлагает. Пойдем.

Виталий Михайлович встретил их, улыбаясь. Вышел из-за стола, пожал руку. Припомнил, что Серебров был активистом в институте, что в Сельхозтехнике секретарит вроде неплохо, что курсы трактористок вел напористо. В обкоме комсомола мнение о Сереброве неплохое: только в Крутенке не распались эти самые девичьи отряды.

Серебров растерялся: и об институтских делах вспомнили, и о курсах. Но курсы — это не его заслуга. Виталий Михайлович сам все делал. Он-то, Серебров, их как раз развалил.

— Ну, от тебя многое зависело,— проговорил Шитов.— Так что берись.

Серебров никогда не думал, что его судьба повернется так, а вот она поворачивалась. Выйдя от Шитова, он думал о том, каким особенным, новым, хорошим, чутким, энергичным, неутомимым должен теперь стать. И как много должен знать. Ведь он будет учить других, как жить.

После пленума райкома комсомола, смущаясь, чувствуя себя не на своем месте, Серебров пришел в отдельный кабинет с телефоном. Он вовсе не представлял, что должен делать, и даже обрадовался, когда Ваня Долгов послал его по колхозам собрать к пленуму райкома комсомола материалы о работе молодых животноводов.

Чувашов встретил его как старого знакомого. С удовольствием, размягченно смотрел на заплаканные оконные стекла — взгляд сельского человека, понимающего, что после сева нужна всходам влага. Пусть горожанин клянет мокрую весну, а он знает, что дождь — благо, и рад этому.

— Три хороших, ко времени, дождичка — и урожай в кармане,— проговорил он.— Ну а что молодежь? У нас

она не уходит. У нас проблемы невест нет, ищи в другом месте. А проблема эта будет, пока не механизмируют фермы, пока корм будут в плетях носить,— убежденно сказал Чувашов.

Было в тот день в колхозе совещание животноводов, и Чувашов вручал дояркам премии. Делал он это как-то по-особому радушно. Чувствовалось, что человек он местный. Премияльный платочек пожилой доярке накидывал на плечи, приговаривая:

— Ой, какая ты красивая стала, тетка Федосья.

А у той голос ликовал:

— Да, Санко, прости старую, Алексан ты дорогой Митриевич, спасибо милой, спасибо. Умник ты у нас.

Серебров влюбленно смотрел на Чувашова. Все естественно, кстати. Как этому учатся или сразу такими рождаются?

А в Ильинском было скучно и нудно до сонливости. Серебров мучил вопросами Ефима Фомича в том же темном закутке, который громко назывался кабинетом. На стенах плакаты об откорме телят. Края у плакатов и нижняя часть календаря, где говорится о восходе и заходе Солнца, были оборваны на самокрутки. Командиров вздыхал:

— Тяжело, панте, молодежь сдвинуть. Вся мания теперь в город. Девчата чуть оперились и из гнезда — ф-рр. Хоть сам под корову садись.

Закончив разговор с Командириным, Серебров отправился в красную, земской постройки, школу-восьмилетку. Надо было поговорить с секретарем комсомольской организации, завучем Верой Николаевной Огородовой. Он встретил ее на высоком крыльце школы. Вера всполошенно взглянула на него: на лице мелькнул испуг, его сменила радость. Потом она успокоилась. Стояла перед ним, добрая, приветливая. Держала обеими руками портфель и открыто смотрела своими большими глазами.

— Надо же, кто пожаловал.

— А я ведь по делам,— сказал Серебров, ища глазами, где бы обмыть сапоги.— Насчет того, как у вас комсомол помогает животноводству.

Оказалось, что из комсомолок работает на ферме только одна Женя, да и та уехала на свадьбу.

— У нас сегодня веселый день — концерт,— сказала Вера.— Вот я как раз в клуб иду. Приглашаю тебя.

Вера привела его в ветхий клубик, на сцене которого он, помнится, спал студентом во время уборки. Слоняясь

в ожидании концерта, Серебров встретил рыжего клубаря Валерия Карповича.

— А я слышу — Серебров приехал, — осклабившись, обрадовался тот. — Где Генка-то Рякин?

— Тю, вспомнил, Гена давно в Бугрянске, — присвистнул Серебров. Про себя он теперь отметил, что стал Валерий Карпович каким-то нудным: говорит одинаково о разных вещах: «очень даже мало стало участников са-модеятельности», «очень даже много недостатков».

Серебров сидел рядом с Верой в тесном клубике, вспоминал, какой нарядной явилась она сюда на танцы в тот давний вечер, как выпытывала, что он думает о ней, и как он пытался ее поцеловать. А она была недо-трога. И теперь, наверное, осталась такой. На концерте он сбоку заглядывал ей в лицо. По тому, как жарко раскраснелись ее щеки, догадался, что Вера тоже вспо-мнила что-то связанное с ним.

«А она ведь милая, добрая», — подумал он, и ему за-хотелось сказать ей приятное.

— Помнишь, Верочка? — спросил он, пожимая ей руку.

Она кивнула.

Как не помнить! Они попали на один комбайн. Убор-ка выдалась тяжелой. Прибитая дождями, спутанная ветром, рожь давалась с трудом.

— Не знаешь, с какого краю заехать, — сердился гор-боносый, громадный комбайнер Серега Докучаев. Не успевали пройти гон, как комбайн замирал на месте. — Все! Наелся! — орал Сергей и спускался с мостика с мо-лотком и зубилом в руке. Став на колени, он лез к бара-бану и начинал обрубать туго завившуюся солому. Со-лома, солома, а справиться с ней было нелегко. Гарька видел, как из-под старой, потерявшей свой исконный цвет фуражки лезут мокрые волосы, темнеет от пота заши-тая, выцветшая рубаха.

— Дайте, я, — просил он Докучаева. Ему было стыд-но переминуться в сторонке, когда тот со злым остерве-нением рубит и рвет солому, неудобно перед Верой Ого-родовой, ждущей их на копнителе с граблями в руках.

Но Докучаев то ли не доверял ему, то ли совестился дать такую работу городскому студенту. Гарька не вы-держал и, услышав «все, наелся», стал первым хватать зубило. Он лез к барабану и махал молотком. Глаза ело от пота, колола спину попавшая за ворот ость, но он не хотел показать, что устал. Несносный молоток тяпал по

пальцам. Гарька отфыркивался, встряхивался, вытирал рукавом пот. В это мгновение он замечал на себе усмешливый Верин взгляд. Ну и видок, наверное, но было не до того, чтоб приводить себя в порядок. Наконец солома обрублена, барабан освобожден.

— Все на корापь,— говорил удовлетворенно Докучаев, и Гарька устало лез на комбайн.

Во время передышки Докучаев заклеивал слюной повравшуюся папиросину и изводил Сереброва расспросами:

— Скажи-ко, я вот что не пойму. Все гости да гости. Брательник — гость, вы — гости, председатель наш Пантя — гость, везде гости, а хозяев вовсе не стает. Попомни мое слово — не стает хозяев, а земле хозяин нужен. Почто у нас хозяев мало?

А Гарьку волновало больше свое открытие. Сунул как-то после обеда руку в карман куртки и вдруг обнаружил зеленые гороховые стручки. Карманы были набиты ими. Посмотрел на Докучаева: нет, тот бы зеленый горох высыпал открыто, для всех. Значит, Вера? Когда она успела сбегать на поле за горохом, как ухитрилась незаметно насовать стручков ему в карман?

Взглянул на Веру, та отвела взгляд и нестерпимо покраснела. И какой же ладной да приятной показалась ему она теперь под тихим небом, у изломистого ельника.

В тот день Докучаев торопился.

— Надо эту ластафину, ребятки, сегодня домозолить,— говорил он, довольный тем, что комбайн идет без остановки.— А завтра в Карюшкино поедем, там поле покатистое, работать легче.

Осталось дожать небольшую гривку у ельника, когда вдруг в комбайне что-то заскрежетало, треснуло, и он замер. Докучаев не слез, а обрушился вниз. Сломалась полуось редуктора — железный стержень, похожий на лом.

Вытащив искалеченную деталь, Докучаев долго плевался, тер чумазой рукой лоб. В конце концов снял свой ободранный велосипедишко и поскрипел в мастерскую сваривать эту полуось.

Гарьке было жалко Докучаева, жалко этого погожего дня, но где-то потаенно копилась радость оттого, что наконец он отдохнет, что они останутся с Верой вдвоем. Он распластался на соломе, глядя в небо: неприкаянные облака бродили в синеве.

— Это ты мне горох положила? — садясь, спросил он Веру.

— Больно надо,— с деланным безразличием хмыкнула та, перевязывая на голове платок. Но по голосу ясно было, что это она принесла с поля стручков и насыпала ему в карманы.— А правда, что ты в театральном институте учился?

Видно, ходили о Сереброве легенды среди студенток, раз донеслась такая весть до Веры Огородовой.

— Нет, я закончил консерваторию по классу балалайки,— ответил он.

— Ой, скажешь, болтунишка,— крикнула она и кинула в него горсть соломы.— Ты что, вовсе по-хорошему говорить разучился? Ни слова в простоте, а все ужимки да прыжки.

Гарька смахнул с лица стебли. На него полетело уже целое беремя соломы. Отплевываясь, он вылез из вороха.

— Ты знаешь, что бывает за нападение без объявления войны? — крикнул он.

— Что? — глаза у Веры смеялись. Они манили его, поддразнивали.

— На удар агрессора отвечают тройным ударом,— крикнул Гарька и, схватив охапку соломы, бросил в Веру. Но Вера, сторожкая, готовая к этой игре, предусмотрительно отскочила на другой край омета, закатилась от смеха. Раскрасневшаяся, задорная, она стояла, поддразнивая его этим смехом и взглядом: «Ну-ну, композитор по классу балалайки». Гарька знал, что первое его движение — и Вера скатится вниз по соломе.

— Ой, смотри-ка, Докучаев на верблюде едет! — крикнул Гарька.

Она обернулась. Гарьке было достаточно этого, чтобы сделать прыжок и повалить Веру, забросать ее соломой. Она отбивалась, заливалась хохотом.

— Ой, нечестно так, нечестно,— барахтаясь, кричала Вера.— Ты обманул.

Гарька, свалившись рядом с Верой, схватил ее за плечи.

— Просишь пощады?

На него смотрели ее веселые глаза.

— Нет! Пусти меня. Балалаечник. Так нечестно,— отбиваясь, вырывалась она.

— Просишь? — Гарька, воровато оглянувшись, накло-



нился над Верой и вдруг поцеловал ее. Поцеловал, сам не зная зачем. Такими манящими были ее глаза, такими свежими лицо и губы.

— Ох, какой ты, ох, ты какой нахал,— задохнулась она от возмущения и, вырвавшись, сбежала вниз, на стерню, спотыкаясь, ушла к дальнему омету, легла там. Наверное, плакала. Вроде плечи вздрагивали у нее.

Гарьке было стыдно. Он виновато припелся к омету, где была Вера.

— Ну, извини, Верочка, я ненарочно,— сказал он и погладил ее по плечу. Она оттолкнула локтем его руку. Он заглянул сбоку ей в лицо.

— Ну, прости меня. Ты видишь, я стою на коленях и молю о прощении,— канючил он. Гарьке показалось, что Вера вовсе не плачет. Смотрят на него сквозь пальцы ее лукавые, смеющиеся глаза. Гарька взял былинку и стал водить по узенькой полоске обнаженной шеи, оставшейся между платком и курткой. Вера отмахнулась от надоедливой былинки словно от мухи. Гарька молча посмеивался и опять водил соломинкой по Вериней шее. Сейчас Вера оказалась хитрее. Она вдруг обернулась и, дернув Гарьку за руку, столкнула его с омета. Он скатился на землю. Вскочил, обрадованный тем, что Вера опять принимает игру.

— А, коварная, теперь я расправлюсь с тобой! — с артистическим завыванием крикнул он. Но броситься к Вере помешала внезапная резь в глазу. Гарька потер рукой глаз, резь усилилась. А потом вдруг перешла в нестерпимую, жгучую боль.

Вера решила, что Гарька притворяется. Она стояла на вершине омета в своих ловких сапожках, в распахнутой куртке, горячая, стройная, зазывно веселая. А Гарька размазывал по лицу слезы, пытался поднять веко над ослепшим глазом и не мог двинуться с места. Жгучая боль не прекращалась.

— Ну что с тобой? — все еще стоя в опасливом отдалении спросила Вера, готовая бежать, увертываться и смеяться, но, поняв, что случилось нешуточное, приблизилась к нему.

— Я сейчас, подожди, я платком,— и действительно достала чистый, пахнувший давними духами, напоминающими о чем-то нежном и сокровенном, носовой платочек. Как она сумела сохранить этот белоснежный с сентиментальным кружевцем платочек в такой копоти и грязи, это было непостижимо!

Гарька послушно стоял, а Вера, заботливая и бесконечно сострадающая ему, пыталась уголком этого платка вывести из глаза соринку, мошку или что там попало. Руки у нее были ласковые, ловкие, заботливые. Но платок не помогал, глаз продолжало жечь.

— Я сейчас, я сейчас,— заторопилась она и, схватив бидон, сбегала на ключ за водой.

Он ополоснул лицо, и вроде ему стало полегче, но ненадолго. Раскаленная искра, засевшая под веком, продолжала жечь глаз.

Гарьке было неловко оттого, что не во время работы, а от озорства и дури заскочила в глаз ость. Вот-вот вернется Докучаев, а он не может работать.

Держа у глаза Верин платок, Гарька побрел в Ильинское.

Он почувствовал себя несказанно счастливым, когда без всяких помех вдруг увидел ухмыляющееся, широкое, с круглой, как горошина, бородавкой меж бровей лицо фельдшерицы. Эта толстая, флегматичная тетка, ловко завернув измученное Гарькино веко, провела прохладной палочкой и вдруг сняла всякую боль. Гарька обрадованно заулыбался. Ах, как легко, оказывается, стать счастливым.

...На сцене, где когда-то спал он с Генкой Рякиным, танцевали в носках полечку девчущки-школьницы. Странная, с холодноватым взглядом и носом кнопочкой, учительница спела две шотландские песенки. Ее слушали с почтением.

Концертник, конечно, был не чета тому, какой закатил в давние времена Валерий Карпович, но народ хлопал, и горбоносый комбайнер Серега Докучаев, у которого студент Серебров в свое время работал помощником, тяжело бухал ладонями. Он был в той же, что и раньше, добела вытертой кожаной куртке. После концерта Докучаев сидел на скрипящем под его тяжестью диване и поплеывал себе под ноги. Рядом лежала авоська со связанными клубком детскими ботинками.

— Начальство приехало,— сказал он, увидев Сереброва.— А я, вишь, все еще Докучаев. Все пашу да жну.

— Это что у тебя — для детсада? — спросил Серебров, показывая на авоську.

— Э-э, парень,— вздохнул Докучаев,— вовсе я обрелся. Целый интернат настрогал, дак обувать надо. Шестого вот Глаха принесла,— с удивлением проговорил он.

— Ну а как работа идет? — допытывался Серебров, угощая Докучаева сигаретой.

— А ну ее к едрене фене. Барабаемся. Разве с нашим Пантей хорошее сделаешь, — махнул рукой Докучаев и, забрав авоську, пошел прочь. Потом повернулся и в дверях крикнул: — Приходи ночевать-то. Не обидься. Мало ли чо скажу. Я таковский.

Серебров раздумывал, попроситься ли ему переночевать у Валерия Карповича или пойти к Панте. А тут вот появилась возможность пойти к Докучаеву. Уж если идти, так к нему. У него не заскучаешь. Подошла раскрасневшаяся, радостная Вера. Колхозники хвалили концерт, и ей было это приятно.

— У нас в учительском доме есть комната, — сказала она. — Можно там ночевать. Да и поужинаешь, чем бог послал.

И он пошел следом за ней в старый скрипучий дом, где жили молодые учителя. Было темно. Улицу освещал только свет, падающий из окон, и Вера предупреждала, где надо обойти канаву, наполненную весенней водой. Над ними было необозримое небо все в крупных, казавшихся близкими звездах. Лаяла где-то собака, слышался звон бадьи о сруб колодца. Деревенские милые звуки. Но все это не нарушало глубокой, бесконечной тишины. И Вера, такая приветливая, добрая, шла рядом.

— Почему-то мне очень хорошо сегодня, — неожиданно сказал он. — Мы так давно не виделись с тобой...

Вера не ответила ему. Он удивился, как это вдруг вырвались у него такие слова.

— Вот сюда, — сказала Вера, подавая ему руку. Рука была горячая, доверчивая. Серебров зачем-то протянул ее к губам и поцеловал.

— Ах, какой галантный, — произнесла она шепотом и рассмеялась, но руку не вырвала.

В учительском общежитии начался девичий переполох: захлопали двери. Вера о чем-то шушукалась с подругами, приглушенно смеялась.

Серебров осматривал ее комнату. Аккуратно застелен зеленой бумагой письменный стол. Над ним — полочка с книгами. На столе — фотография в рамке. Этакое святое семейство: Николай Филиппович с Серафимой Петровной и Верой. Все дебелие, основательные. Николай Филиппович выглядит монументально. У Серафимы Петровны глубоко во взгляде горчинка. И только у Веры в глазах веселая открытость.

Смущенная, радостная, Вера достала все, что у нее нашлось съестного.

— У меня еще суп есть,— сказала она растерянно.— Можно суп вечером есть?

— Можно, Верочка. Но ты не беспокойся. Я все ем,— погладив ее по руке, проговорил он, тронутый ее хлопотами.

Ему вдруг стало стыдно. Почему он всегда насмеялся над ней, такой милой, чуткой? Почему ее называл Верандой? Он снова взял Веру за руку, притянул к себе, ткнулся губами куда-то в ухо, прошептал:

— Прости меня. Я таким был всегда... Извини, ты прекрасная.

Она еще больше зарделась, вырвалась, но не рассердилась.

— Вот масло, рыжики,— говорила Вера, чтобы не молчать.— А Ирина Федоровна жарит картошку,— и прижала руки к пылающим щекам.— Ой, какая я красная!..

Пришла та самая учительница английского языка Ирина Федоровна, которая пела шотландские песенки. Теперь она была смешливая и веселая. Она принесла сковороду с жареной картошкой, потом сбегала за гитарой.

В общем, получилось неплохо. Они ели картошку и болтали о всякой всячине. Ирина Федоровна вдруг подтолкнула Веру.

— Расскажи-ка, какое стихотворное признание ты получила?

Вера зарделась еще сильнее. В конце концов Ирина Федоровна сказала, что Валерий Карпович написал Вере стихи.

— Ирка, перестань,— красная до слез, возмутилась Вера и вырвала из рук Ирины Федоровны листок бумаги с мадригалом.

— Ладно, ладно, не буду. В общем, там и «улыбка светлая» и «ласковые руки»,— не унималась смешливая Ирина Федоровна.

Выходит, Валерий Карпович времени не теряет, стихи девушкам пишет и, по сути дела, признается в любви. И хоть Вера говорила о клубаре, как о «нудном», «несносном», Сереброву вдруг показалось, что тот может добиться успеха.

Ирина Федоровна неумело тренькала на гитаре, пока Вера не попросила Гарьку спеть «нашу студенческую». Она стремилась как-то объяснить приглашение Сереб-

рова и несколько раз повторила: «Мы давно знакомы... Наша общая песня». Серебров ломаться не стал — как в студенческие годы, «оторвал» три песенки.

Ирина Федоровна зачарованно смотрела на Гарькины руки.

— Как это у вас получается? — и требовала сыграть еще.

Серебров пробегал пальцами по струнам.

— А почему у меня не получается? — удивлялась «англичанка».

— Ну, он же консерваторию по классу балалайки закончил,— усмехнулась Вера. Все-то она помнила, что относилось к нему. Даже болтовню — будто он учился в консерватории.

Сереброву хотелось пусть ненадолго остаться наедине с Верой, а Ирина Федоровна все вертелась тут же. Он так и не сумел ничего сказать Вере. Он должен был сказать что-то нежное и благородное.

Уже часа в два ночи он ушел в соседнюю пустую комнату, где была для него приготовлена раскладушка. Ирина Федоровна предложила ему шелковое стеганое, наверное, привезенное из дому, от мамы, одеяло. Сереброву казалось, что он вернулся откуда-то из дальнего путешествия к родному, немного почужавшему человеку и вот теперь опять обретает прежнюю близость и прежнее расположение. Милая, простая, преданная ему Верочка.

Ему долго не спалось. То ли оттого, что никак не мог успокоиться старый дом, то ли мешали воспоминания. Потом явилось нетерпеливое желание сейчас же увидеть Веру.

Сварливо скрипнула дверь. Кто-то ходил в сенях по шатким половицам. Сереброву казалось, да нет, не казалось — он был убежден, что там, за стеной, точно так же не спит Вера. Мучится он, мучится она — неизвестно зачем. Он вдруг подумал, что мог бы зайти к ней и спросить, не холодно ли ей. У него было свежо в этой старой, с отставшими на потолке обоями комнатушке. Слышно было, как сипит ветер в щелях чердачного окна.

Серебров натянул брюки и, накинув плащ, прокрался к дверям Вериней комнаты. Он постучал подушечками пальцев. Даже звука вроде никакого не было, но Вера откликнулась сразу же.

— Кто там? — всполошенно прошептала она.

— Я,— ответил Серебров одними губами, но и этот безголосый звук показался ему громким.

Он боялся, что Вера прикажет ему идти спать. Но нет. Скрипнула кровать, потом раздались шлепанье босых ног по полу и щелкнул крючок. Серебров опешил — как она решилась на такое? Как она решилась открыть и впустить его? Не надо было этого делать, но он хотел этого. Воровато придерживая дверь, он вошел в комнату Веры и накинул крючок.

— Тебе не холодно? — спросил он с ненужной заботой.

— Н-нет,— прошептала она, но у нее не попадал зуб на зуб.

Серебров сбросил плащ, обнял Веру. Она не оттолкнула его, только отодвинулась к стене. Он погладил ее по щеке и вдруг понял, что щека у нее мокрая.

— Ты плачешь, Верочка? Что с тобой?

Она не ответила, она вдруг судорожно ткнулась головой в его грудь.

— Гарик, Гаренька,— простонала она, и столько боли, тоски и любви было в этом стоне ли, вздохе ли, что Серебров задохнулся от охватившего его ответного чувства. Он стал целовать ее мокрое от слез лицо, шею.

— Милая Верочка, я измучил тебя. Прости,— бормотал он, вдруг до боли остро ощутив, что Вера единственная из всех, кто действительно по-настоящему, давно и самоотреченно, терпеливо любит его, а он вот мучил ее.

Он вернулся на свое место, когда уже заурчал в церкви, приспособленной под мастерскую, трактор. Серебров был удивлен и тронут безбоязненностью Веры. При ее то застенчивости и щепетильности пойти на такое! И только по тому, что наутро ни свет ни заря она ушла в школу, не дождавшись его, он понял, чего ей стоила ночь, как она мучается стыдом, а может быть, и раскаянием.

Серебров поднялся, побрился и стал собираться. Прежде чем уехать из Ильинского в Лопыши, надо было как-то увидеть Веру. Пусть она не волнуется, все у них будет хорошо.

Ирина Федоровна, заглянув в комнату, улыбнулась ему и сказала, что Вера ушла раньше, чтобы проверить, как дежурят по школе ребята, а она, Ирина Федоровна, уже обо всем позаботилась: готов чай и поджарена картошка.

Серебров завтракать отказался. Забредая в лужи, он пошел к школе, мысленно твердя, что обязательно дол-

жен увидеть Веру. Надо, надо успокоить ее, сказать, что она очень хорошая, что он ее любит и пусть она ничего не боится.

Окна школы уже светились, но уроки еще не начались. Около высокого старинного крыльца Серебров разнял двух малышей, которые сводили счеты, пустив в ход мешки с тапками. Затем он поднялся по стертым ступеням крыльца, зашел в коридор. Вера шла навстречу ему со стопкой тетрадей. Лицо у нее было бледное, подглазицы припухли. Она смотрела в выщербленный каблучками многих поколений учеников дощатый пол и молчала. И Серебров вдруг смешался. Ему показался неуместным его приход. И он всего лишь сказал ей, что едет теперь в Лопыши.

— Всего доброго,— эхом донесся ее голос.

Вдруг его оглушил звонок. Вера сказала еще что-то неслышное и пошла по коридору дальше.

«Да разве я это должен был говорить? Ах, какой я пошляк и трус»,— неуклюже выбираясь из встречной толпы ребятишек, валивших в школу, ругал он себя.

С чувством вины за свою утреннюю отчужденность и холодность он вернулся из Лопышей и, как прошлой ночью, еле слышно постучал к ней. Она еще не спала. Сидела над тетрадями у стола.

— Зачем ты приехал? — с испугом спросила она, и в ее лице отразились радость и мука.

— Я не мог— растерянно и виновато проговорил он.— Я не могу без тебя.

Она стояла около стола, обрывала край аккуратно прищипленной канцелярскими кнопками зеленой бумаги. Его слова отражались на ее лице смущением и радостью. Счастливый и виноватый взгляд бродил по стене.

НОЧНОЙ СПОР

Николай Филиппович Огородов производил впечатление компанейского, добросердечного человека. Но Серебров после злополучной борьбы, когда он невзначай уронил Огородова на землю в дворике соколовского дома, подозревал в Николае Филипповиче какую-то неискренность. Слышалась она и в смехе, и в преувеличенной радости, которую изображал Огородов при встречах. Сереброву казалось, что таится какая-то настороженная, запятанная в глубине злость в слегка прищуренных хо-

лодных глазах председателя райисполкома, в рыбьем складе его губ.

Когда Шитов находился на месте, Николай Филиппович был ко всем добр, участлив. Когда Шитов уходил в отпуск или уезжал надолго, у Николая Филипповича в лице появлялись твердость и озабоченность. Теперь решать все вопросы шли к нему — неуверенный в себе второй секретарь вроде даже был рад тому, что его не тревожат сложными просьбами. Огородов в такие дни чувствовал себя в Крутенском районе единовластным вершителем судеб и дел. Он устраивал разномыслие тем, кого Шитов щадил. По-хозяйски широко и хлебосольно принимал Огородов гостей. Веселые братания происходили у Маркелова в так называемом «райском уголке». Нужных людей, от которых зависела его, огородовская, неколебимость, одаривал Николай Филиппович рогами матерых лосей, а самым дорогим гостям преподносил медвежьи шкуры. Только один раз такой подарок «не сыграл». Это произошло в то время, когда в районе работал еще Плясунов. Нагрянул тогда новый первый секретарь обкома партии Кирилл Евсеевич Клестов в Крутенку с приятной миссией — вручать награды передовикам. После банкета, провожая высокого, седеющего Клестова до границы района, Огородов расписывал охоту на медведя, говорил, что вот не знает, куда деть шкуру: у него уже скопилось три. Приехавший из южных мест, где медведей видят только в зоопарке, Кирилл Евсеевич не устоял, согласился принять дар. Подарив медвежью шкуру Клестову, Николай Филиппович долго носил в душе надежду, что рука дающего не оскудеет. А потом пришел к выводу, что, пожалуй, эта шкура повредила ему.

Когда из Крутенки забрали в облисполком первого секретаря райкома партии Плясунова, Николай Филиппович решил, что по всем статьям подходит на это место он, Огородов. Но перед партконференцией приехал Клестов в Крутенку с кандидатом на пост первого — выпускником высшей партийной школы Толкуновым, чужим молчаливым человеком лет сорока пяти. До школы тот работал секретарем парткома леспромхоза, к сельскому хозяйству отношения не имел. Это насторожило крутенцев, когда на бюро предварительно обсуждалась кандидатура. Они уперлись. Николай Филиппович сидел, млея от сладостного предчувствия. Клестов доказывал, что Толкунов — умница, отличный руководитель, а крутенцы принимать его не хотели. И тогда потянул руку,

прося слово, кудлатый управляющий Сельхозтехникой Ольгин. Дернуло его сказать, что был у них свой, крутенский, в ВПШ — Шитов. Куда он-то девался? Вот этого они знают.

Тут же Клестов позвонил в область и распорядился, чтобы Шитова срочно доставили из Юрьевского района, где прочили его в предрики. Часа через два, переполошив Крутенку, навис над площадью Четырех Птиц вертолет и высадил растерянного Виталия Михайловича.

— Получайте своего, раз хотели,— великодушно сказал Клестов, довольный тем, что так быстро разрешился кадровый вопрос.

Николай Филиппович считал, что только отчаянное слепое везение помогло Шитову стать во главе Крутенского района. Знал бы Клестов, какой нерасторопный, неумеха этот Шитов. Кто-кто, а Огородов это прекрасно представлял.

Ощутил Николай Филиппович, что фортуна вновь благосклонно взглянула на него, когда Шитов попал в немилость у Кирилла Евсеевича Клестова.

Работая на юге страны председателем облисполкома, готовил Кирилл Евсеевич кандидатскую диссертацию о том, как специализировать районы той южной области. Чтоб диссертация приобрела еще больший вес, научный руководитель посоветовал включить в нее материал о специализации Бугрянской области. Клестов это сделал. Тот же научный руководитель подсказал, что неплохо бы сопроводить диссертацию отзывами людей, работающих на местах. Поскольку в ней много говорилось о специализации Крутенского района, попала диссертация на отзыв к Шитову. Тот прочел ее и схватился за голову: их лесному, пойменному, богатому травами району было определено одно лишь зерновое направление. Шитов считал (так оно и было на самом деле), что выгоднее и перспективнее всего для здешних мест молочное и мясное животноводство, а тут зерно, свиноводство. Взволнованный, расстроенный, Шитов отправился на прием к Клестову. Кирилл Евсеевич, до этого выслушивавший немало лестных слов о своей диссертации, встретил яркоглазого, большерукого северянина со снисходительной улыбкой. Поглядывал веселыми, умными глазами: ну, что ж, мол, хвали, перенесу. А Шитов с запалом начал доказывать, что диссертация их район ориентирует неправильно, что он против зернового направления.

С лица Кирилла Евсеевича слинял румянец, улыбка

сменилась каменной непроницаемостью, но он справился с собой, по-отечески положил руку на плечо Шитова.

— Брось, Виталий Михайлович, не горячись. Переосмотрим специализацию твою. А диссертация уже готова. Это ведь примерные рекомендации...

— Совсем не то, я не согласен. Должна быть принципиальность,— вспыхнул Шитов, поднимаясь.

— Ну, мне твоя принципиальность, как зайцу стоп-сигнал,— разгорячился Клестов, тоже вставая.— Чего ты в бутылку лезешь? Травы, травы, да косите их на здоровье.

У Шитова лицо побледнело.

— В отзыве я напишу, что это неверно в корне,— решительно сказал он и вышел из кабинета.

Клестов рассердился на крутенского первого секретаря — ну и упрямец, никакой гибкости. Пополз слушок, что Виталию Михайловичу долго не усидеть. Если бы не усидел, тогда бы вновь была открыта дорога Огородову. Кто еще авторитетнее его теперь в Крутенке? Однако и на этот раз случилось иначе.

Виталий Михайлович Шитов взял да и выступил на отчетной областной партконференции и сказал, какое легкое отношение сложилось у первого секретаря обкома к специализации сельского хозяйства. Клестов краснел, бурел, но с критикой согласился, признал, что допустил ошибку.

Шитов остался первым, слухи прекратились, и Николай Филиппович понял, что ушла от него и эта возможность стать главой района. Не видя выхода для своей жгучей жажды решительно повелевать, Николай Филиппович с нетерпеливой щедростью растрачивал свою энергию в облавах на волков, загонной охоте на сохатых. Отправляясь в командировку по району, всегда прихватывал с собой ружье. Он был неистов, запретов не признавал. Они были писаны не для него. В марте серым утром на снежной обочине дороги в сиянии луны выплывали зайцы. Николай Филиппович поворачивал фару, накидывал на этого белого пушистого зверька ослепительный световой мешок. Зайчишка оцепенело замирал. Через секунду, задетый смертельной дробью, он судорожно бился на снегу, ускользящим слухом улавливая хруст тяжких шагов по насту. Куропаток Огородов бил прямо на тракте, приподняв ветровое стекло машины. Если замечал в перелеске дичь, машину гнал прямо по озими.

— Ну, Коля угомону не знает,— говорил с осуждением Евграф Иванович Соколов.

Огородов обещал взять с собой Сереброва то на волчью облаву с флажками, то на охоту с «вабой», но как-то случилось все так, что его не оказывалось в числе приглашенных. Серебров и медвежью шкуру раздобыл без помощи Огородова и Соколова: ему продал ее муж Золотой Рыбки Федя Труба. Теперь это мохнатое чудо украшало стену его холостяцкой комнаты.

Вероятнее всего, по должности не подходил он для круга избранных, когда был просто инженером, а вот стал вторым секретарем райкома комсомола — и где-то в середине мая пригласил его Огородов на весеннюю охоту. Укромное заветное местечко, которое так оберегали Огородов и Соколов, оказалось на озере Склянном.

Выйдя из машины, они долго брели по зыбкой торфяной земле меж налитых зеленым соком осин.

— Ох, благодать-то какая, воздух-то,— шумно умилялся Огородов.— Дышите, ребята, дышите.

Он поднимал над собой старую шляпу. Было удивительно, как легко несет огромный свой мешок Огородов, как, опираясь на палку, попрыгивает с валежины на валежину Евграф Иванович. Когда Серебров уже отчаялся прийти до темноты на место, вдруг открылось широченное зеркало озера. Казалось, что природа тут без циркуля не обошлась. Оно было правильной круглой формы. В бледном свете вечера озеро сияло, как огромный серебряный поднос. И такая первозданная тишь стояла тут, что боязно было двигаться и тревожить ее чавкающим шумом шагов.

Залобовавшись озером, Серебров даже не заметил притаившуюся среди сосняка, на песчаном взлобке, избушку с маленьким оконцем. Сложенная из толстых замшелых бревен, она показалась ему сказочным обиталищем лесных духов. Вот так домик! В нем все какое-то таежное, первобытное: стол из плах, широкие нары.

На озере его внимание привлек невиданный плотик-катамаранчик из двух долбленных осиновых бревен, которые были соединены деревянными перемышками и сиденьем. Назывался плотик необычно: коротни, или корытни — от корыта.

— Тш-ш,— проговорил Николай Филиппович и зарядил ружье. Он уловил своим нечеловечьим слухом какой-то настораживающий звук. Прямо над стенкой леса на бледном фоне неба показались стремительно мча-

щиеся полоски. Утки. Как сумел Огородов угадать движение чернети на темном фоне леса, было уму непостижимо. Раскатистые выстрелы перехватило переимчивое эхо и долго перекатывало звук между берегами.

Николай Филиппович ловко вынул пустые гильзы и уверенно сказал, что двух уток он взял, а больше вряд ли будет.

— Молчи, уволю без выходного пособия. Чтоб двух в эдакой темноте,— не согласился Евграф Иванович.

— Точно обе,— так же твердо повторил Огородов. Он был уверен в своей стрельбе.— Вон Гарольд Станиславович сплавает.

Огородов и Соколов принялись готовить поздний ужин, а Серебров, уместив ноги в долбленных коротнях, петляя, поплыл по озеру искать уток. На этом удобном, легком плотике можно было подъехать к любому месту. Нравилось Сереброву скользить по водяной глади. И весло в его руках было необычное, с дыркой посредине. Это — чтобы не шумело оно в воде. Удивительно просто и разумно все тут было устроено.

Серебров плыл по водяному черному зеркалу и ото-всюду, даже с дальнего края озера, отчетливо слышал негромкий разговор Евграфа Ивановича и Огородова, возившихся около костра, роняющего на воду желтую бликующую полосу. Серебров наслаждался ночным катанием, он был благодарен этим славным людям за то, что они взяли его с собой в святая святых.

— Гарик, питаться,— позвал Соколов.

— Я только одну утку нашел,— откликнулся он и еще долго гонял по озеру. Гонял не столько в поисках второй утки, сколько радуясь тишине и уютной этой темноте. Видно, вторая утка, если она была, оказалась подранком и забилась в заросли рогоза.

— Завтра на зорьке подберем. Возвращайся,— сказал уверенно Огородов, и гулкий его голос легко достиг противоположного берега. Серебров подъехал к костру, на котором уже бурлил чайник. Приятно было сидеть на бревне у костра, пить заправленный смородиной чай, слушать в тишине забавный спор Соколова и Огородова. Огородов хвалил свою лайку Найду за то, что она «вязкая, без опаси идет за лосем», «медведя хватает за пятки», «белку облает, тетерева поднимет».

— Хошь лайчонка от нее дам?— великодушничал Огородов, разливая по кружкам водку.— Никогда не подведет. Человек подвести может, а собака никогда.

— Без опаси идет,— не соглашаясь, передразнивал Евграф Иванович Огородова.— Да лайке положено медведя за штаны драть, а вот насчет боровой дичи — извини-подвинься. Я знаю, как она у тебя тетерева поднимает. Не поднимает, а пугает. Вот у меня Валет и косача, и утку действительно поднимает.

— Да ерунда твой Валет,— гудел Огородов, подмигивая Сереброву.

Соколов, когда касался разговор его собаки, шуток не понимал. Сереброву было жалко Соколова. Он, как ребенок, казался теперь наивным и беззащитным.

— А правда ли, что это озеро непростое? — спросил невпопад Серебров.

Спор о собаках смешался, потому что Соколов и Огородов начали рассказывать о том, что озеро и вправду не простое, таинственное — никто не знает, какая у него глубина.

Николай Филиппович стал перечислять, с кем ему повезло охотиться, кого из знаменитостей привозил он сюда. Разговор этот он продолжил в избушке. Серебров остался у костерка. Он вдыхал лесной воздух, слушал тишину и, глядя в костер, думал о том, что пора ему позвать Веру и прийти вместе с ней к Огородову — объявить, что они решили жениться. Хватит, надоело надеяться на неосуществимое. Надька потеряна навсегда.

Когда Серебров, затоптав гаснувший костер, пришел в избушку, приятели все еще балаболили за столом. Он видел их силуэты на фоне окна.

После лесной свежести Сереброва охватило в избушке душное человечье тепло. От приторной спертости потянуло на зевоту. Он лег на широкие нары к стене и мгновенно уснул, предвкушая утреннюю зоревую охоту и приятные перемены в жизни.

Его разбудили те же голоса. В избушке по-прежнему было темно. На фоне окошка прорисовывались те же силуэты Огородова и Евграфа Ивановича, только разговор между ними был уже не грубовато-подтрунивающий или ласково-предупредительный, как обычно, а звенел на взволнованных, натянутых нотах.

— Ну, скажи, зачем, зачем ты, Коля, все себе гробешь? — допытывался голос Евграфа Ивановича.— Все ведь дефицитные товары — шубы, магнитофоны, иностранные сапожки — прямо с базы из Бугрянска раскатал или взял себе, а с чем район оставил? Мне стыдно людям

в глаза смотреть. Зря я тебя с директором базы свел. Каюсь, зря.

— Разревелся,— насмешливо ворчал Огородов.— Да район твой в телогрейках проходит. Шубы кому я устраиваю? Не просто так.

Огородов возмущенно засопел, судя по жесту, утер рукой губы.

— Но нечестно это,— шумно прошептал Евграф Иванович.— Нехорошо, понимаешь, нехорошо!

— Нечестно,— передразнил его Огородов,— а что ты думаешь — Огородову за красивые глазки дают сверх фондов стройматериалы? Сумеешь отблагодарить — и тебе достанут. Ну, ладно, хватит, замнем для ясности. Не одни мы тут,— шепотом сказал Огородов и позвал мгновенно подобревшим голосом: — Гарольд Станиславович, не спишь?

Серебров не ответил. Ему хотелось узнать, что собой представляет Огородов.

— Глупый ты, Граша, человек,— с ласковым назиданием говорил тот.— Вот ты орден получил. Считается, что за хорошую работу, за строительство, а его бы мне полагалось иметь, этот орден: ведь я тебе кредиты пробил, фонды выхлопотал, да и орденом-то наградить я тебя предложил, а не твой преподобный Шитов. Вот оно что, милый мой.

Раздался звон бутылки, задевшей о кружку.

— Ну, знаешь,— возмущенно выдохнул Соколов.

— Ты бы, парень, ноги мне мыл да воду пил, а ты почто-то лезешь на рожон. Эх-хе-хе-хе,— словно жалея Евграфа Ивановича, сказал Огородов.

— Д-да,— озадаченно протянул Соколов.— Я понял, тебе хочется, чтобы навар был. Есть у тебя эта черта. Ты, наверное, не замечаешь, а люди говорят. Ловчишь ты.

У Сереброва давно пропал сон. Ух, какой спор заварился! Выходит, Огородов не такой, совсем не такой, каким хочет казаться. Сереброву неудобно стало оттого, что он лежит и подслушивает этот сумбурный спор. Он повернулся, делая вид, что во сне сменил усталый бок, но скрип нар не насторожил спорщиков. Они потеряли всякую осторожность.

— Я уж про твою Золотую Рыбку, Азу Никаноровну, не говорю,— продолжал Соколов.— Твое дело. Но в мелком, понимаешь, даже в мелком ты себя марашь. Помнишь, ты обхаживал в Анапе Евгению Демидовну?

Сказал, что жена у тебя померла. Ну, как ты мог, ну?

Соколов говорил на страдальческой надрывной ноте. Видимо, ему страшно хотелось, чтобы Огородов понял его, согласился с ним, и они бы, выпив, мирно улеглись с другом Колей спать. Спор закончил Огородов.

— Ну ладно, наговорились вроде,— с отчуждением подвел он итог и припечатал тяжелой ладонью стол,— спать пора.

В голосе Огородова чувствовалась обида. Он, наверное, не мог успокоиться, встал, вышел из избушки. Вернувшись, уместился на лавке. Видно, не захотел ложиться рядом с Соколовым на нарах. Лавка скрипела под его тяжелым телом, спать на ней было неудобно, но он на нары не шел.

— Коля, Коль, иди сюда. Ты чего, сердисься, что ли? — нарушил тишину своим покаянным шепотом Соколов. Огородов то ли умудрился уснуть, то ли и вправду рассердился не на шутку. Молчал.

Когда Серебров проснулся, в избушке было светло. Он испуганно вскочил, сообразив, что проспал охоту. Огородов и Соколов уже встали и ушли, пожалев его будить. Он сунулся к окошку. На улице белел снег. Когда он успел выпасть, этот неожиданный майский снег?

Соколов и Огородов где-то на току били косачей, а он, Серебров, торчал в избушке. Было стыдно и горько, что ушли они не сказавшись.

Правда, Серебров сомневался, что в такой снежище прилетят даже самые драчливые косачи, но все равно, какое унижение — проспять. Обиженный, сердитый, Серебров, хрястнув дверью, выскочил из избушки. Так и есть, ушли: на свежем снегу четко отпечатались рубчатые следы резиновых сапог. «Эх, предатели несчастные!»

Озеро сменило свою оправу. Теперь она была ослепительно белой, и от этого вода еще гуще почернела. И на коротнях был снег, и на деревьях. Сереброву хотелось от обиды зло крикнуть, выстрелить из ружья, чтоб передать свое возмущение, но он вдруг услышал скрип снега, заполошное дыхание и крик Соколова.

— Ко-ля! — звал Евграф Иванович. — Ко-ля!

От этого тревожного крика с мокрых вербных почек «овечек», с похожих на тетеревиные лапки березовых сережек, шурша, срывался заледенелый снег. Огородов не откликнулся. Только где-то за озером прокуковала кукушка.

— Коля! — крикнул опять Соколов и выстрелил. Когда множимый эхом звук выстрела затих, рядом с Серебровым появился взъерошенный, растерянный Евграф Иванович в надетой задом наперед кепке.

— Коля куда-то делся,— проговорил он убито.

Они прошли вперед по слепающим глаза следам, четко отпечатанным решительным огородовским шагом. Николая Филипповича не было.

— Значит, обиделся,— расстроено взмахнув рукой, сказал Евграф Иванович.— Пospорили мы с ним ночью. Эх, дурак я, дурак.

И неожиданный снег, и то, что Огородов тайно скрылся, испортили настроение и охоту. Они бродили около озера, побывали на известном Соколову косачином точке. Евграф Иванович виновато оглядывался, высматривал что-то. Наверное, не терял надежду на возвращение Огородова, тем более что небо прояснилось, день потеплел и пришла охота: Серебров сумел взять двух селезней. Место на озере было отменное. Утки сваливались сюда из-за рваной кромки леса, как на дно колодца. Одно удовольствие стрелять влет.

Серебров сплавал на коротнях за убитыми утками, умылся, приготовил суп из тушенки, позвал растерянно бродившего по гривке леса Евграфа Ивановича. Тот, сидя за сколоченным из сосновых тесин столом, бил себя расстроено по коленям.

— Обиделся. А кто ему больше-то скажет, если не я? Где совесть? Орденом меня попрекнул, так я ведь уж двадцать лет в потребкооперации,— пытаюсь рассеять гнетущее настроение, повторял Соколов, но успокоение не приходило. Евграф Иванович вскакивал, подпинывал пустые бутылки.

— Вчера вы постарались,— сказал Серебров.

— Да-а-а, обрадовались с дуру,— согласился со вздохом Евграф Иванович, вкладывая еще какой-то упречный смысл в протяжное покаянное «да-а-а».

Была у них еще слабая надежда, что азартный Огородов ушел к покинутой деревушке, где напевали кроншнепы, но не слышно было оттуда выстрелов. Прождав Николая Филипповича до паужинка, они молчаливо собрались в обратный путь. На дороге ждала их машина. Шофер сказал, что видел Николая Филипповича в Крутенке. Значит, тот и вправду обиделся.

КАКАЯ ПТИЦА САМАЯ КОВАРНАЯ?

Серебров думал, что постепенно наладится между Огородовым и Соколовым прежняя дружба, однако проходило время, а вместе их больше никто не видел. Евграф Иванович под осень даже занемог. У него был расстерянный, больной взгляд. Его угнетал разрыв с Огородовым.

Странно, но и с Серебровым Николай Филиппович стал здороваться сухо, еле заметным кивком головы, как будто тот тоже ругал его в лесной избушке. Однако в Доме Советов Огородов был по-прежнему шумлив и весел. На взгляд Сереброва, Огородов позволял себе непозволительные вещи. Он рассказывал теперь сомнительные историйки о приятеле Граше.

— Знаете, парни, почему у Соколова рука мутовкой? — спрашивал он, приглушая до шепота голос. — Куда он два-то пальца девал?

— На охоте оторвало, — трубно сморкаясь в платок, гудел Маркелов.

— Верь больше, — придвигаясь к нему, зло усмехался Огородов. — Это он люком себе в танке отбил. И до фронта не доехал. Сунул и готово — комиссовали.

— Ну нет, не должно быть, — хмурясь, говорил Маркелов, — у него боевой орден. Ты брось, Николай Филиппович. Ты зря.

— Точно знаю, — толкнув Маркелова в плечо, понизил голос Огородов.

Конечно, это донеслось до Соколова. Ведь в Крутенке не было тайн, а тут такая смачная сплетня!

Евграф Иванович, увидев Огородова, сворачивал поспешно в переулок или переходил на другую сторону улицы. Теперь он был понурым и даже убитым, словно смирился с позором. Видно, оглушила его такая неожиданная клевета. Зато Николай Филиппович был по-прежнему решительным, он не ходил, а пер напролом, гремя каблуками по известняковым плитам райцентра. Не было человека, который бы решился не уступить ему дорогу.

Евграф Иванович морщился и отходил, когда говорили об Огородове, а тот, наоборот, нарочно напоминал о прошлой дружбе.

— Мой приятель-то Граша... — крутя головой, начинал Огородов, и всем было ясно, что Соколов никакой

не приятель, а, наоборот, самый злой недруг Николая Филлиповича. И гоготали в коридорах мужики, а раскатистее других, раскрыв свой обширный, зубастый рот, смеялся Огородов, и не верилось, что была у него к Соколову любовь, что были они друзья — не разлей водой. Сереброву Николай Филиппович казался злой несокрушимой силой. Вдруг представилась невероятной, дикой и глупой мысль прийти к Огородовым вместе с Верой и просить разрешения на женитьбу. И странное дело, встретив Веру в новом импортном, очень модном, идущем ей костюме, Серебров вдруг подумал, что это тоже вещь из тех крутенских фондов, которыми единолично распоряжается Николай Филиппович. Надо было бы похвалить этот костюм, а Серебров, не в силах справиться с собой, увел свой взгляд от ласкового восторженного взгляда Веры и начал жаловаться, что у него по горло разных дел и вот он никак не вырвется в Ильинское. Она кивала головой, соглашаясь, но он видел, как, тускнея, уходит из глаз ее радость, и замечал, как суше становится голос. Ему хотелось смягчить эту сухость, но на язык лезла всякая ерунда.

— А ты не боишься, что тебя съедят козы? — брякнул он.

— Почему козы? — недоуменно вскинула она взгляд.

— Козы любят зелень, — имея в виду ее бирюзовый прекрасный костюм, сказал он.

— Ой, чего придумал, — вздохнула она. — Ну ладно, мне ведь еще надо в роно, — и он прочел в ее взгляде вопрос: почему давно не был? Я ведь жду тебя. Ему бы приблизиться к ней, сказать ласково «Верочка», а он не мог сладить с собой, нахмурил лоб: я, мол, тоже тороплюсь.

Потом он раскаивался в своей дурацкой сдержанности и ночью мчался на мотоцикле в Ильинское, чтобы пробраться в уютную Верину комнатку. Вслед за вспышками нежности и жадной торопливой любви опять наступали недели холодного отчуждения.

Как-то в своем кабинете Серебров ставил печати и подписи на комсомольских билетах и в учетных карточках, а Вера, кладя перед ним документы, проверяла, как они заполнены. Серебров делал вид, что поглощен своим занятием, а когда поднял взгляд, то увидел, что в Вериных на этот раз покорных, молящих глазах стоят готовые пролиться слезы.

— Что с тобой, Верочка? — сказал он. Она быстро

отвернулась и отошла к окну. Это Сереброва не тронуло, а разозлило.

— Ну, нельзя же так,— сказал он, с грохотом закрывая сейф.

— Ой, какой ты,— задохнувшись, простионала Вера. Серебров боялся, что вот-вот кто-нибудь заглянет в кабинет, увидит заплаканную Веру и черт знает что подумает о нем. Да и вообще — нашла место для слез.

— Прекрати это. Ты что? — взъелся он.

— Ты ничего, ничего не понимаешь,— выкрикнула она с такой болью, с таким страданием, что ему стало не по себе, и выбежала из кабинета.

— Ну и ладно, что не понимаю,— запоздало, в закрытую дверь буркнул он.

Теперь стоило ему подойти к Вере, как взгляд ее наполнился холодом. Вера начинала дерзить или отходила от него, всем видом показывая, что не желает его слушать. «Ну и пусть»,— с обидой думал Серебров, хотя в глубине души чувствовал какую-то противную виноватость: зачем он так? Ведь она тут вовсе ни при чем. Но он старался убедить себя в том, что не зря возникла у него такая холодность, что все Огородовы одинаковы.

Николай Филиппович, обидевшись и рассердившись на Евграфа Ивановича, наверное, рассчитывал проучить его. Он был уверен, что сломит гордыню, что отходчивый Соколов придет с повинной, взмолится. Но Евграф Иванович после всего, что наговорил про него Огородов, не находил сил подойти под милостивую, но тяжелую и даже жестокую руку бывшего друга. Огородова, видимо, непокорность «приятеля Граши» злила, и он говорил, что упрямство этого Соколова в конце концов начинает мешать делу. Видите ли, не желает зайти к предрику.

Осенью, когда Шитов уехал в отпуск, Огородов неожиданно перенес ближе на полтора месяца конференцию членов-пайщиков райпотребсоюза, объяснив это тем, что в райисполком поступило много жалоб на плохую работу магазинов и столовых.

Серебров не был на этой конференции. Для Евграфа Ивановича она стала провалом, причем провалом внезапным, ошеломляющим и несправедливым. Первым выступил управляющий банком Лимонов, послушливый, робеющий перед Огородовым человек, который вот-вот должен был выйти на пенсию и боялся навлечь на себя немилость. По просьбе Огородова он накопил немало нарушений финансовой дисциплины, злоупотреблений

в магазинах. Не умолчал он и о том, что из Крутенки уходят на сторону дефицитные товары, в частности, меха и автомашины. Председателю комитета народного контроля Суходоеву, которому сам бог велел говорить о недостатках, Огородов, председательствовавший на конференции, дал слово после Лимонова. Затем, переставив в списке порядок выступающих, объявил, что слово имеет Семен Мошкин, отличавшийся пристрастием к жалобам, занудливый человек, не довольный абсолютно всем. У него в блокноте по числам было записано, когда запоздали привезти в магазин рыбу или не хватило хлеба.

Евграф Иванович краснел и бледнел. Такого погрома он не ожидал. Не то чтобы он не переносил упреков и критических этих замечаний (руководить райпотребсоюзом да не терпеть замечаний!), но тут ведь велась преднамеренная, организованная атака. Все плохо, ни одного светлого пятнышка. А ведь они кафе-столовую пустили, три магазина открыли, строили базу. Выступивший в завершение Огородов обвинил Соколова в том, что тот уверовал в безнаказанность. А ведь то, что автомашины идут на сторону, — симптом настораживающий: все ли тут чисто?

Евграф Иванович, растерянный, малиновый, не стерпел.

— Факты, где факты? Разве можно так огульно, — вырвалось у него обиженно и беспомощно.

— Будут и факты, — обрезал Огородов, приподняв ладонь. Этот, произнесенный с угрозой ответ, что факты будут, вызвал в зале шумок. Неужели и правда Соколов в чем-то замешан? Настороженность и холодок усилились, когда отказался выступать представитель облпотребсоюза. Он не был готов к защите Соколова, а добивать его не хотел. Ведь облпотребсоюзовцы до сих пор считали, что Соколов работает вполне прилично, а тут обнаружилось столько огрехов и промахов.

Огородов рассчитал все точно, и конференция членов-пайщиков прошла именно так, как он задумал. На организационном собрании правления райпотребсоюза Николай Филиппович сказал, что надо с выборами председателя повременить: сами слышали, какая критика в адрес Соколова. Это был еще один намек приятелю Граше, что хорохориться не стоит, надо идти с повинной.

Огородов был уверен, что теперь Евграф Иванович признает себя побежденным и взмолится, прося пощады, но Евграф Иванович, обиженный и опустошенный,

ушел домой, так и не поняв или не желая понимать всей этой сложной, расчетливой игры Николая Филипповича.

«Разве можно так? Разве так можно?» — недоумевал он, высказывая Сереброву свои обиды.

По Крутенке ползли раздутые слухи о том, что Соколов не то проворовался, не то принял взятку. С ним здоровались настороженно, с преувеличенным вниманием глядели вслед. А может, ему это казалось? Когда Серебров зашел к Соколовым, Евграф Иванович поразил его: он был худ, глаза воспалены. Он ходил по большой комнате и курил папиросу за папиросой. Окурки были в горшках от цветов, на подоконнике, даже на корпусе гармонии.

— Гарик, своди ты его на реку, — взмолилась заплаканная Нина Григорьевна. — А то ведь весь он извелся. — И с притворной легкостью добавила: — Да наплевать, если не выберут. Что, другой работы мало?

— Молчи! Слушать не хочу. Ничего не понимаешь, — взъелся Евграф Иванович и чуть ли не простонал: — Ох, Коля, подлец, ну, как все подал, — и, зажмурив глаза, крутнул головой. — Ох, подлец, а ведь вместе заочно в институте учились.

Соколов послушно надел сапоги, натянул пальто, но забыл намотать на шею шарф. Хорошо, что это заметила Нина Григорьевна. Выйдя из дома, Серебров, а следом за ним и Соколов, спустились к Радунице, покрытой тонким, но прочным льдом. Только у моста, словно кто-то прошелся стеклорезом, легли тонкие прямые трещины. Серебров с Соколовым шли по жесткой заиндевевшей траве вдоль речки. Серебров не знал, как помочь Соколову. Был бы Шитов, он бы разобрался.

— Ты знаешь, Гарик, какая птица самая коварная? — спросил Соколов, останавливаясь на пустынном берегу.

— Ястреб, — сказал наугад Серебров.

— Нет, — беря его за пуговицу пальто, произнес раздумчиво Соколов. — Самая коварная птица — ворона. Это на вид она добродушная, а заметит утку-подранка — не оставит в покое. Та на кочку выйдет и стоит, притаится, а ворона созовет стаю, и начинают они бедную утку добивать.

Сереброву была ясна аналогия. Он говорил Евграфу Ивановичу, что подранком, которого бьют вороны, ни в коем случае оставаться нельзя, надо завтра же ехать в облпотребсоюз, зайти в обком партии и попросить, чтоб разобрались.

Соколов вроде соглашался, кивал головой, но, поймав пуговицу на Гарькином пальто, снова говорил:

— Ты знаешь, я не сплю и все думаю. Хорошо, что ум достается добрым людям. Если ум достается злодею, он такое натворит, что всему свету станет нехорошо. Вот Огородов, он ведь не дурак, а кому польза от его ума-то? Вред. Польза только себе.

Серебров пытался развеять мрачные мысли Евграфа Ивановича.

— Все уверены, что вы честный человек,— повторял он.

— Кабы все,— с сомнением произносил Евграф Иванович и останавливался, чтобы повторить вновь уже слышанное — о вороне и о предательстве.

Видно, Соколова мучили рассказы Огородова. Когда они вернулись домой, он вытащил пачку бумаг и фотографий, лежавших в папке, схваченной крест-накрест бельевой резинкой.

— Вот это я,— останавливая палец на лобастом доверчивом подростке, сказал он. Фотография была довоенная. На ней Серебров увидел ребят и девчат со значками на пиджаках и платьях.

— А вот это грамота от главнокомандующего. До Праги я дошел. Водитель танка, а пальцы уж на охоте у меня обкарнало. Пороху пересыпал,— ронял он, боясь, что Серебров верит напраслине, которую распускает Огородов о его покалеченной руке.

Серебров убедил Соколова съездить в облпотребсоюз, но, видимо, с новой силой поднялась обида, и с новой остротой почувствовал Соколов безысходность, когда в облпотребсоюзе вместо того, чтобы провести в Крутенке полную ревизию, вдруг предложили ему пост председателя райпотребсоюза в другом районе.

— Раз у тебя контры с предриком, лучше уехать,— умудренно советовал тот же зам по кадрам, что был на конференции.

— Вот и хорошо,— бодрилась Нина Григорьевна.— Хоть новых людей ловидаем. Подумаешь, свет клином на Крутенке сошелся.

— Да что ты меня, как маленького? — сморщился Соколов и, налив стакан водки, залпом выпил, чтоб успокоить сумбур в душе. Евграф Иванович не верил, что его, отдавшего работе в потребкооперации полжизни, просто так отстранят от дела. Нет, он должен выстоять.

Если он не вернется на свое старое место, значит, все обвинения справедливы, значит, он и вправду жулик.

Случилось так, что Виталий Михайлович Шитов сразу после отпуска попал на курсы в Горький. Правивший в районе Огородов позвонил в облпотребсоюз и сказал, что они намерены сменить председателя. Он сговорил на этот пост очень подходящего работника райисполкома, бывшего секретаря райкома комсомола, заочника финансово-экономического института Евгения Сидоровича Кайсина.

По анкетным данным, Кайсин был человеком идеальным. А вообще Евгения Сидоровича, исполнительного, предупредительного, с азартом бегающего на посылках, иначе, как Женечкой, в Доме Советов не называли. Этот веснушчатый, бледнолицый, кажется, не старящийся человек отвечал за спорт, поэтому именовали его «зампредрика по прыжкам». Он знал, что держится в начальстве благодаря своей готовности бежать куда угодно и за чем угодно. Николай Филиппович доверял исполнительному Женечке отвезти в Бугрянск подарок к юбилею очень нужного человека. Не стеснялся Николай Филиппович отправить Женечку в разгар рабочего дня к себе домой, чтоб тот истопил баню. А то приехал любитель попариться — управляющий областным банком, а Серафима Петровна в больнице. И Женечка мчался в подворье Огородова, чтоб подбросить в каменку дров, раздобыть квасу, пополнить иные запасы.

Сереброву казалось, что, если бы Женечка Кайсин выдержал нажим Огородова, ничего бы не произошло, поспело бы справедливое решение и Соколов вернулся бы на свое место. Но Женечка согласился.

— Не боги горшки обжигают,— гудел Николай Филиппович.

У Женечки сияли лучисто глаза. Он понял: раз такой умный и знающий человек, как Огородов, уверен, что дела пойдут, значит, пойдут. Совесть Женечку Кайсина не била, потому что на собрании уполномоченных, где выбирали Женечку, Огородов сказал, что Соколов не оправдал доверия и его переводят. Куда — это Женечки не касается.

В то утро, когда Женечка Кайсин, семена по скользкому, тоненькому, как белое суконце, снежку, спешил в райпотребсоюз, в сараюшке около дома Соколовых раздался выстрел. Одни его приняли за выхлоп мотора, другие возмутились тем, что безголовые родители по-

звонят ребятишкам баловаться оружием. Но когда прорезал утренний, еще не взбаламученный воздух нечеловеческий вопль и зазвенели томящие душу причитания, все поняли: случилось непоправимое.

Серебров прибежал к Соколовым. Во дворике уже было много зевак. Приглушенно разговаривали райисполкомовцы, ходил озабоченный начальник райотдела милиции, седой хмуроватый майор Воробьев.

Тело Евграфа Ивановича, необыкновенно бледного, с алюминиево блестящими волосами вынесли из сараюшки и положили в санитарную машину. На дороге лежала знакомая Сереброву двустволка. По улице беспризорно носился долгоухий пегий сеттер-лаверак Валет. Все было кончено.

Серебров поймал Валета за ошейник и запер его в конуре. Что мог еще он сделать?

Нина Григорьевна была без сознания. Около нее хлопотали родственники, докторша наливала в стакан капли. Серебров, оглушенный, подавленный, возвращался к себе в райком комсомола, отстав от взволнованных, строящих разные предположения мужчин из Дома Советов. Кто-то доказывал, что произошел несчастный случай, кто-то таинственно, с сомнением гмыкал.

Серебров знал, что Евграф Иванович застрелился, и он знал еще, что погубил Евграфа Ивановича человек, считавший его другом. И человек этот Огородов. А попустительствовал этому, дал возможность извести Соколова он, Серебров, никчемный, глупый человек, который не предпринял ничего, чтобы спасти Евграфа Ивановича. Он знал о ночном разговоре на охоте, он знал, как Огородов изводил Евграфа Ивановича, и молчал. Он, Серебров, обязан был вчера вечером зайти к Соколовым и быть там допоздна. И утром рано, чувствуя какую-то неясную тревогу, обязан был зайти. И рокового выстрела не произошло бы. А он счел это неудобным и не зашел.

В вестибюле Дома Советов стоял в распахнутом пальто, со скорбным выражением лица Огородов.

— Попивал, попивал Евграф Иванович,— говорил он Арсению Васильевичу Ольгину.— Так ведь где работал! Доступ ко всему.

Арсений Васильевич косился на дверь. Видно, ему объяснения Огородова были не нужны, но тот его не отпускал, припомнив какие-то вещи слова самого Соколова о том, что долго тот не проживет. Серебров опешил. И что они все заладили? Что они — сговорились? И по-

том он вдруг понял, что так объяснить смерть Евграфа Ивановича выгодно Огородову. Он от себя отводит вину. И чем больше людей поверит, что Соколов застрелился пьяным, тем легче станет вина Огородова.

— Так вот водочка. Все она,— повторил Огородов, качая головой.

Серебров, не в силах сдвинуться с места, вдруг ужаснулся: как только может Огородов такое говорить? Не только говорить... Как он может жить, как может ходить по улицам, смотреть людям в глаза? Ведь он знает, почему на самом-то деле застрелился Евграф Иванович. Из-за него застрелился. Серебров — свидетель. Огородов — убийца. Он убил своего друга. Но Огородов, массивный, уверенный, непробиваемый и непотопляемый, твердо стоял и толковал о том, что ему особенно тяжело, ведь кто-кто, а он-то с Евграфом Ивановичем был приятель. Но не скорбь, а что-то рыбье, тупое и холодное видел Серебров в крупных его губах, в выражении глубоко сидящих глаз.

Серебров поймал взгляд Огородова и, не отпуская его, подступил вплотную.

— Как вам не стыдно! Он ведь из-за вас застрелился! Вы его оклеветали! — крикнул он.

Жаль, что Огородов уже стоял один. Ольгин попятился к дверям.

— Т-ты, т-ты знаешь? — прошептал Николай Филиппович с растерянностью и злостью.— Т-ты молод еще, сопляк, он был мне друг.

— Я знаю, как вы друга...— выдавил из себя Серебров.— Я все слышал.

— Молчи! — проговорил Огородов и рванул галстук.— Ты еще мне будешь говорить такое. Да я...

Он оперся о барьер раздевалки. Может, ему стало плохо? Но Серебров был уверен, что Огородов изображает это страдание. Даже вытащил откуда-то алюминиевый патрончик с валидолом и положил в рот таблетку. Серебров плюнул и пошел к выходу. Огородов, тяжело ступая, двинулся с легкомысленного первого комсомольского этажа к себе на второй.

Через два дня, когда, разрывая душу, гремел на Крутенской улице похоронный марш, приехал рассерженный Виталий Михайлович Шитов. Его из-за ЧП отозвали с учебы. Он пристроился к процессии.

Грузовик с опущенными, покрытыми кумачом бортами, вез гроб с бессильно склонившейся над ним Ниной

Григорьевной и родственниками Евграфа Ивановича. Пахло тающим снегом, еловой хвоей от венков. Такую музыку выдували оркестранты, что Серебров не удержался от слез. Бедный Евграф Иванович!

Двигались плечи идущих впереди людей. Серебров видел крупную темноволосую голову Огородова, и прежнее недоумение вернулось к нему. Как мог в процессии за гробом идти Николай Филиппович Огородов? Как он мог идти с непокрытой головой? И какие мысли были в этой голове? Это же ужас! Этого Серебров постичь не мог. Ему хотелось вытолкнуть из процессии Огородова, но тот шел, склонив голову, и изображал скорбь. Серебров был уверен, что именно изображает Огородов свою печаль, а не чувствует ее.

По требованию Шитова из облпотребсоюза приехала ревизия.

Ждали, что она вскрыет причины гибели Соколова. Может, правда, растраты и взятки?

— Ну, как в большинстве райпотребсоюзов, не без промашек. Есть недостачи, порча товаров в магазинах,— устало и спокойно говорил ревизор осаждающим его райисполкомовцам.— Одним днем не изживешь. У нас мнение: Соколов работал неплохо.

Шитов, конечно, встречался с этим выдавшим жизнь пожилым ревизором. Говорят, побывал он в больнице у Нины Григорьевны. Но почему Виталий Михайлович медлил, неужели он не понял, что во всем виноват Огородов? Нельзя же так! Сереброва это возмущало. Ему казалось, что пройдет время и забудутся истинные причины гибели Соколова, Огородов сумеет всем доказать, что Евграф Иванович пил, и никто не вспомнит о том, кто извел Соколова.

Задержавшись поутру около дома, где жил Шитов, Серебров дождался его. Служивая Крутенка еще только просыпалась, а Шитов сереньким этим утром привычно спешил к себе в райком партии. Виталий Михайлович не удивился, когда Серебров остановил его и сказал, что обязан сообщить ему важную вещь: в смерти Соколова повинен целиком и полностью Огородов.

— Зайди,— устало пропустил его вперед Шитов, открыв дверь кабинета.

Слушал Сереброва Виталий Михайлович так, словно его слова не представляли для него никакой новизны. Рассматривал свои большие руки и повторял:

— Ну, ну, говори.

А Серебров, то ли из-за этого усталого спокойствия секретаря, то ли из-за того, что не вызывали его слова возмущения или пусть обычного интереса, путался, повторялся. То рассказывал о споре в избушке, то о слухах, которые распускал Огородов о Соколове, да еще хотелось повиниться самому. Ведь он не сумел спасти Соколова.

— Вот и все,— наконец справился Серебров с путаной своей речью.— Не знаю, как вы поступите, но я должен был об этом сказать. Евграф Иванович был честный человек.

Шитов кивнул головой.

— Это не вызывает сомнений. Прав ты, прозевали мы его. Нельзя оставлять при таком стечении обстоятельств человека одного, тем более такого горячего и впечатлительного.

Сереброву казалось, что все, о чем рассказывал он, уже известно Шитову, а он ведь один был при споре Соколова с Огородовым.

— Будем еще разбираться,— пообещал Шитов и потрогал мысок волос над высоким лбом.— Тут объективность нужна. С горячей головой можно напороть ерунды.

Наверное, Огородов понял, что дела его плохи, и стал предупредительным, слегка потерянным. Конечно, не с Серебровым. Сереброва он теперь не замечал.

Состоялось наконец заседание бюро райкома партии. Ваня Долгов пришел с него возбужденный и долго не соглашался рассказывать об услышанном, ссылаясь на то, что окончательного решения нет. Еще будет утверждать обком партии. Вытягивали из Вани по словечку.

Виталий Михайлович на бюро прямо сказал, что из-за общего попустительства, по сути дела, был у них в районе затравлен человек. И вина за его гибель лежит на Огородове. Это случилось не по наивности Огородова. Тут сама натура Николая Филипповича сказала: говорит одно, а делает иначе. Полный разрыв формулировок с самой психологией. Закончил институт, марксистскую философию сдал на «отлично», а друга затравил.

Огородов сидел на заседании бюро совсем убитый. Эх, как он раньше давал тут разгон, а теперь держал наготове валидол, утирал платком лоб, хватался за сердце и клялся, что никогда никого не травил. Это напраслина. Просто он когда-то рассказывал, что запросто можно люком отшибить пальцы, а его поняли, будто он имеет в виду Соколова.

Огородов предполагал, что над ним разразится гроза. Он молил в душе об одном: чтоб его не исключили из партии. И когда члены бюро проголосовали за строгий выговор, Огородов понял, что оживет. Он смирился с тем, что его не оставят в председателях райисполкома, и подготовил организованное отступление. Когда Шитов сказал, что советовал бы Николаю Филипповичу, так подмочившему свою репутацию, покинуть район, тот вдруг всхлипнул, размазал по щеке слезы.

— Играет дьявол,— прошептал начальник милиции Воробьев. Но действительно были у Огородова слезы на глазах, и он жалко дрожащим голосом просил оставить его в родных местах, на любой работе.

О новой должности он позаботился. Уходил на пенсию управляющий райбанком Лимонов, и областная контора просила на этот пост назначить Огородова.

Скрепя сердце Шитов согласился. А Ольгин с досадой сказал Сереброву:

— Лучше бы его в область взяли. Я еще наревусь с ним. Хотя, если он в областное начальство вылезет, Крутенка наша сразу сядет на голодный паек.

Кто-кто, а Арсений Васильевич знал, насколько влиятелен банк и как недобр Огородов к людям, которые не потрафляют ему.

Евграфу Ивановича вспоминали в Крутенке. Особенно часто не хватало его в праздники, когда доходило веселье до такого накала, что позарез требовалась гармонь. Тогда и произносили знавшие Соколова:

— Таких-то игроков уж в Крутенке больше нету. Он, видно, последний был.

КАПРИЗНАЯ ФОРТУНА

Серебров обрел уверенность и стал чувствовать себя в райкоме комсомола на своем месте. Иной раз ему было и вовсе хорошо. На пару с Золотой Рыбкой они вели в Доме культуры «голубые огоньки» для работников сельского хозяйства. «Огоньки», по мнению крутенцев, удавались им не хуже, чем знаменитым дикторам центрального телевидения Шиловой и Кириллову. Слушая доклады Вани Долгова, Серебров сразу узнавал те места, которые писал он: там были остроумие, живость, цифры играли. И замечал он, что секретари комсомольских

организаций обращаются к нему охотнее, чем к хмуроватому Ване.

В тот день секретарь райкома комсомола Серебров возвращался из Бугрянска в приподнятом, лирическом расположении духа. Он был в обкоме комсомола, где Клестов расхваливал крутенцев за то, что хорошо там работают девичьи отряды. Это было и признание заслуг Сереброва.

Конечно, он не мог миновать Надькиного ателье. В своих бликующих темных очках, с волосами, покрашенными под золотую блондинку, очаровательная и неприступная, главная модельерша Надежда Макаева восседала в директорском кабинете.

— Ой, Гаричек! — пропела она, и ее лицо потеряло гордое выражение.— Как мне хотелось тебя увидеть. Я сейчас.

И на новой должности Надежда была уверенной, острой на язык. Одевалась она с тщательностью человека, который прически и платья считает частью своего основного дела. Все это, по ее убеждению, помогало в работе.

— Ты что, каждый день носишь разные прически? — спрашивал Серебров, разглядывая опять в чем-то изменившуюся Надежду.

— Да что ты, я меняю их часто,— стараясь не замечать иронии, соглашалась она.— В одно место идешь — надо расфуфыриться, в другом быть строгой, как учительница математики. Ты не знаешь, как важно уметь выглядеть! Это целая наука.

Они бродили в этот вечер по заснеженному Бугрянску, целовались на своих «необитаемых островах», и Надежда не торопилась домой к Макаеву. Они подошли незаметно к своей милой бревенчатой двухэтажке. Крадучись, стараясь не скрипеть ступенями, замирая и грозя ему пальцем — не шуми! — Надежда провела его через промерзший гулкий коридор. Вот и комната, тесная, уютная, где надо говорить шепотом и ходить на цыпочках. Надежда начала снимать с головы шалюшку и зацепилась ажурной вязкой за сережку. Беспомощно, жалобно улыбнулась. О-о, милая, прелестная, коварная! Гарька отцепил шаль и бросил неизвестно куда, вызволил Надежду из шубки. Нетерпеливо обнимая его, она повторяла укрощенно и разжигающе:

— Гарик, милый, не сердись. Я виновата перед тобой. Я так виновата. Ты разлюби меня. Слышишь! Найди

себе красивую, моложе меня, и ты будешь счастлив,— шептала она.

— Наденька, я никого не хочу. Я хочу всегда быть с тобой и всегда любить тебя,— почти клятвенно проговорил он.

— И я тоже не хочу, чтоб кто-то между нами возник,— вдруг сказала она, посерьезнев.

— Но ведь ты сама,— вырвалось у него. Она закрыла ему ладошкой рот.

— Не говори ни о чем. Мы просто с тобой бабочки-поденки. Мы живем сорок, ну пятьдесят минут. И мы все эти минуты счастливы. А это целая жизнь. Пусть это будет целая жизнь.

Сереброва радовало и смущало воспоминание об этой встрече с мгновенным счастьем. Надежда опять была доступной, милой, истосковавшейся.

В приятно виноватом этом настроении он прямо с электрички пришел в райком комсомола за три минуты до начала пленума. Ваня Долгов, прежде чем отправиться к трибуне, шепнул Сереброву, чтоб тот готовился выступить с критикой по молодежным механизированным звеньям, а то обсуждения не получится.

Все в том же настроении, которое питали воспоминания о встрече с Надеждой в старом доме, Серебров рылся в блокноте, готовясь к выступлению. Он взглядывал рассеянно в зал, видел там привычные лица, то неумышленно-веселые, то сосредоточенно-серьезные. Неподдалеку, опершись подбородком на кулаки и стараясь сочувственно смотреть на докладчика, боролся со сном Гера Буров, главный инженер птицефабрики, толстенький, с заявкой на второй подбородок человек — у него было мягкое лицо доброй тети. Затуманенный воспоминаниями взгляд остановил Серебров на лице Веры Огородовой. Оно было отчужденным. Но его не тронула Верина холодность. Бог с ней, с Верой. Все, пожалуй, ушло и перегорело.

Доклад у Вани был обстоятельный и скучный. Участники пленума начали перешептываться, позевывать, передавать друг другу записки. Серебров хмурил брови, звякал карандашом о графин. Ничего, сейчас он их расшевелит.

Наполненный впечатлениями от областного семинара в Бугрянске, веселый, злой и решительный, недовольный сонной обстановкой, Серебров с ходу обрушился на оных бюрократов, которые напланировали по весне три-

дцать механизированных звеньев, а сумели наладить работу только в двух. Он звенел голосом, возмущаясь и негодуя. Разве это дело! Надо было продумать все до мелочей. Не распались ведь девичьи отряды плодородия. И тут уж Серебров отвел душу, рассказывая, сколько потребовалось усилий, чтоб их сохранить. Говорил он с таким натиском, что даже сумел сорвать аплодисменты. Сел, довольный собой. Хорошо получилось. Теперь всякие персональные дела, справки и объявления. Опять мыслями он был далеко отсюда. В старом деревянном доме. Вдруг Серебров насторожился, лицо полыхнуло кулаком: Ваня Долгов, встряхивая белесой челкой, читал заявление Веры Огородовой. Она просила вывести ее из состава райкома комсомола и освободить от обязанностей секретаря колхозной комсомольской организации, так как якобы не имеет на это морального права, потому что у нее скоро будет ребенок.

Сереброва это оглушило. У Веры ребенок! Он сидел, боясь поднять голову: как хорошо, что затянутые изморозью стекла смягчают в зале свет, а то бы все увидели, что на щеки у него легли алые плиты румянца. Серебров машинально рвал на ленты свои записи. У Веры будет ребенок. Его ребенок. Чего он натворил! Чего он натворил! Но к чему она написала это заявление? В ответку ему, что ли? Нет! Но зачем? Серебров украдкой взглянул на Веру. Лицо у нее было бледным и спокойным. Взгляд неломкий и холодный. Взгляд человека, на все решившегося продуманно и твердо. А смятенный взгляд Сереброва вильнул в сторону, встретив холод и презрение в Вериних глазах.

В зале поднялся гомон. Сонных лиц как не бывало. Школьницы в коричневых форменных платьицах, примерено сидевшие в первом ряду, зашушукались, стесняясь. Клонясь в ряды, переговаривались люди в солидных комсомольских годах. Вот так штука! Идеальная Верочка Огородова ждет ребенка. Настороженно вытянул шею очнувшийся Гера Буров. Он любил во всех персональных делах разбираться с прокурорской дотошностью. Тут, по его мнению, все решалось легкомысленно и несерьезно. Ваня Долгов сразу поставил вопрос на голосование. А разве можно так? Надо узнать, почему это произошло?

— Огородову послушать, — выкрикнул недовольный Гера и нахмурил лоб.

Вера, бледная, глядя под ноги, скованной походкой прошла к трибуне. Серебров сжался.

— Причины такие,— облизав пересохшие губы, сказала Вера.— Возраст у меня уже не юный. Замуж по любви выйти не удалось, а не по любви я выходить не хочу.

— Ничего себе, не юный возраст. Кто отец будущего ребенка? — войдя в следовательский азарт, крикнул Буров.

Зал притих.

— Этого я сказать не могу. Ни к чему,— ответила сухо Вера. Ответ разочаровал многих и в первую очередь — Геру Бурова.

— Женат, значит? — опять выкрикнул он, недовольный ответом Веры.

— Какое это имеет значение? — пожалала Вера плечами и обернулась к Ване Долгову: наверное, хватит расспросов? Серебров ощутил благодарную теплоту. Вера хочет отвести удар от него. Почему-то она жалеет его. Жалеет, хотя он причинил ей только зло.

— Ну а все-таки... Мы как члены райкома имеем возможность воздействовать! — вскакивая, крикнул раскрасневшийся Буров, еще больше похожий на дотошную тетку — устроительницу судеб, и Серебров беспомощно подумал, что, если Бурову дать волю, он узнает все и докопается до всего.

— На этот вопрос я отвечать не буду,— замкнулась Вера, опуская взгляд.

— Ставлю на голосование,— сказал Ваня Долгов. Недовольный Гера Буров даже не поднял руку: разве это разбор дела?

Серебров подумал, что, наверное, ему вот теперь, в зале, пока не разошлись участники пленума, надо встать и громко сказать, что это он, Серебров, тот подлец, о котором идет речь. Но он не может жениться. Ему нельзя. Он любит другую. Просто случилось так...

Гера Буров все-таки не выдержал, вскочил с места и закричал, что с таким либерализмом вообще можно докатиться черт знает до чего.

— Мы можем подействовать на того типа, Вера Николаевна! — крикнул он, готовый оказать свои услуги.

— А зачем? — сказал сухо Вера.— За все отвечаю я.

Наверное, прав был этот настырный, неистовый Гера Буров, но Серебров облегченно вздохнул, когда Вера ответила именно так.

Пленум закончился, а зал еще долго бубнил. Самые горячие и возмущенные споры начались в коридорах и на

лестницах. Везде в Крутенке в этот день разговаривали о неожиданном происшествии, удивлялись Вере Огородовой, осуждали и одобряли ее, гадали, кто этот неведомый человек, у которого был с Верочкой Огородовой тайный роман.

Серебров засел в своем кабинете и не выходил в коридор, чтобы не напороться на подозрительные взгляды и вопросы. Ему казалось, что все, абсолютно все догадываются, кто отец будущего ребенка. Когда он выйдет, обязательно покажут на него пальцем. Тот же Гера Буrows.

«А Вера, Вера — молодчина, — тупо глядя в заснеженное окно, думал он. — Ничего не сказала. А ведь, наверное, много перестрадала, прежде чем решилась на такое. И сколько мук впереди!» А он сам действительно подлец и ханжа. Он отсиделся, не сказал, что виноват. Конечно, трус и ханжа. Он будет по-прежнему учить других жить честно и праведно, хотя не имеет на это никакого права, Серебров похрустел пальцами, подошел к окошку. Скверно было на душе, скверно. И встреча с Надеждой в старом доме теперь уже не казалась лирической, красивой и приятной. Он просто подлый, развратный тип, который бросается за каждой юбкой.

Серебров глядел на улицу: сеял медленный снег, к площади теперь уже не Четырех, а Трех Птиц проехали дровни. И вдруг Сереброва обдало жаром: в своем красном, уже тесноватом в талии пальто, со своими невеселыми думами, наклонив голову, шла Вера. Наверное, размышляла о том, как несправедлива к ней судьба, каким негодяем оказался Серебров. Еще была возможность все исправить. Надо попросить у Веры прощения и громгласно объявить, что они муж и жена, но переступить через себя было свыше его сил. Надо будет мириться с Огородовым, надо будет добровольно признаться в том, что он тот самый подлец, которого стремился на пленуме раскрыть Гера Буrows. И кроме того, Надежда. Она сказала, что скучает без него и не хочет, чтобы у него кто-то был.

Серебров вроде даже успокоился. Ничего он не может сделать. Встречи с Верой — ошибка. Так случилось... Но вдруг возник в нем двойник. Взъерошенный, непримиримый второй Серебров начал задираться и ехидно насканивать на него.

— Ты трус и подлец! — беспощадно резал двойник. — Разве в этом дело? При чем тут Огородов? Речь идет о

Вере. Ты ей испортил жизнь! Имей хоть каплю честности.

Немного успокоил Серебров Ваня Долгов. Он зашел расспросить о семинаре и сказал, что был против Вериного заявления. К чему? Обычно все это бывает без шума. Автоматически при очередных выборах освободили бы ее, и вся недолга, а теперь шум. Но он тут ни при чем, она настояла: я, мол, учительница и не могу...

— Она решила честно,— встал Серебров на сторону Веры. Надо же было ему изображать человека стороннего, ни в чем не повинного и объективного.

Случившееся на пленуме райкома комсомола разъярило Николая Филипповича Огородова. Ну как же: его дочка во всеуслышание созналась в грехопадении. Говорили, что Николай Филиппович тотчас же ринулся в Ильинское. Придя к Вере, он стучал кулаком по столу, грозил и требовал признания. Стены старого учительского дома не уберегли семейного секрета. Вера наотрез отказалась говорить с Николаем Филипповичем об отце своего будущего ребенка. Тогда Николай Филиппович принялся настаивать, чтобы Вера сделала аборт. Ничего, не поздно. Он с врачами договорится. У него есть связи. Зачем ей, молодой, цветущей, этот ребенок? Зачем губить себя? И уехать надо из района. Далась эти Ильинское, Крутенка! А ребенка не надо. Без него она еще выйдет замуж, еще все впереди.

— Позволь мне самой все решать. Я не маленькая,— ответила Вера, и Огородов, расщепившийся, расстроенный, грохнул дверь, выбежал на улицу. Но уехал он не сразу. Он ходил по Ильинскому и не погнушался спрашивать учителей, кто из мужчин бывал в гостях у Веры. Видимо, что-то дал этот опрос, потому что Огородов разговаривал с нервно посмеивающимся Валерием Карповичем. Шла ли в Ильинском речь о втором секретаре райкома комсомола Сереброве, было неизвестно. Изменился ли к нему Огородов, Серебров все равно бы заметить не смог, потому что уже давно не здоровался и не разговаривал с «банкиром», впрочем, как и сам «банкир». Встречаясь, они проскакивали мимо, делая вид, что не знают друг друга.

Шли дни. Иногда Сереброву казалось, что Вера Огородова начисто исчезла из его жизни. По комсомольским делам встречаться с ней теперь не приходилось, Ильинское он объезжал стороной.

В райкоме комсомола средоточием всех новостей бы-

ла заведующая орготделом, смуглая, быстрая, с горячей дичинкой в глазах, Света Реутова. Она узнала откуда-то, что у Веры Огородовой настроение неважное. Врач определил отрицательный резус крови. Николай Филиппович подсунул ей статью об этих самых резусах, где говорится, что у матерей с отрицательным резусом крови может родиться неживой ребенок. Все зависит от того, какой резус у отца. Пусть Вера скажет, кто этот подлец, и Николай Филиппович заставит его проверить резус. Да, Огородов был не из тех, кто легко отступает от своей мысли разузнать все доподлинно.

— Ух, эти мужики, так бы и убила всех,— добавляла Света Реутова от себя, скосив на Сереброва свои диковатые, раскосые глаза.— Натворят не знай что, а человек мучайся. Вот какой у него резус?

Серебров, всегда посмеивавшийся над Светой из-за единственной веснушки на ее носу, шутить уже не мог.

— Причем тут резус и мужики?! — сердился он, чувствуя, что, словно почуявшая сладкое оса, разговор вьется в опасной близости от него.

— Дак был же какой-то отец! — вырвалось у Светы.— И резус у него неизвестный.

Этот резус представлялся ей всемогущим, как злой неотвратимый рок.

Приехав в Бугрянск, Серебров нашел в отцовской медицинской энциклопедии статью об этом противном резусе. Оказывается, резус такой существовал. А какой резус крови у него, Сереброва? Он исподволь выспросил кое-что у отца. Станислав Владиславович недоуменно смотрел на сына. Наверное, что-то заподозрил, но ничего не сказал. Он потер свой капитальный морщинистый лоб, снял очки.

— Ты понимаешь, сыграли комсомольскую свадьбу,— поспешил объяснить Гарька.— Все было честь по чести, а потом молодожены ко мне. Отрицательный резус. В их понимании, раз я был тамадой на свадьбе, так и за резусы должен отвечать.— Гарька натужно изобразил смех.

— Я не знаю, какой исход будет тут,— сказал Станислав Владиславович, надевая очки.— Возможно, хороший. От организма матери зависит.— Станислав Владиславович говорил с профессиональным спокойствием, а Гарьке казалось, что он догадывается, зачем понадобилось сыну узнать об этих самых резусах. Но зато теперь Серебров не боялся разговора со Светой Реутовой. И даже курносенькую «англичанку» из Ильинского, Ирину

Федоровну, он успокоил, сказав, что резусы — это ерунда. У него отец опытнейший врач, он знает...

Где-то по весне Света Реутова забежала в кабинет к Сереброву, раскрасневшаяся, радостная.

— Гарольд Станиславович, Огородова-то Верочка родила! Девочку родила! Три пятьсот! Состояние хорошее, — и побежала по кабинетам разносить эту радостную весть.

Серебров не знал, хорошо ли это — три пятьсот, но то, что роды прошли благополучно, его успокоило.

Но уже через день-другой Сереброва опять начала точить тревога: Пришла мысль о том, что, раз он отец, тайный отец, это не забудется. Есть человек, который теперь не только будет жить, но и осуждать его своим существованием. Чем старше будет девочка, тем строже суд. Осуждала же своего отца Надька Новикова за то, что тот бросил мать. Еще как осуждала! Таня — так Вера назвала новорожденную — станет спрашивать о папе, определенно станет спрашивать.

Серебров не мог заглушить эти мысли. Съездив в райпотребсоюз соседнего района, он купил апельсинов — они были такой редкостью! — и отправил со Светой Реутовой для Веры. Иначе он не мог. Серебров понимал, что этими апельсинами, хоть они и куплены не у Женечки Кайсина, он все равно разоблачил себя. Даже Света Реутова сказала, что он, как о близкой родственнице, заботится о Вере.

«А плевать на все, — решил бесшабашно Серебров, — пусть болтают!» Но прежняя изнуряющая настороженность вернулась. Он опасался разговоров о Вере Огородовой. Даже упоминание о селе Ильинском пугало его.

Временами он с отрезвляющей ясностью понимал, что встречи с Надеждой — затянувшаяся игра. Все равно Надежда не придет к нему и не покинет своего уютного, заботливого Макаева. Ему надо поехать в Ильинское, повиниться перед Верой, перевезти ее вместе с дочерью к себе и жить прочной, устоявшейся жизнью, как все. Но тут наплывали суровые сложности, вставала фигура Огородова. Ах, если бы кто-то мудрый заглянул во все предполагаемые варианты его будущей жизни и сказал, который из них лучше.

Жизнь сама попыталась предложить Сереброву свой вариант. Было это уже весной. Крутенцы возились на огородах. Кто сам, лоя солнце отшлифованным лезвием лопаты, трудолюбиво вскапывал землю, кто, раздо-

быв где-то меринка, мотался за плугом. Стлался, стекая в низины, белесый дым: жгли огородники прошлогоднюю ботву и мусор. Долетал запах дыма и сюда, на центральную улицу поселка, к площади Четырех Птиц. Серебров слушал веселую переключку копальщиков, намекавших женам насчет того, что причитается за труды. Эти прочные, честные люди жили определенно, открыто и уверенно, и он завидовал им. Ему бы тоже надо жить так. Теперь, к примеру, пойти к хозяйственному Ване Долгову и, взяв лопату, плечо в плечо с ним на радость Рите перекопать огород, вдыхая запах весенней прели и навоза. Быстрая, смешливая Рита в это время успешит пельмени. Он, пожалуй, так и сделает.

Но дойти до Вани Долгова ему не удалось. С высокого крыльца уютного домика, где помещался банк, покачиваясь с пяток на носки, неожиданно дружелюбно заулыбался Сереброву сам Огородов. Зеленая велюровая шляпа сбита на затылок, плащ распахнут.

— Слышал ли, Гарольд Станиславович,— как ни в чем не бывало, смягчившимся, гостеприимным голосом проговорил он,— за Радуницей, в «Заре», волки стельную корову задрали. Вовсе обнахалились. Обложить, наверное, надо. Может, составишь компанию?

От дружелюбности и доброжелательности Огородова Серебров растерялся. Он мог бы ответить на ругань, он научился, не замечая, проскакивать мимо управляющего банком. А как быть тут, он не знал, и потому замешкался.

— Зайди-ка ко мне. Не бойся, не кусаюсь. Я тебе одну штуку покажу. С ней вот на волка-то,— сказал Огородов.

— Нет, я тороплюсь,— отчужденно проговорил Серебров. Необычайная словоохотливость Огородова настораживала и разоружала одновременно. Наверное, надо было изо всех сил упереться и не заходить.— Нарушение, нельзя,— проговорил Серебров, кивнув на охранника.

— Ничего, мы знаем, что можно, что нельзя. По делу можно,— разрешил Огородов и шире распахнул дверь. Отвечать грубостью на гостеприимство было как-то неудобно. Серебров поднялся на крыльцо и мимо охранника, кипятившего на электроплитке чай в эмалированной зеленой кружке, прошел следом за Огородовым в его узенький кабинет с зарешеченными окнами. Все еще говоря о волках, задравших корову, Огородов открыл сейф, достал бутылку водки, за наклейку прозванную

«коленвалом», кольцо колбасы. Серебров вдруг ясно понял, что Огородов ждал его и, конечно, не для разговора о волках. Надо было срочно уходить отсюда, и он попятился к двери.

— У меня доклад,— пробормотал он. Огородов схватил его за рукав.

— Сядь, сядь,— с настырной фамильярностью, будто зная о Сереброве что-то компрометирующее, проговорил Огородов и усадил Сереброва. Потом он нарезал колбасы, сорвал зубами пробку с бутылки. Лицо было у него уже не улыбочное, глаза смотрели мрачно. Руки привычно и точно делали свое дело: стопки были наполнены вровень — никому не в обиду, хлеб нарезан не поперек, как обычно, а по диагонали. Так резал только Огородов.

— Ох, жизнь! Камень на груди. Не могу,— вздохнул он протяжно.— Да ты бери, бери, снимем грусть-усталость.

Серебров нехотя взял стопку и поставил обратно, не отпив. Теперь он окончательно понял, зачем затащил его к себе Огородов. Он станет припирать его к стенке, принуждать, чтоб сознался. Следствие он закончил, выводы сделал, и вот...

Огородов, запрокинув голову, выплеснул содержимое стопки в рот, но не сказал своего традиционного «Пить — так водку, любить — так молодку, воровать — так миллион», не закусил. Разглядывая простенькую стопку, о чем-то задумался. Затянулось молчание. Вдруг яичной скорлупкой хрупнуло стекло.

— Вот так и моя жизнь ломается, Гарольд Станиславович,— сказал со стоном Огородов и сбросил осколки стопки на газету. Стеклом порезало палец. Текла ниточка крови, но Николай Филиппович не обращал на нее внимания. Наверное, это было уже из разряда представлений, и Серебров поморщился: любил Огородов спектакли.

— Вот так и моя жизнь ломается,— повторил Огородов.— И все ведь по твоей милости. Мне Верочка сказала, что ты отец Танечки,— и взглянул в его глаза. Серебров взгляд Огородова выдержал.

— Нет, она не могла так сказать,— проговорил он севшим голосом и отодвинул стопку.

— Не могла, а сказала, так что, родственничек, зятек ты мне,— заглядывая ему в глаза, проговорил чуть ли не с лаской Огородов.

— Бросьте, Николай Филиппович, не пристало вам,—

резко сказал Серебров, вскакивая. Он сам удивился, что тоже играет и почти безукоризненно ведет роль оскорбленного понапрасну человека.— Не могла сказать так ваша дочь. Она — человек умный и серьезный.

— А сказала. Сказала все,— упрямо со слезой повторил Огородов. И Серебров понял, что Николай Филиппович пьян. Пьян и говорит так, как было задумано раньше.

— Ты не отпирайся. Садись! Я доподлинно узнал: ты мою девку погубил. И вот вторую губишь. Свою дочь губишь. Решили мы ее отдать в дом малютки. Нельзя иначе, нельзя. Вот поэтому и пьяный я, поэтому собственную внучку... Понимаешь, собственную... в приют. А могли бы жить, нам ли не жить? Дом — чаша. В тебе совесть есть, Гарольд Станиславович? — выкрикнул он, снизу заглядывая в лицо Сереброва.

Возможно, хитрил Огородов, возможно, говорил правду. Может, хотел что-то узнать у Сереброва и еще раз убедиться, а может, Вера рассказала обо всем, и они действительно решили отдать девочку в дом малютки, чтобы развязать дочери руки. Он смотрел на Сереброва выжидающе. Ну как, мол, ты это все расцениваешь?

— Если насчет совести, у нас уже был разговор после смерти Евграфа Ивановича,— проговорил Серебров, злясь на себя за то, что так глупо попался на огородовскую удочку.

— Ты мне друга Грашу не трожь,— с угрозой выдал из себя Огородов и распустил на шее галстук. Обида и скорбь стояли во взгляде. Будто не он изводил и извел Соколова.

Серебров пожал плечами. Поднялся.

— Зря все это. После истории с Евграфом Ивановичем не то что говорить, я смотреть на вас не могу.

— Нет, не уходи! — крикнул Огородов, суетливо кинувшись к сейфу.— Вещицу-то я хотел показать.— Он вытащил карабин с оптическим прицелом.— Хороша вещица? С оптикой, а я ведь и без оптики белку бью в глаз. Знаешь об этом?

Да, Серебров об этом знал прекрасно.

— Вы не только без оптики, вы и без ружья можете убить,— сказал он и открыл дверь.

— Нет, куда? — схватил его Огородов за рукав плаща.— Еще бутылку не выпили.

— Не хочу,— вырвался Серебров.

— Не хочешь? — В светлых глазах Николая Филип-

повича таилось по осколку стекла.— А ведь ты меня вспомнишь, вспомнишь, Серебров! Ни за что обидел. Я ведь обид не прощаю. За дочь обиду не прощу.

Серебров знал: Огородов такой, он обиду не простит, но ему-то наплевать на огородовские козни. Подумаешь. Он — не Евграф Иванович, стреляться не будет. Он и сам может отомстить, если понадобится.

Серебров с облегчением проскочил мимо старика охранника, пившего чай из солдатской кружки, и сбежал с банковского крыльца.

Слова о том, что Огородовы решили отдать Верину дочку в дом малютки, не давали Сереброву покоя. Неужели Вера пошла на такое? Сказать правду могла только она сама. И Серебров решился. Поздно вечером он завернул в Ильинское и, оставив мотоцикл в кустах ивняка, осторожно пробрался в густеющей темноте к учительскому дому. Главное, ни на кого не напороться. Он прокрался к окну. В Вериной комнате горел свет. Из предосторожности (вдруг там кто-то есть, кроме Веры) Серебров заглянул через уголок окна, где отошла занавеска, в комнату. Вера проверяла тетради у бокового столика. В свете настольной лампы было видно ее лицо. Волосы уложены на затылке узлом. Прическа солидных, уважаемых женщин с педагогическим стажем. Все у нее было основательно продумано. Даже то, что она назвала дочку Танечкой — не с бухты-барахты. Определенно, в честь пушкинской Татьяны.

Серебров разглядел кроватку, прикрытую от света. Значит, девочка дома. Досадуя на скрипучий пол, который выдавал его при каждом шаге, Серебров подошел к двери Вериной комнаты и постучал.

— Входите,— послышался приглушенный голос Веры, и Серебров под ее удивленным взглядом шагнул через порог. Конечно, его здесь не ждали. В больших Вериных глазах полыхнули недоумение, обида, горечь и беспомощность.

— Это я,— глупо сказал Серебров.— Здравствуй. Прости, но я так беспокоился,— добавил он, топчась у порога.

— Бедный,— вставая, сказала она.— Ты пришел, чтоб я тебя успокоила?

— Нет, я... Где она? Танечка. Можно, я посмотрю? — сказал он и улыбнулся. Улыбнулся растерянно, заискивающе. Много противных низменных чувств отразилось в этой улыбке.

— Стоит ли? — отчужденно проговорила Вера, заслоняя собой кровать.

— Но я ведь... Она ведь и моя дочь, — сказал Серебров с какой-то неумной претензией.

— А ты убежден? — задиристо спросила Вера. Лицо у нее пошло пятнами. Голос дрогнул.

— Ну зачем ты так? — умиrotворяюще возразил Серебров.

— Ласковее не могу и не хочу! — отрезала Вера.

Как она разговаривала с ним! Какие колючки высовывались из каждого слова. Но он старался не замечать этих колючек. Он их вовсе не хотел замечать. Вера права. А как ей иначе быть? Принимать его, труса и беглеца, с распростертыми объятиями: как я рада, наконец-то ты пришел, долгожданный!

— Можно, я немного посмотрю, — сказал просительно Серебров, делая шаг к Вере. И получилось опять по-детски глупо. Словно соседский мальчишка из любопытства просил взглянуть, как выглядят маленькие дети, похожи ли они на кукол. Вера ничего не ответила. Серебров на цыпочках подошел к кровати. Заглянул. Спал ребенок. В капорчике. Сосал пустышку с оранжевым колечком. Черные ресницы, еле заметным мазком бровки. Нет, она не в Веру. Вера русая. А это милое темнорубое круглолицое создание с крохотным носиком, нежными щечками — в него. Конечно, Танечка похожа на него. Ведь дома есть фотография: он маленький, и Танечка такая же точно, такая же, как он.

— Я маленький такой же был, — сказал обезоруженно он, не отрывая взгляда от девочки. — А глаза у нее какие?

— Ты что, решил полную экспертизу провести? — опять колюче насторожилась Вера. — Карие, карие у нее глаза. У тебя какие? У тебя зеленые, так что можешь быть спокоен — не заподозрят.

— У меня серые, — уточнил Серебров.

— Ну а теперь уходи, — вдруг решительно сказала Вера, взмахивая рукой. — Ох, господи, лучше бы ты куда-нибудь уехал. — У нее дрогнули губы, она отвернулась к окну.

Серебров шагнул к ней, неуверенно притронулся к плечу. Она возмущенно повела плечами, сквозь слезы ненавидяще прошептала:

— Уходи, слышишь, уходи!

Он повернул ее к себе, пытаясь заглянуть в глаза.

— Ну зачем так? Я же...— но Серебров устыдился самого себя и умолк, опустил руки. Нет, он, конечно, подонки из подонков. Его миротворческие потуги — ханжество. Вера прекрасно понимала это. И он это понимал. Каждый его вопрос был то глупым, то бестактным, то обнаруживал скрытый подлый умысел. Однако, все больше теряя уверенность в себе, Серебров не хотел уходить, ждал, что Вера успокоится и у них получится согласный разговор. Он не знал, как ему спросить, правду ли сказал Николай Филиппович о доме малютки.

— Ну можем мы говорить с тобой по-серьезному? — садясь сказал он.

— О чем? — вскинула она досадливый взгляд.

— Обо всем. Может, даже о том, чтоб мы навсегда уехали вместе из Крутенки и чтоб нам никто не мешал, — неуверенно сказал он, отступая от кровати.

— Это ты сейчас придумал? Любовь по принуждению — не любовь, — отчеканила Вера. Они стояли друг перед другом, и Вера всем своим видом хотела показать, что он тут вовсе не нужен.

Он чувствовал себя великодушным, а она вот сразу поняла, что это не великодушие, а двоедушие.

«Да, если бы у меня было твердое намерение взять их к себе, жениться на Вере, разве такими были бы слова?» — пронеслось у него в голове. Она была умна и прозорлива, чувствовала, что он все это придумал, чтоб оставить о себе хорошее впечатление. А у него не было сил признаться ей, что она права, он изобразил обиду.

— Ну что ж, прости, Верочка. Здесь вместе мы не можем оставаться, потому что нам не даст житья твой отец, а я его ненавижу...

— Еще и отец. Уходи, — сказала она, задыхаясь. — Вон. Ты слышишь, вон отсюда, а то я закричу.

Серебров попятился из комнаты и по коридору гремел каблуками, уже не заботясь о том, что нещадно скрипят половицы. Ему не было дела до того, что за цветущей сиренью у крыльца кто-то стоит и, конечно, слышит последние Верины слова.

Ваня Долгов собирался на учебу в Высшую партийную школу, и по Крутенке шли слухи, что первым в районном комсомоле будет Серебров. Кому больше? Веселый, энергичный, у него дело пойдет. И когда Серебров позвали к Виталию Михайловичу Шитову, он с

приятным волнением понял, что предстоит разговор о том, чтобы принимал он дела у Вани Долгова, которому надоело ходить в коротеньких штанишках и который, тяготясь своей работой, то просится в райком партии, то уговаривает Шитова послать его в Высшую партийную школу.

Серебров, веселый, довольный, вступил в широкий, с длинным, для заседаний бюро, столом, шитовский кабинет. По-прежнему вдоль стен стояли снопики овса и ржи, чувашовского знаменитого льна в нарядных опоясках.

— Садись, — пощелкивая дужками очков, сказал Шитов. — Наверное, догадываешься, зачем я тебя позвал?

Серебров пожал плечами и улыбнулся, но Виталий Михайлович не ответил на эту улыбку.

— Плохо, прямо скажу, неважно ты начинаешь свою карьеру, друг дорогой, — сказал Шитов с болью в голосе. — Многие прощают за обаяние, но есть вещи, за которые прощать нельзя даже самым обаятельным.

О чем говорил Шитов? Серебров не ожидал таких слов. Что они значат? Всколыхнулась забытая тревога, поднялось паническое недоумение. Неужели что-то связанное с Верой?

— Твой ребенок у Верочки Огородовой? — в упор спросил Шитов, поднимаясь.

Серебров вспотел от стыда и унижения. Все всем известно. Эх, дурак он, наивный дурак!

— Мой, — хрипло выдавил он из себя, не зная, куда деть глаза. Шитову он врать не мог. Да и к чему врать? Ясно, что видели его в Ильинском у Веры, ясно, что Огородов осуществил свою угрозу.

— Жениться будешь или нет? — как-то обыденно и сухо спросил Шитов. Лицо у него было хмурым и отчужденным.

— Я не могу с Огородовым. Вы же знаете. Он же... — начал Серебров, поламывая пальцы.

— Я что тебе — на Огородове предлагаю жениться? — насмешливо сказал Шитов и возмущенно потрянул головой.

— Все равно, — начал Серебров. — И Вера против, и я, я не знаю, — и вдруг взмолился: — Отпустите меня, Виталий Михайлович.

— Куда? — вскинул на него сердитый взгляд Шитов.

— Ну, в Сибирь, на Курилы, нет, в Ставрополь, — торопливо поправился Серебров. — Ведь одна страна.

Он вдруг с тоской понял, что именно в Ставрополь к

дяде Броне надо поехать ему, чтоб укрыться под его надежным крылом. Он жалко и наивно верил теперь, что туда согласится поехать Надежда. Он уговорит ее ударить с ним от Макаева, все у него будет лучше, чем здесь. Шитов посмотрел на Сереброва немного теплее (так смотрят на глупых озорников) и передразнил:

— Одна страна. Страна-то одна, да здесь люди нужнее,— потом добавил твердые, взвешенные слова: — В райкоме комсомола мы держать тебя не можем. Сам себе ножку подставил. Жалко тебя, дураля,— и спросил: — Главным инженером пойдешь в «Победу» к Маркелову?

Серебров никак не ожидал такого поворота своей судьбы. Он ошалело сидел, не зная, соглашаться ему на колхоз или упрямо просить, чтоб Шитов отпустил его из района.

— Вот некоторые настаивают, чтоб мы гнали тебя поганой метлой отовсюду, но не хочется твою жизнь губить. «Победа» — неплохой колхоз. Специальность вспомнишь,— проговорил Шитов и добавил уже мягче: — Иди, подумай. Завтра скажешь. Я тебе советую. Лишняя дурь выскочит.

Неважнецки, с партийным выговором, уходил Серебров из райкома комсомола. Последнее слово осталось за Огородовым. И какое слово! Одно радовало, что «Победа» — неплохой колхоз, а Маркелов — интересный, веселый человек. Недаром по Крутенскому району о нем ходили легенды и анекдоты.

Серебров еще не успел сказать Шитову, согласен ли он пойти главным инженером в «Победу», как к нему завалился сам Григорий Федорович. Огромный, рокочущий, косолапо ступая по стонущим половицам, посочувствовал ему:

— Значит, мед-пиво пил, по губам текло и по зубам попало? Но не падай духом: в любом разе с земного шара не сбросят. Бастенько мы с тобой заживем. Мне ведь позарез надо смышленного, веселого парня. Ты не бойся, теперь ведь только и развернуться, пока молод.

И Сереброва вроде утешили эти маркеловские присловия: и правда ведь, с земного шара не сбросили.

Нина Григорьевна Соколова, вдова Евграфа Ивановича, собравшаяся уезжать из Крутенки, встретив его, печально спросила:

— Уезжаете? И я уезжаю. Может, возьмете у меня Валета в память о Граше? Мне ведь на охоту не ходить.

— Вы серьезно? — обрадованно изумился Серебров. Это было утешение. Еще бы, породный сеттер-лаверак! О такой собаке можно только мечтать.

НА СЕМНАДЦАТОМ КИЛОМЕТРЕ

Разжалованный из секретарей райкома комсомола, Гарольд Станиславович Серебров оказался в заросшем соснами поселке Ложкари, который вытянулся вдоль тракта ровно на один километр. Начинался он с отметки «17», а самый дальний дом стоял около столба с указателем «18». В общем-то жизнь Сереброва изменилась мало. Жил он по-прежнему в общежитии крутенской Сельхозтехники, в «Победу» добирался чаще всего на попутных машинах.

— Из общежития не уходи, пока не гонят, — наставлял его Маркелов. — Ты там — мои глаза и уши. Ольгина трясина.

Григорий Федорович к новому главному инженеру благоволил. Даже за явные оплошности только журил, а не ругал его. То ли покоряло его райкомовское прошлое главного инженера, то ли заметил он в нем какие-то неизвестные самому Сереброву способности.

Как и большинство самородков, выдвинувшихся на руководящую стезю с семилеткой, а потом на лету набравшихся скороспелой учености во всяких «космических», с сокращенной программой, техникумах, Григорий Федорович побаивался этой самой учености. С людьми он сходилась мгновенно. Пяти минут ему хватало войти в любую компанию и почувствовать там себя своим человеком. Перед колхозниками он выступал легко, зажигаяще, весело, а вот когда требовалось подготовить выступление для официального совещания, сочинить бумагу, терялся и скучнел, увязая в неповоротливых канцелярских словосочетаниях. Он старался свалить эту работу на кого-нибудь из специалистов. Когда Серебров написал, по просьбе Маркелова, слезное письмо в облсельхозуправление, тот слушал эту деловую бумагу, как стихи, с восторгом в глазах.

— Во-во. Так вот надо, — радовался он, потирая руки. — И как ты, Гарольд Станиславович, такие слова находишь: «Без преувеличения можно сказать, что колхоз находится в бедственном положении!» Молодчик. Правильно, вот это их проберет. Ах, хорошо!

Серебров, польщенный похвалами Григория Федоровича, старался. То, что Маркелов выделил Сереброва среди других специалистов и приблизил к себе, вызвало отчуждение главного зоотехника и главного агронома. Главного зоотехника Саню Тимкина Серебров всерьез не принимал. Этот сонный, губастый увалень, о котором рассказывали, что он, угорев в бане, опоздал даже на собственную свадьбу, Сереброва побаивался. А вот главный агроном, секретарь парторганизации Федор Проклович Крахмалев, коротко стриженный, седой, тучноватый, нелюдимый, Сереброва не признавал, считал его городским фертиком, временным, несерьезным работником. Был в свое время Крахмалев председателем колхоза «Землероб». Авторитет его был тогда абсолютным. По его хозяйству ориентировались все остальные. Если выжидает, не сеет «Землероб», выжидают и другие. И тогда хоть забегайся уполномоченные, сев пойдет со скрипом. То же самое было в начале уборки. Любил повторять Крахмалев: «Хлеб — хозяин, а деньги — гости».

Работая предриком, Огородов считал Крахмалева вредным человеком.

— Драй, не драй — ничего не понимает. Молчит, а делает по-своему. Не поддается ни угрозе, ни энтузиазму, — расстраивался Николай Филиппович.

При укрупнении «Землероба» все так обтяпал Огородов, что оказался Крахмалев не у дел. Подобрал его и позвал работать к себе в «Победу» Григорий Федорович Маркелов. И, конечно, он выиграл. Этот сумрачный, улыбочивый человек с сивой короткой шевелюрой ежиком сделал то, о чем Маркелов, пожалуй, и не мечтал: «Победа» стала самым урожайным колхозом в районе. Крахмалев знал здешние поля и своего добивался с каменным терпением.

— Хлеб — хозяин, а деньги — гости. Землю не портит только нога агронома, — говорил он трактористам, пытавшимся доказать, что они все сделали хорошо, вспахав поле вдоль, а не поперек, как требовал агроном, и добивался перепашки поперек поля.

И вот Федор Проклович Крахмалев не признавал Сереброва. Здоровались они сдержанно, говорили только о самом необходимом, и Серебров не знал, в чем его вина перед сумрачным этим человеком.

В первую осень даже чуть не поссорились. Серебров только что вернулся из дальней коробейниковской бригады, где всю ночь пришлось возиться с самоходным ком-

байном. Шел усталый, злой. Сквозь встречный дождь-косохлест увидел Крахмалева, поднимавшегося по скользкому глинистому угору. Серебров, здороваясь, приложил руку к берету. Крахмалев остановился, отер платком мокрое лицо и шею, недружелюбно буркнул, что в Светозерене стоят два комбайна, а ни механика, ни главного инженера с собакой не найти.

— Я не сплю,— сердито ответил Серебров, ежась от сырости.

— Я не знаю, спите или нет, а комбайны стоят,— бросил главный агроном.

Серебров ожег злым взглядом Крахмалева, но ничего не сказал.

Сидеть в одном кабинете с Крахмалевым было тягостно. На собеседника тот не смотрел. Выбеленные солнцем косматые брови нависали над глазами. Что-то неразборчиво бурчал Крахмалев, появляясь, что-то мрачное бросал перед уходом, надевая на голову вытертую кожаную фуражку, в которой ходил весной, осенью и летом.

Сереброву казалось, что Федор Проклович имеет в виду его бездеятельность, когда с упреком говорит о том, что вот ныне хлеба многоросло, а с уборкой опять запарка, забуксовали комбайны.

С Маркеловым Сереброву было легко, хотя Григорий Федорович ему покоя не давал, гонял, но он же и веселил.

Он был в восторге от решительной хватки Григория Федоровича, его находчивости и неунывного нрава. Серебров подозревал, что в молодые годы был тот коноводом деревенских парней, драчуном и охальником.

Розыгрышами председатель «Победы» занимался иной раз в ущерб серьезным делам. Иногда Маркелову эти шутки выходили боком. В Бугрянске решил он поужинать в ресторане, но там мест не оказалось. Маркелов, решительный и солидный, протолкался к входу и молча показал швейцару уголок удостоверения общества охотников.

— Из органов. В зале вооруженный рецидивист,— со значением прошептал Григорий Федорович. Швейцар струхнул и посторонился, пропуская Маркелова.

Балагурия в ресторане с друзьями-председателями, Григорий Федорович забыл, как он проник сюда. Жестулируя вилкой, он рассказывал, как молодому милиционеру, который искал угонщика мотоцикла, он сооб-

шил приметы председателя Панти Командирова, и хохотал довольный; милиционер задержал Ефима Фомича и долго расспрашивал, куда тот спрятал мотоцикл.

В это самое время к самому Маркелову склонился человек в штатском и озабоченно спросил, где сидит преступник.

— Какой преступник? — удивился Маркелов, нехотя оторвавшись от веселого разговора.

— Опасный вооруженный рецидивист, — напомнил человек в штатском.

— А-а, — вспомнил Маркелов. — Это я пошутил.

Человек шутки не оценил.

— Пройдете, — требовательно сказал он.

— Вот видите, ребята, и тут без меня не могут, — дожевывая на ходу цыпленка табака, вздохнул Маркелов и ушел платить штраф.

Григорий Федорович был убежден, что в Ложкарях от него зависит все. Брался он за такие дела, какие были неподвластны председателю ни с какой стороны. Он ездил в милицию выручать подгулявших механизаторов, а в пору сева сам для острастки отправлял туда не выехавшего в поле севца, чтоб знали другие: с гулянкой пора кончать, кто не бросит — пеняй на себя.

Известно ему было все, что творилось в Ложкарях. Остановив степенного нудноватого директора школы Викентия Павловича, глубоко, на самые уши натянувшего шляпу, Маркелов стыдил его:

— Что же это ты делаешь, Викентий Павлович? Учительница у тебя с парнем постоит — ты уж на дыбы. То да се. Сам будто молодой не был. Пусть гуляют. Может, девка в Ложкарях остаться захочет, а ты все испортишь. С перспективой надо жить. И невесты нам нужны позарез.

— Но ребята видят, — опасливо оглядываясь, произносил осторожный Викентий Павлович.

— Ты мне что — колхоз в монастырь превратить хочешь? — резал Маркелов.

Как-то втерлась в кабинет Григория Федоровича зареванная Маруся Пахомова, его личная секретарша, и, навалившись перезрелой грудью на стол, запричитала. Выходило, что ее нахально обижает шофер легковушки Григория Федоровича, Капитон Каплин, а вот она, честная труженица, от него терпит.

— Обрюхатил он тебя или как? — вскинув взгляд, спросил напрямую Маркелов. Маруся мелко закивала

головой и зарыдала. Маркелов хмурился, соображая. Он знал: Капитон частенько ночевал у Маруси.

— Эх, парень, парень,— протяжно вздохнул Григорий Федорович, с неодобрением глядя на секретаршу.— Ну, ладно, иди.

— У тебя с Маруськой-то всерьез или как? — спросил он несколько позже Капитона, сурово нахмурившись.— Ничего она вроде?

— Вроде ничего. А вот в Лому есть Файка, ух, горяча, да только мужик у нее из тюрьмы вернулся. Телефонистка она, звонит мне: приезжай, не трусь, не трусь. А чо не трусь: мужик еще топором шваркнет,— ухмылялся белозубо Капитон.

— Ну а еще кто есть? — терпеливо спрашивал Маркелов.

— Да не знаешь разве, Григорий Федорыч, продавщица из Кунгура, да у нее ребенок.

— И у Маруськи будет,— уверенно сказал Маркелов,— раз бегаешь.

— Да и побегать, пока молод,— легкомысленно начал Капитон.

— А я думаю, хватит. Маруська, значит, ничего, ласковая? Вот обрюхатил ты ее.

— Что вы, Григорий Федорович,— изумился Капитон.— Я аккуратный.

— Знаю я эту аккуратность,— обрезал Маркелов.

После этого мужского разговора Григорий Федорович гмыкнул и приказал Капитону надеть новый костюм, белую рубашку с галстуком. Самолично сел за руль и привез Капитона к Марусе. Поставив с грохотом две бутылки шампанского посреди стола, Маркелов назидательно проговорил:

— Что, ребята, людей смешить? Жениться надо. Все сделаем бастенько, честь по чести.

Капитон хотел взбрыкнуть, но Маруся нашлась.

— Да ведь ты обещал, Капочка, жениться-то. И вот уж второй месяц,— и опять завсхлипывала.— Куда я такая-то?

— Ну вот, видишь, даже обещал,— подняв палец, проговорил Маркелов.— Мне ведь, Капа, не больно удобно. Личный мой шофер, правая рука, а вроде как поступаешь аморально. Разложение получается.

То ли слова эти Капу убедили, то ли пожалел он Марусю, то ли и сам был не против — в общем, женился. И, кажется, не раскаивался, хотя и не хвалил житье

с Маруськой. А Маруська, как выяснилось, взяла Маркелова на пушку. Не была она беременной, но вот, притворившись, что понесла, отхватила себе в мужья Капитона.

Нового главного инженера Маркелов сумел взнудать так, что за всю осень Сереброву ни разу не удавалось вырваться в Бугрянск. Правда, Серебров не очень и рвался. Ему казалось, что Надежде известно, почему он оказался в Ложкарях, что она презирает его. Как он пал, до чего докатился!

Уборка в тот год выдалась мученическая. Два месяца подряд нудное серое небо было беспросветно обложено тучами. Сыпали, лили, моросили дожди. Неделями комбайны не могли выйти в поле. Сереброву казалось, что больше уж никогда не будет сухой погоды, и неуютно, тоскливо становилось на душе.

— Будто леший в поле-то валялся,— говорили комбайнеры, показывая на леглые, перепутанные ливнями овсы.

— И не один, а с лешачихой. Один бы он так все не уполстил,— подхватывал Маркелов.— Эх, кабы гадалки верно погоду определяли, так я бы в штат главных специалистов цыганку взял, а то вон технику рвем. Нет у тебя, Гарольд Станиславович, знакомой гадалки?

Словно на болоте, вязли в поле комбайны, и главному инженеру приходилось раздобывать вторые шасси и навесные гусеницы — гонять на летучке то туда, то сюда: сплошные поломки. Лучший колхозный механизатор, круглолицый, застенчивый Ваня Помазкин, смастерил для комбайна лыжи, и вроде бы у него дело шло. На эти лыжи приезжали смотреть из области, писали о них в газете, но ведь не наготовишь лыж для всех машин, да и не много таких мастеров, как Ваня.

С грехом пополам к концу октября убрали рожь, ячмень и пшеницу. Овес остался на начало ноября. Побелевший, перестоявший — смахивали его по застылку. Всех, кого было можно, Маркелов посадил на комбайны.

— Прогноз страшный. Снегопад. Придется ночью убирать,— позвав Сереброва к себе в кабинет, сказал он.— Распорядись, чтоб летучка была готова. За руль сам сядешь. Капитона я тоже отправил на комбайн.

Массивный, неуклюжий, в валенках с галошами, в брезентовом плаще поверх полушубка, будто собравший-

ся на подледный лов, Григорий Федорович еле втиснулся в кабину, молча ткнул пальцем в стекло: жми вперед. Подъехали с черного хода к магазину, и Серебров, по распоряжению Маркелова, загрузил в кузов ящик с водкой, хлеб, в столовой принял пятнадцатилитровый термос чаю.

Всю ночь, с вечера до утра, колесили они по полям. Пересыпая поземку, завывал ветер, видно было дыхание, а комбайнеры работали.

— И как люди выдерживают? — вздыхал Григорий Федорович.— Каждый — будто сорока на колу. Когда вы, инженерия, удобные-то машины для севера придумаете?

И правда, у иного механизатора зуб на зуб не попадал, хотя одет он был в ватные брюки, работал в рукавицах.

— Концы отдаю вовсе,— простонал с комбайна круглоликий Ваня Помазкин и виновато улыбнулся в свете автомобильных фар.

— Один-то конец мне отдай,— неуклюже вылезая из кабины, откликнулся Маркелов.— А ну, спускайся, погрейся.

Ваня слез. Серебров знал свою обязанность: поднес парню ломоть хлеба с вареным куском мяса, а потом кружку горячего чаю.

— Для теплых краев комбайн делан,— жуя хлеб, говорил непослушными губами Ваня Помазкин.— Эх, гусеницы бы навесные. Не думают о нас южане. У них там тепло.

— Тяжело, Вань, но ты потерпи уж, а то снегопад обещали. Комбайн новый купим, с кабиной,— утешал Помазкина Григорий Федорович.

Серебров направлял машину по тряскому жнивью к новым комбайновым огням.

Объездив поля, Маркелов решительно ударил по колену рукой и сказал:

— На белогузовском поле, Гарольд Станиславович, сорок три гектара овса, давай-ка все комбайны туда сгрудим. Пусть домолачивают на своих местах и едут.— И Серебров вторично погнал машину к комбайнам. Метался в свете фар снежный вихрь и исчезал во тьме.

И вот они сползлись, эти измученные машины, на одном поле. Взмахом руки заставил их Маркелов выстроиться уступом. Комбайны выстроились и пошли в снежную мглу.

— Как танки на фронте,— проговорил возбужденно Маркелов, глядя на грузовики и комбайны.— Ну-ка разводи костер, Гарольд Станиславович, хоть чаем людям облегчение принесем.

И Серебров, согнувшись в три погибели, раздувал едкий дым, а надоело — плеснул бензина на тлеющие сучки. Жадно взметнулся рыжий огонь. Серебров соорудил таганок, повесил над костром ведро с водой. Ежась, стоял он, глядя в костер.

Вдруг небо загрохотало. В темной высоте преодолел звуковой барьер реактивный самолет.

— Ему хорошо,— распрямляясь, сказал Серебров.

— Д-да,— подтвердил Маркелов.— Летаем, как боги, космос покорили, а хлеб брать не можем. Когда научимся-то?

Серебров этого не знал.

В шесть утра, когда, по выражению Маркелова, поле «домозолили», в свете костра держал он речь, напрягая голос, чтоб перекричать ветер.

— Спасибо, мужики, за честный большой труд! Хлеб спасли. Это все равно что Берлин взять в сорок пятом. Спасибо! Кланяюсь вам.

И слова эти тронули чумазых, охолодавших механизаторов.

— Ура,— начал неуверенно один, и вдруг, поддержав его, рывкнули все истоиво и дружно: — Ура! — начали бросать в воздух шапки. Это ведь и вправду была победа.

— Нигде не пропадешь с вами, ребята, золотые вы люди! — крикнул Маркелов.

Когда после бессонной этой ночи подъезжали к Ложкарям, повалил густой снег, заслонивший дома, высокие сосны. «Молодец все-таки Григорий Федорович,— подумал Серебров,— спас сто пятьдесят гектаров овса».

Шли вместе. У калитки председательского особняка встретили суровую, хмурую жену Маркелова Лидию Симоновну, и Маркелов сразу потускнел. Жена у него была крупная, дебелая и многознающая, не любящая возражений женщина. Вдобавок коробили ее «некультурность» Маркелова, его неуклюжая походка, раскатистый смех. Лидия Симоновна считала это признаком невоспитанности и выговаривала ему за это.

Жену Маркелова в Ложкарях недолюбливали. Она зимой жила обычно в городе, а приезжая на лето в деревню, ходила дачницей, устраивала в магазине разнос продавщице, если та не могла раздобыть ей кримплен

или туфли на платформе. Даже человек с железной выдержкой — шофер Капитон, — вздыхая, удивлялся:

— И отколь только Григорий Федорович эдакую цацу выкопал? Это надо же. Таких я еще и не видывал.

Ему казалось, что такой всеильный человек, как Маркелов, мог бы найти супругу поласковее.

Лидия Симоновна с пренебрежением относилась к хлопотам мужа и к людям, с которыми он с утра до вечера работал. Он же любил этих ложкарских мужиков и баб, вместе с которыми выволакивал колхоз из бедности, и не хотел оставлять их.

В конторе Маркелов всегда выглядел неунывающим бодрячком. Где он, там хохот, подначки, анекдоты, а Сереброву все время казалось, что у Маркелова житье не такое уж беззаботное и веселое. Иногда Маркелов рассказывал, как крепко и несправедливо трепала его жизнь. Он не унывал — шутками бодрил себя, отвлекал от невеселых мыслей.

Во время войны старшине Грише Маркелову, весельчаку, говоруну, разворотливому малому, где-то уже в Восточной Пруссии перебило осколком ногу. Поговаривали о том, что неизбежна ампутация. Во всяком случае, носатая, с короткой седой стрижкой врачиха неodobрительно смотрела на Гришину ногу:

— Не нравится мне она, вовсе не нравится.

Маркелову не спалось на госпитальной кровати. Он представлял себя калекой-костыльником, и на душе становилось муторно. А как мечталось после победы походить с гармонью по деревням, догулять свое! Но куда он без ноги?! Только в конюхи. Всю жизнь стучать деревяшкой.

Пожилой, усатый, под Буденного, солдат, уже давно лежавший в госпитале с перебитой рукой, принимал губами свернутую Маркеловым самокрутку и нашептывал ему, что эта носатая врачиха ничего не «петрит», враз ногу отцапнет. А вот наезжает сюда главный хирург — грузин, по фамилии Долидзе, этот может спасти ногу. Ему тоже говорили, что с рукой хана, а Долидзе спас. Только бы узнать, когда тот появится. И усатый дядя Евдоким, которого в госпитале по-семейному звали Евдочкой, бродил со своим неуклюжим гипсом-этажеркой, или самолетом, как принято было тогда говорить, по коридорам, терся около входа, подкарауливая Долидзе.

— Приехал,— прошептал как-то поздним вечером дядя Евдоня.— Давай, с богом!

Со своей одной рукой он помог Маркелову добраться до лестницы и посадил его на первую ступеньку. А там уж, путаясь в халате, покрываясь потом от боли, от страха, как бы его, Маркелова, не застигли на ночной лестнице и не прогнали обратно в палату, Гриша сам пополз вверх.

Операционная была на пятом, а он лежал на втором. Около часа полз вверх Маркелов, поднимая свое тело на руках со ступеньки на ступеньку, и наконец добрался до операционной. Но тут в развевающемся халате пронесся по коридору начальник госпиталя.

— Это что за безобразие? Из какой палаты? Из пятой? Вниз, на место. Сейчас же вниз,— сердито зашипел он подбежавшим медсестрам. Маркелов понял, что с Долидзе встречи не будет. Отчаяние придало ему силы. Отбиваясь от медсестер, он заколотил в дверь операционной.

— Долидзе! Врач Долидзе, выслушайте меня! — кричал он на весь притихший ночной коридор.

— Прекратите, больной,— затряс пальцем начальник госпиталя. Медсестры и санитарки вцепились в Маркелова, чтобы поднять его к носилкам и спустить на законный второй этаж.

— Никуда я не пойду! Мне к Долидзе! — хрипел, отбиваясь, Маркелов.

Он сопротивлялся, бился о стену головой. Красный от гнева начальник госпиталя грозил ему какими-то карами. Маркелов стоял на своем. Ему повезло. Операция закончилась, появился хирург Долидзе, желтый от усталости, худой человек.

— Хорошо, хорошо. Я посмотрю. Только тихо,— сказал он. Медсестры и начальник госпиталя отстали от Маркелова.

Долидзе ногу осмотрел. Он тоже говорил, что она ему не нравится, но не так безнадежно. И тут сам Маркелов чуть не испортил все дело. Он дотянулся до кармана врача и опустил туда массивные золотые часы на цепочке — единственную ценную вещь, которая у него была. Долидзе, как ужаленный, брезгливо, двумя пальцами выхватил эти трофейные часы из кармана, бросил их на колени Маркелова.

— В таком случае я не буду вас оперировать. Вы

черт знает что делаете. Вы...— закричал он, бегая по кабинету.

— Я не знал, я не знал,— униженно тянул Маркелов.— Извините,— и опять заплакал, утираясь подолом исподней рубахи.

Правильно сказал дядя Евдоня: Долидзе ногу сохранил. Правда, осталась хромота, но на своих двоих, а не на костылях появился Гриша Маркелов в Крутенке в 1946-м. Появился шумный, веселый, с медалями не в один ряд.

Соблазнили Маркелова на должность заведующего базой, а потом избрали председателем райпотребсоюза. Изворотливый, рискованный, он дело развернул. Удачливому Григорию Федоровичу Маркелову всегда перепадало с областных баз, да и сам он не боялся ездить за покупками по соседним областям.

Большой, в белых бурках, раскатисто хохочущий, он был напорист, неукротим.

Внимание его привлекла в Крутенке новая парикмахерша по имени Лилия. Это потом он узнал, что ее зовут проще — Лида. А тогда она была Лилией, заметной девицей. Когда в ее кресло садился Григорий Маркелов, он не вставал, пока парикмахерша не совершала над ним всех возможных процедур. За стрижкой следовали бритье, компресс, опрыскивание одеколоном. Ему ли, конопатому, обхаживать эдакую голубоглазую, статную цацу, а он не спасовал.

— Хоть бы в гости меня позвала,— запрокинув голову, говорил намыленный Григорий Федорович и старался прижаться плечом к бедру парикмахерши.

— У меня мужчин дома не бывает. Я мужчинам не верю,— отвечала Лилия, обиженно замирая с бритвой в руке.

— И мне не веришь? — возмущался Маркелов, сдерживаясь, чтоб не мотнуть головой.

— И вам. Все мужчины одинаковые,— соскребая щетину с маркеловского подбородка, произносила Лилия.

— Да я для тебя что угодно сделаю,— клялся он.— На руках носить буду.

Все ему нравилось в Лилии: и культурный, не здешний разговор на «а», и уложенная светлым венцом на голове нарядная, выбеленная перекисью водорода коса, и царственное лицо. Ей бы не парикмахершей быть, а выступать на сцене. Такая видная, веселая.

О чем-то тужили люди, ругались в очередях из-за

хлеба — жизнь была послевоенная, притужная. А для Гриши Маркелова выстроилась по особому закону — легкая, как в оперетте. Чуть ли не каждый день носил он Лилии подарки. И чем был щедрее, тем добрее и доступнее становилась она.

Наконец сговорил выйти замуж. Свадьба была веселая, изобильная, пьяная. Верилось, что жизнь всегда будет такой.

Лида оказалась предприимчивой и деятельной. Она обрядила окна дома, в котором жил Григорий Федорович, в цветастый тюль. Железная кровать была выброшена, вместо нее вознеслось чуть ли не до потолка украшенное подзорами и накидушками великолепное ложе. Маркелов, не веря в счастье, очумело лупил глаза, когда видел свою Лидию-Лилию. Она к его возвращению надевала купленный в бугрянской комиссионке заграничный халат, весь прозрачно сквозной, с розовым рюшем. В нем вся она не только угадывалась, а как конфетка в тонкой обертке, была маняще видна.

— Танцуй со мной, — командовала она, включив полусвет. Маркелов кряхтел, стеснялся самого себя и ковылял под радиолу с обольстительной своей Лилией. Он знал, что обязан радовать ее разными нарядными тряпками, дорогими духами, посудой. От всего этого добрел ее голос, веселели глаза, она ластилась к нему. Для нее это было проявление любви.

Потаенно, с опаской подумывал Григорий Федорович, что не выдержит всей Лидиной фантазии его бюджет, но бодрился, веселил себя, надеясь на чудо.

Когда нагрянула в Крутенку ревизия, Григорий Федорович уже на другой день понял, что ему тюрьмы не миновать, потому что взятое в долг сплюсовалось в огромную сумму, которую ему не удалось бы выплатить, если бы он продал все, вплоть до нательной рубашки.

В Крутенку после пяти лет отсутствия вернулся Григорий Федорович постаревший, притихший и смущенный. Он догадывался, что Лидия Симоновна не скучала без него. Однако и это воспринял как справедливое возмездие.

Надо было с чего-то начинать жизнь. И Маркелов с благодарностью согласился поехать в Ложкари к Огородову кем-то вроде снабженца.

Лидия Симоновна в Ложкарях погрубела, стала ругливой. Григория Федоровича считала она обманщиком и в глаза называла каторжником. Он терпел. Он рабо-

тал не покладая рук. Он стал председателем колхоза. А отношение жены к нему не изменилось. Он пробовал прикрикнуть на нее — она кидалась в истерику.

Жаловалась Лидия Симоновна на расстройство нервной системы, на то, что все домашние заботы на ней, просилась на отдых и в конце концов уезжала, отправив сына к матери. Без нее Григорий Федорович чувствовал себя легче.

Вот тогда и началась у Маркелова двойная жизнь. Дома он был сумрачным и раздражительным, а на работе веселел, забывал семейные неурядицы.

Было ему, наверное, года тридцать четыре, когда встретил он Лизу. Совсем юной показалась ему эта застенчивая смугляночка с черными пугливыми глазами, мгновенно пламенеющим лицом. Лиза работала на сепараторном пункте.

Как-то душным, парным днем возвращался Маркелов с лугов, где ставили мужики прямежки. Работа шла ладно. Хотел он проехать из Ложкарей в Светозерену, посмотреть, как там стогуют сено, но за клубились серые облака, синий хребет леса взвалил на себя фиолетовую грозовую тучу, которая, дымясь, сползла к Ложкарям. По туче заветвились молнии. Взволнованно зашелестели листья и трава. Потом вдруг испуганно притихли. По мягкой, пыльной дороге пробежал пробный дождь, оставляя круглые, как копейки, метины. Маркелов пришпорил коня. За ним взметнулся вихревой столб, погнался ливень, рассыпав белые бусины града. Избитый градинами, мокрый, хохочущий, Маркелов вскочил в сепараторную и смущенно притих под радостным, ласковым взглядом слегка раскосых Лизиных глаз.

— Ну, как живешь, невеста? — спросил Маркелов, встряхивая мокрую кепку. Лиза вся вспыхнула и потупилась. В легком ситцевом платье, под которым кулачками топорщились девичьи груди, стояла она, не решаясь взглянуть на Маркелова, красная до слез.

— Ну иди сюда. Смотри, как дождище полосанит,— позвал он. Лиза, словно против воли, медленно подошла к нему. Стоя рядом в дверях, они смотрели, как под неистовым дождем заплывают на размокшей тропе следы, как возникают в луже маленькие короны от дождевых капель. Маркелову ударил в голову хмель от близости этой милой, застенчивой девахи. Он обнял ее, притянул к себе и поцеловал. Она не отстранилась, стояла,

потупив взгляд, и опять смуглое лицо ее запылало румянцем.

«Чего я делаю-то?» — приструнил было себя Маркелов, а встретил ее подернутые агатовой поволокой глаза и понял, что пропал. У нее вздрогнул подбородок, мелко затряслись плечи. Она ткнулась в его мокрый от дождя пиджак.

— Извини, извини,— сказал он, глядя ее по плечу.— Не реви, я ведь так.

— Я люблю, я давно люблю,— шептала она.

— Кого любишь? — опешил Маркелов.

— Известно кого — тебя.

Маркелова обдало жаром.

— Милая ты моя, цыганочка,— проговорил он и прижал ее к себе, послушную и нежную.— За что ты меня, шадровитого-то, полюбила?

— Умный, а не понимаешь,— улыбнулась она сквозь слезы.

С той поры он зачастил на сепараторную.

При виде тихой, ласковой, жалостливой Лизы у Маркелова каждый раз сжималось сердце. Вроде никогда не затрагивала его так доброта, как сейчас.

Лежа с Лизой в сене где-нибудь на опушке леса, думал Маркелов о том, что все бы отдал, лишь бы остаться с ней. Пусть бы вообще не возвращалась с юга Лидия. Но жена возвратилась, узнала о встречах мужа со смуглянкой Лизой, обругала и настыдила ее. Уехала Лиза от позора. Шли слухи, что живет она в соседней области, что вышла замуж и что не больно ладится у нее жизнь с выпивохой-мужем.

Прошло с той поры много лет. Видел Григорий Федорович Лизу только дважды. Наведывалась она в Ложкари, но была там с мужем и только вспыхнула кумачом, увидев его, Маркелова.

Приехал как-то Маркелов на Крутенский маслозавод ругаться из-за того, что занижают приемщики жирность молока. Хозяйски расхаживал по сияющему белым кафелем цеху, ждал технолога. А технолог не шел. Маркелов заглянул в кабинет и обмер. Сидела в кабинетике Лиза. Видно, боялась выйти. Он потер ручищей шею. Изменилась Лиза, уже не было девичьей легкости в фигуре, но по-прежнему пылало смуглое лицо.

— Как ты здесь-то очутилась? — проговорил он растерянно, забыв, зачем пришел.

— Вернулась вот,— ответила она, и опять его опох-

нули добротой необыкновенно ласковые ее глаза с еле заметной раскосинкой.

Он вошел к ней в узенький кабинетик, загромоздив собою чуть ли не половину его. Лиза в белом халате, белой шапочке, какая-то сияющая — сияние в глазах и в смущенной улыбке — сидела напротив. Охмелевший, он схватил маленькую Лизину ладошку, забормотал, как он виноват.

Первой опомнилась она, покачала головой.

— Чего уж убиваться-то! Все быльем поросло. У тебя сын большой, а у меня сын скоро в школу пойдет. Гришей зовут.

«Своему сыну мое имя дала», — с болью подумал он, не отпуская ее ладони.

— Пол кружится, — сказала она, отнимая руку, и торпливо заправила свои черные волосы под накрахмаленную коленкоровую шапочку. — Не надо. Кто-то идет. Давай лучше про жирность молока поговорим. Правильно вам ее снизили.

Маркелову о жирности молока говорить не хотелось.

— Эх, дурак я, дурак. Мне бы тогда все бросить, а вот поостерегся, — качая головой, проговорил он и опять попытался взять Лизину руку...

После того стали в районе замечать, что подозрительно часто заезжает Маркелов на маслозавод, причем разговор больше ведет не с директором, а с технологом Елизаветой Павловной Кислицыной. Донимал его распросами любопытный Огородов.

— Что ты, что ты, ни боже мой. Навыдумывают же. Я ведь езжу за закваской. Хорошая у них закваска. Врачи мне рекомендуют, — отмахиваясь своими лапищами от настырного «банкира», отговаривался Маркелов.

ПОМАЗКИНЫ

Настал день, когда главный инженер колхоза Серебров заявил Григорию Федоровичу о том, что ему надоело кочевое житье. Да и у Ольгина лопнуло терпение — требует освободить комнату в общежитии.

— Та-рам-па-рам, — легкомысленно пропел в ответ Григорий Федорович, и конопатое лицо его выразило решимость. Он поднялся во весь рост. — Ну что ж, поехали, — и в распахнутой по-купецки шубе вышел на крыльцо.



Капитон, развернувшись на пяточке, сорвал машину с места и вихрем пустил по дороге. С азартом, рожденным в тележный век, за «газиком», оглашенно лая, ударились бежать ложкарские собаки, но, наглотавшись бензиновой гари, пристыженно отстали и разбрелись по тропинкам.

Капитон знал все. Он остановил машину около дома Митрия Леонтьевича Помазкина, или просто дяди Мити, печника, которого председатель именовал своим заместителем по общим вопросам.

Гремя стылými подошвами, зашли в игрушечно маленький дом с покатым полом. Сладковато пахло солодом, кислой квасной гущей.

— Как живешь, заместитель? — спросил Маркелов розовощекого старика с воронено-черной, как тетеревиный хвост, расходящейся надвое бородой.

— А чо в сухом-то месте сделаецца? — ответил старик, суетливо освобождая для гостей стулья и табуретки.

— Есть ли у тебя место, Митрий Леонтьич? — спросил его Маркелов, зная наперед, что место найдется и что дядя Митя не откажет пустить постояльца.

— Как не быть-то, Григорей Федорович,— засуетился дядя Митя.— С Ванькой вместе жили, хватало, а теперь вот построился он и отделился, дак вдвоем со старухой колеем. Есть место.

Маркелов бесцеремонно прошел в переднюю часть избы, где высилась широкая, тщеславно поблескивающая никелем кровать. Над ней красовался клеенчатый коврик, на котором изображен был свадебный поезд. Кокетливые лошади с курчавыми челками легко несли кошевку с лихим сватом, белолицей невестой и усатым, но не таким усатым, как сват, женихом. Видно, напоминала дяде Мите эта купленная в базарный день картинка о жениховской поре, когда он определенно был таким же лихим усачом.

— Девки-то больно баски да ядрены,— восхитился дядя Митя и звонко шелкнул зароговевшим пальцем по второй кошевке, в которой ехали две дебелие девы с фарфоровыми лицами.

Маркелов ткнул пальцем в клеенку и сказал:

— Чур, эту мне, а вон ту тебе. Ну, так куда поселишь Гарольда Станиславовича?

— Пушай на кровати спит. Мы на печи со старухой.

— Ты тут у меня Гарольда Станиславовича-то не обижай,— все так же бесцеремонно разглядывая закутки в

доме, говорил Маркелов.— А то он еще отругиваться не умеет. В институте, видишь, промашку дают, ругаться не учат. У нас с тобой то и дело птички выпархивают, а он ведь интеллигент. Уши-то у него побереги.

— Да чо ты говоришь-то? — всерьез ужасался дядя Митя, заученно деля надвое свою черную бороду.— Кого я обидел-то? Ни в жисть. Только развеселю, буди, а так нет.

— Ну, добро. Раз ты мой заместитель, дак уж форс держи,— продолжал Маркелов.— Чтоб все было бастенько — обед, ужин. Когда надо, банька.

— Да как иначе-то, дак как иначе-то? — суетливо повторял дядя Митя.— Я всей душой. Я ведь тут за тебя, Григорий Федорович, многих наставляю, дак не слушаютьца, не слушаютьца, черти.

— Тяжело нам, руководителям, дядя Митя, да что сделаешь, до отчетного собрания терпи.

Такая манера разговора нравилась и Маркелову, и дяде Мите. Провожая гостей, в сенях дядя Митя спел Маркелову хлесткую частушку, и тот от души похохотал одобряя.

Дядя Митя оказался говорливым и непоседливым стариком. Особенно он был беспокоен, когда, сложив соседям печь или перекатав и умягчив твердые фабричные валенки, приходил домой навеселе. Под оханье жены, маленькой, тихой тетки Таисьи, он сыпал одну частушку смачнее другой.

У тетки Таисьи были по-молодому светлые, чистые глаза с расходящимися солнышком морщинками. Эти морщинки делали лицо добрым и приветливым.

— Стюваю тебя, стюваю,— сокрушалась она.— А буд-то вовсе околел ты, старик. Вот уеду к Люсе в город, дак пропадешь тут один.

Но угрозы на дядю Митю не действовали. Чувствовалось, что ни ругаться, ни страшать мужа тетка Таисья толком не умеет. Она говорила неловкие, мягкие слова, которые еще больше разжигали в дяде Мите задор и озорство.

— Слышь-ко, Станиславович, не сердися токо, расскажу, какую я песню про моего кума Целоусова пел, покуда в парнях бегали,— оттащив от инженера сеттера Валета, говорил Помазкин.— Рыжий он был, будто пехуха кокотинской, чисто огонь.

И дядя Митя, щуря не потерявшие озорного блеска

глаза, торопливо, боясь, что инженер не дослушает его, пел частушку о рыжем куме Проньке Целоусове.

— Я ведь здорово ране пел, вот теперя так не выходит, потому што зубей нету,— сокрушался он.

— Вставим зубы. Хочешь, дядя Митя, весь рот будет золотой? — говорил Серебров.

— Да нет, мне подешевле,— скромничал дядя Митя.

— Я к отцу вас свожу, а там, как участника войны, в госпиталь, и зубы сделают.

— Ух, ядри твой,— вырвалось у дяди Мити восхищение.— Тогда мы с тобой, Станиславич, погуляем, с зубям-то.

Серебров смеялся, а дядю Митю подмывало отчебучить еще что-нибудь позабористее, и он нашептывал на ухо бывальщины про своего кума Проньку Целоусова, которого «на войне ранило, сказать, дак никто не поверит, в секретную принадлежность, но лютости по женской части Проня не потерял».

— А одинова он в город поехал. Масло надо было продать. Денег-то тогда, вишь ли, не давали. И вот взял он кило масла с ледника,— продолжал нашептывать дядя Митя.

Тетка Таисья начинала охать и стонать еще сильнее, заглушая рассказ о лютном Проньке Целоусове.

— Хватит, дядь Мить, хватит,— понимая, что от памятливого старика не спастись, охлаждал его Серебров.— Тут мне надо разобраться с запчастями и списанной техникой,— и, сделав сосредоточенное лицо, уходил в переднюю комнату, где стоял хлипкий столик. Валет, постукивая когтями, шел следом и умиротворенно ложился около ног хозяина.

Дядя Митя, томясь без слушателя, кряхтел, вздыхал и говорил обиженно:

— Когда так, дак к Ване схожу.— Видно, надо было выговориться, а здесь воли ему не было. Дядя Митя уходил, скрипя литыми галошами по морозу. Тетка Таисья, тихо вздыхая около печи, слушая по радио про войны и перестрелки, шептала:

— Ой, скоко бедного народу гинет да страдает.— Она сочувствовала всем и всех жалела.

Дом дяди Мити был не таким удобным, как казалось поначалу. Гусеничные тракторы сокрушали своим громом его стены. Гулко, как пустые бидоны, гремели самосвалы, с крыши до завалины осыпали они

дом снежным прахом. Серебров, даже наездившись по участкам в «газике», намерзшись на заснеженных машинных дворах, ночами долго не мог уснуть: будили его беспокойные блики, бродившие по стенам и потолку, гул поздних машин. Он лежал с открытыми глазами и размышлял о своей жизни. Вот и попал он на то дело, к которому готовил его институт и к чему он вряд ли готов. Может, не надо было соглашаться ехать в «Победу»? Может, следовало попроситься в ту же крутенскую Сельхозтехнику, где бы он занимался тихой сидячей работой? Там выждал бы момент и уехал в Бугрянск. А может, и к лучшему, что он попал сюда? Последняя возможность узнать, на что способен.

Вспоминалась Надежда, и еще отчетливее понимал он несбыточность своей мечты затащить ее в деревню. Не мог он представить ее сельской жительницей. Обиду и горечь вызывали и мысли о Вере Огородовой. Кто больше всех презирал его — так это она. Вера даже не здоровалась теперь с ним при случайных встречах.

Уроки Шитова сказывались — Григорий Федорович Маркелов поворачивался лицом к культуре: достроил школу, закладывал новую столовую. Чтоб подбодрить Григория Федоровича, Шитов привозил к нему гостей за опытом. В зимние каникулы роно затеяло провести в Ложкарях семинар учителей. Маркелов должен был там держать речь о том, как он заботится о школе. Чтоб успеть подsunуть на подпись председателю бумаги до начала совещания, Серебров отправился в новое школьное здание. В фойе толпились участники семинара, и среди них он сразу увидел Веру. В шерстяной кофточке, сапогах-мокасилах, она стояла около стенда и что-то записывала в блокнот. Надо было проскочить мимо, а он остановился.

— Здравствуй, Вера,— несмело проговорил он с неожиданной хрипотой в голосе.— Как Танечка?

Вера повернулась к нему. Лицо строгое, непроницаемое, в глазах холод.

— Вежливый ты человек, Гарольд Станиславович,— сказала она почти с похвалой,— даже интересуешься.— И вдруг голос у нее пресекался:— А какое тебе дело до нее? Что ты к нам вяжешься?

— Ну как...— не зная, куда деть глаза, озадаченно проговорил он.

— Дочерью считаешь? Лучше выкинь из головы все это. Не страдай,— обрезала она и, справившись с собой,

замкнутая, неприступная, пошла к англичанке Ирине Федоровне, стоявшей в кружке учителей из Ильинского.

Серебров сделал вид, что поговорил с Верой Николаевной спокойно и что встреча огорчения ему не доставила. Но дело испортил дядя Митя. Между мужчинами и женщинами старик признавал отношения только одного рода: если видел своего постояльца с приехавшей из райсельхозуправления агрономшей или корреспонденткой газеты, обязательно спрашивал:

— Ухажерка твоя?

— Да что ты, дядь Мить,— тряся руками перед помазочной бородой, негодовал Серебров.— Разве не может быть делового разговора?

— Кабы я тебе поверил,— хитро шурился старик. И в этот раз, придя к директору школы насчет кладки печи в теплице, дядя Митя оказался верен себе.

— Вера-то Николаевна, что, сударушка твоя? Глико, у тебя на лице румяна заиграли и у нее тожо. Баская ведь она,— сказал он.

— Ну брось ты, дядь Мить, надоело,— зло взмахнув накладными, крикнул Серебров и выскочил из школы.

— Не обидься, не сердись токо, я ведь спроста. Больно баба-то хороша! — вдогонку крикнул дядя Митя. Сереброву показалось, что слова старика слышали все: и Вера, и Ирина Федоровна, и другие учителя, и инспектор роно Зорин. Услышали и, конечно, посмотрели ему в спину с осуждением.

«Зачем я вяжусь? — корил себя Серебров.— Отрезанный ломоть. Сам себя отрезал, и уже к краюшке не прилепишь, а я...»

Жить постояльцем у дяди Мити Сереброву в конце концов надоело. Не терпелось перебраться в свою квартиру. Казалось, одному будет ему вольготнее и спокойнее, но переезд зависел от того же дяди Мити. В доме не было печи.

Серебров вновь пообещал дяде Мите позаботиться о вставных зубах, если тот ему сложит печь вне очереди.

— Я ведь баско кладу. Мне говорят: поди, словинку какую знаешь? Дак и знаю, но не скажу,— похвалялся дядя Митя, надевая выбеленный стирками солдатский бушлат сына.

По следу, тореному в рыхлом снегу клееными дяди Митиными галошами, они прошли к промерзшему брусковому дому. В нем звучно потрескивали стылые половицы. Чувствуя свое всесилье, дядя Митя солидно вы-

сморкался, по очереди зажимая то одну, то другую ноздрю, и спросил, наперед зная, что толкового ответа от постояльца не получит:

— Дак каку печь, хозяин, класти?

— А разные, что ли, бывают? — прохаживаясь по гулким от пустоты комнатам, легкомысленно спросил Серебров.

Дядя Митя негодуяюще хлопнул себя по брезентовым коленям. Ему, наверное, еще ни разу не приходилось встречать таких бестолковых заказчиков.

— Дак как жо, ученый человек называешься, а про печь не слыхивал?! Могу скласть обыкновенную русскую, могу «галанку», могу фантомарку, могу русскую с подтопком. Какая глянетца-то?

— А может, камин? — спросил Серебров, чтоб подвести Помазкина. — Я куплю трубку, поставлю перед камином два кресла, и мы с тобой, дядь Мить, будем сидеть и петь песни.

Однако дядю Митю это не обескуражило.

— Могу я и камин, только хреновина это: уголь выпрянет, дак сучинится пожар. Спалишь дом-от.

— А ты уж так сделай, чтоб безопасно, — сказал Серебров. — С решеточкой.

— Видал я в Германье в богатых дворцах такие печи. Не глянутца они мне. Чистое небо топи. А у печи какая главная заслуга? Чтобы тепло держалось. Печь ведь она, как красно солнышко, обогреть должна, — начал философствовать Помазкин. Он подошел к окну и, показывая брезентовой рукавицей на Ложжари, сказал: — Вишь, сколь труб дымит? Моимям рукам кладены.

В это морозное утро чуть ли не из всех труб поднимались белые столбы дыма. Впечатляющая была картина.

«На дыму старик славу себе сделал», — рассмеялся Серебров, добрея.

— Не веришь? — обидел этот смех дядю Митю.

— Верю, верю, — поторопился согласиться Серебров. — Делай, дядь Мить, обычную, простую, чтоб тепло было.

— Мотри, назад покойника не ворочают. Я ведь ходко делаю. Меня никто не обостигот. Ломать не стану, — предупредил дядя Митя. — Ну, дак волоки камня-то.

Пришел им на помощь сын дяди Мити Ваня, круглолиций, с крутой шеей, необычно моложавый и улыбочный человек.

Видя отца и сына Помазкиных вместе, Серебров всякий раз дивился тому, как они не похожи и одновременно похожи один на другого. Дядя Митя был черный, а Ваня светлый, у дяди Мити речь — пословица на пословице, частушки да поговорки, а Ваня сыплет сокращениями — «КИР-полтора», «АВМ» — и недоумевают, когда у него спрашивают, что это такое. Ему-то понятно. А приглядишься: Ваня, как и дядя Митя, всегда склоняет голову налево, держит руку в кармане. И слова у Вани соскакивают с языка так же быстро, автоматными очередями, как у отца. В отличие от дяди Мити Ваня был скромница и никогда не хвалился, хоть на нем держалось все механизированное хозяйство не только Ложкарского участка, а пожалуй, и всего колхоза «Победа». Правда, вначале он показался Сереброву тоже любителем прихвастнуть.

Серебров с институтской поры носил в себе непоколебимое убеждение, что вся современная сельскохозяйственная техника — это если не верх совершенства, то вполне надежная штука, и Ваня Помазкин не понравился ему, когда, осмотрев новенькую, только что сгруженную с машины жатку, с пренебрежением бросил:

— Обломал бы руки тем, кто ее делал.

Серебров, довольный, что выпросил у Ольгина эту сияющую краской машину, вспылил:

— Ну ты, видать, вовсе заелся!

Ваня на возмущение инженера внимания не обратил.

— Окно-то выброса почто они такое маленькое прорезали? Ведь чуть роса — и забьет его,— очередью выпалил он свое недовольство.— И захват всего четыре метра, а не пять. Сколько я на этой четырехметровке за уборку потеряю? Вместо сотни — восемьдесят уберу, а дальше-то — куда это уведет?

Сереброву показался Ваня придирой и крохобором. Все у него подсчитано. Спасибо сказал бы, а он...

В мае, когда пошли в рост яровые, Сереброву удалось вымолить у Ольгина первый в Крутенском районе красавец комбайн «Колос». Ваня, которому досталась эта машина, радости не выказал. Щелкая заслонками, он придиричиво его осмотрел и, вместо того чтобы расстроганно пожать главному инженеру руку за такой подарок, выпалил:

— Масляная система-то слабовата, и транспортер забарахлит. Менять надо на скребковый.

— Ну уж ты, Вань, дуришь,— возмутился даже Маркелов.

— Дак чо я, не вижу? — проговорил спокойно Помазкин.— Вон глядите,— и открыл заслонку, но Серебров с Маркеловым ничего не увидели.

— Терпеть выскочек не могу,— кипя, сказал Серебров Маркелову, но так, чтобы слышал Ваня.— Может, кому другому комбайн отдадим?

Маркелов молча погрозил пальцем: подожди, мол. А Ваня, осматривая комбайн, ворчал, что он, конечно, если бы его воля, бункер сделал бы побольше, а кабину переставил совсем от другого комбайна. Та удобнее. Потом на землю постелил телогрейку и полез под машину.

А Серебров был возмущен: таких зазнаек он еще не встречал.

Ваня, лежа под комбайном, забыл о них с Маркеловым.

— Ты зря, Гарольд Станиславович, это у него не от зазнайства,— сказал Маркелов, отмахиваясь капроновой шляпой от надоедливой осы.— Насквозь он машину видит. Руки у него дороже золота, а голове цены нет. Скажи ему: сделай, Ваня, самолет,— сделает. Ей-богу! И комбайн бы сам сделал лучше этого, чтоб и по болоту, и по горе ходил.

Серебров не заметил, как неприязнь к Ване Помазкину сменилась влюбленностью. Когда это произошло, он бы и сам не сказал.

Около персонального Ваниного чумазого сарая, солидно прозванного мастерской, было, пожалуй, оживленнее, чем в мастерских Сельхозтехники. Приезжали сюда и свои колхозные механизаторы в выгоревших замасленных пиджаках, и принарядившиеся чужие механики, просили Ваню то об одном, то о другом: сварить ось, послушать мотор, переделать жатку. И сам Серебров, инженер с высшим образованием, шел прежде всего к Ване посоветоваться, стоит ли покупать туковую сеялку или жатку.

В свое время, соблазнившись броскими рекомендациями, выклянчил Григорий Федорович Маркелов в Сельхозтехнике немало разных машин и приспособлений. Многие из них теперь были стыдливо загнаны в самый дальний угол машинного двора. О них вспоминали, когда приходила пора сдачи металлолома, или весной, в пору ремонта техники. Многих механизаторов интересовало одно: нельзя ли взять какую деталь, отвинтить

гайку? Ваня тоже добрался до этих машин, но он из опозоренных, приготовленных к сдаче в утиль, опаленных ржавчиной механизмов создавал новые машины.

Сереброва поразило самоходное шасси, которое смастерил Ваня.

— А чо? — говорил тот с пренебрежением о своем изобретении.— Шасси от списанного самоходного комбайна взял, днище — от старой тракторной тележки, а борта — от кормораздатчика. Теперь это самоходный кузов. Весной для семян можно применять, осенью — для ссыпки зерна, если машина долго к комбайну не придет. А навесь жатку — и отдельно можно убирать побыстрее, чем комбайном.

— Как ты это придумываешь? — удивлялся Серебров, с недоумением глядя на моложавого, круглолицего Ваню.

— Ну, дак я ведь с восьми годов около техники. Меня по бряку в карманах всегда в деревне угадывали: раз железо звенит, значит, я иду,— просто объяснил Ваня.

Серебров упречно думал, что далеко ему, дипломированному инженеру, до этого кудесника. А тот за собой заслуг не замечал и ругал комбайностроителей.

— Ты вот конструкторов, Гарольд Станиславович, хвалишь,— с осуждением говорил он, выкладывая из сумки нехитрый свой обед,— а я на них в обиде. Для степей они работают, а нам, северянам, пока ничего толкового не сделали. Нам такие комбайны и трактора нужны, чтоб, как мухи, по потолку бегать могли и в болоте не тонули. А где такие есть?

Ваня неторопливо попивал прямо из бутылки молоко, отставлял ее и, вода для наглядности в воздухе огромными, с вьезшейся чернотой пятернями, вдруг начинал вслух соображать, как можно было бы увеличить производительность жатки:

— Всего-то: переделать эксцентриковое колесо, угол наклона резательного аппарата увеличить да окно выброса побольше сделать. И будет порядок.

Серебров напряженно слушал и не мог ухватить, какую хитрость хочет учинить Ваня с этим эксцентриковым колесом.

— Эх ты, Ньютон Галилеевич, да почему ты думаешь, что скорость увеличится? — спрашивал он.

Ваня недоуменно взглядывал на главного инженера.

— Неуж непонятно? — и, оставив на газете недоеден-

ный свой обед, шел к жатке.— Будет она, как миленькая, по семьдесят гектаров валить, будет.

И действительно, переделанная жатка работала чуть ли не втрое быстрее заводской.

«Образование бы ему, был бы он Туполевым в комбайностроении»,— с теплотой думал о Ване Серебров, сидя в прохладном помазкинском сараюшке, где запах железа мешался с запахом солярки, где висели на стенах дрели и приспособления для резки заклепок.

В деле Ваня забывал о себе, о еде и о молодой жене. Страду называл Ваня свадьбой. Комбайнеры знали: он обязательно выгадает точный срок выезда в поле и определит, раздельно или напрямую лучше косить нынче хлеба.

— Ну, скоро свадьба-то? — выпытывали они у Помазкина.

— На зуб брал, дак молочко есть в зерне,— отвечал Ваня.— Еще надо съездить на Филин угор.

Когда начиналась жатва, Помазкин ел на ходу. Рвал батон, щипал левушкой волокна холодного мяса и кроил, кроил круглое, налитое, как блюдо, яичной ржаной желтизной поле. Брился в эти дни Ваня Помазкин только в тех случаях, когда приезжали фотокорреспонденты. Он отмахивался от них, слезать не хотел с комбайна. Когда фотографировали, смотрел с досадой в поле: не успел клин дожать. И эту досаду ни улыбками, ни шутками не удавалось согнать с его лица. И с Доски почета, установленной возле Крутенского Дома Советов, он смотрел с таким же досадливым выражением лица.

Жена его, дебелия Антонида, работающая счетоводом, на Ваню обижалась. Сколько слез пролила, пока уговорила его уехать от стариков. Вот добилась, стала хозяйкой, старается: все выметено, выскоблено в доме, стол белой скатертью покрыт, включен проигрыватель — сладкий голос поет про любовь, а Вани нет.

Антонида выходила на крыльцо. Замирала, прислушивалась. Вроде тихо. Нет, где-то вдали стрекот комбайна. Наверное, ее чокнутый Ваня жнет ячмень. Остальные под боком у своих жен отдыхают, а он жнет. На глаза навертывались слезы. И может ведь не прийти. Соснет в поле час-полтора, плеснет в лицо водой, сбросит с себя телогрейку, чтоб утренняя свежесть не давала задремывать, и опять на комбайн.

Один раз пришла в поле, а он, раскинув руки, лежит на соломе, и даже ватника под головой нет. Знать, до

того наработался, что домой не может идти. Антонида стала на колени и долго глядела в смутно белеющее Ванино лицо. Похудел, зарос.

— Чокнутый ты, Вань, чокнутый и есть,— проговорила она.— Долго ли живем-то, а про меня уж забыл. Что я есть, что меня нет. Говорили мне, что ты эдакой, да я не верила. Видно, я для тебя как чурка с глазами.— И посыпались крупные, как первые ливневые капли, Антонидины слезы на Ванино лицо, шею. Он обалдело вскочил: неужели дождь?

— Ничего ты не понимаешь. Уборка — это, знаешь, как свадьба. Плясать — дак до упаду, а не одной ногой для виду топать. Ясно? — сказал ей сердито. Но Антониде ясно не было. Она всхлипывала. Ване становилось жалко Антониду.— Пусть отдохнет,— говорил он о комбайне, как о живом существе. Ему казалось, что, поостыв, наберется машина сил. Он цеплял телогрейку пальцем за петельку, виноватый, брел за женой к дому и казнил себя. Вон какая ладная у него Антонида, белая, полная, сдоба на сметане, а он домой не торопится.

— Вдруг задожжит,— виновато говорил он, но Антонида, почуяв Ванину покорность, не откликаясь, шла обиженно и гордо. Твое, мол, дело, как знаешь. Ежели так, я стану без спросу в клуб ходить, а там танцы, шефы вон приехали. Городские парни — один к одному.

Пока Ваня ел, Антонида, сложив руки на груди, скорбно качала головой.

— Чокнутый ты и есть. Будто припадочный. Вот расшибет тебя кондрашка.

— Ты брось! С моим комбайном, знаешь... — не сомневался Ваня.

— Тьфу ты! Вот иди и милуйся со своим комбайном,— сердилась еще пуще Антонида, взбивая подушки. Ваня любовался ее полными руками, закинутыми над головой, жена вытаскивала из волос шпильки.

— Да ладно уж, царевна конторская,— утихомиривал он свою непреклонную Антониду, затягивая ее в полог, который подвешен был в сенках над кроватью.

Часа через три, оставив спящую Антониду, Ваня выпутывался из полога и на цыпочках выбирался на крыльцо. Там устало кособочились белесые от пыли сапоги. Если не было росы, он, стараясь не скрипнуть, не брякнуть, обувался и, глухо стуча по земле каблуками, дул прямиком к «Колосу».

В конце страды неизменно оказывался Ваня Помаз-

кин лучшим в районе, да и в области был если не первым, то вторым. Тут уж чокнутым его Антонида не называла. Приятно, когда муж такой знаменитый, когда пишут о нем чуть ли не в каждой газете, показывают его по телевизору. А к тому же — грамоты, премии, ордена. И она ведь не чурка с глазами — ему помогала, кормила его, обстирывала. Антонида плыла в контору степенно, будто боялась растрясти Ванин авторитет.

А он оставался прежним Ваней. Трудно было поверить, что это и есть известный на всю Бугрянскую область комбайнер: больно молод да прост. Улыбка стеснительная, будто он вину чувствует за то, что работал проворнее других.

— Ты, Вань, не забывай, что лучший. У тебя орденов больше, чем у Григория Федоровича, а ты стоишь жмешься. Да ты грудь колесом и гляди, как генерал, — поучала его Антонида, поправляя отяжелевшие от награда лацканы его пиджака.

— А-а,— отмахивался Ваня.— Я лучше бы еще неделю отбухал на комбайне, чем на совещаниях-то речи читать да по телевизору показываться.

Ваня Помазкин был мастером на все руки. И антенну к телевизору ставил такую, что принимал телевизор программы без помех, и баню умел топить лучше других, и, наверное, печь мог бы сложить не хуже отца, но не хотел ущемлять его гордость. И когда клал дядя Митя печь в квартире инженера Серебров, Ваня в само дело не вмешивался — они с Серебровым носили теплую воду, разогревали и размешивали глину, подавали кирпич.

Дядя Митя работал споро.

— Артист, фокусник,— подтрунивал Серебров, но дядя Митя на шутки не отвечал. Он был в часы работы необыкновенно сосредоточенным, скупым на слова. Только коротко бросал время от времени:

— Дай-ко вон тот камень. Да не тот, садова голова, а вон тот.

В одиночку работал дядя Митя, а загонял их. Они не ходили, а бегали: надо было то вновь заводить раствор, то искать колосники, то поспешать с ведрами за горячей водой в Ванину баню.

Вначале они поживались от холода: мало давал тепла электрический рефлектор, да и снизу, из-под пола, в зияющий квадрат, оставленный для печи, дуло. А потом стало им жарко, и Серебров, сбросив капроновую куртку, бегал в одном свитере.

На другой день к вечеру, когда окна порозовели от закатного солнца, дядя Митя сделал затирку. Печь высилась бурой громадой. Для проверки тяги ее затопили. Выфукнув клуб дыма, она сразу стала держать ровный огонь. От боков пошел пар. Серебров смотрел на помазкинское сооружение с почтением.

— Есть матушка-печка, дак и не нужна овечка,— произнес с облегчением дядя Митя. Опять, видно, к нему вернулось красноречие. Он обличительно начал говорить о том, что иные делают дымоход прямой, как оглобля, тогда тепла не жди, а вот у него ни одна жаринка из трубы не выскочит.

— Никто не жаловался, и ты в обиде не останешься,— заключил он, обмывая с рук чешуйками присохшую глину.

— Ты заправду-то руки не мой,— предупредил Ваня отца.— Айдайте ко мне, банька готова.

Когда Серебров прибежал в баню, Ваня Помазкин, уже вымывшийся, красный, сидел в теплом предбаннике в валенках, шапке, трусах и всю резал на гармони топотуху. Слышно было, как за банными дверями нещадно хлещется веником и, шепелявя, поет частушки дядя Митя.

Иногда и Ваня, вскинувшись, тоже ухарски отрывал частушку, но без такого азарта, как отец. Тут явно дядя Митя сына забивал: он знал невообразимое количество всякой озори, и она из него так и перла.

Сереброву было приятно и весело париться с Помазкиным в бане, пить квас, слушать охальные частушки и чувствовать себя до мозга костей своим, деревенским человеком, понятным и себе, и этим людям.

— Кабы лето, дак я бы на пруд сбегал, обкунулся, а теперя в проруб-то опасно,— сказал дядя Митя, отжимая мокрую бороду, и вдруг вскрикнул: — Ох, мы с Прокофием дружки. Да нас не любят девушки...

Так они сидели в предбаннике, пели и умилялись полноте счастья, когда постучала в дверь Антонида:

— Эй, печники, запарились или чо? Пельмяни стынут! — крикнула она веселым голосом. Видно, и до нее долетело пение. И они, распаренные, облегченные, пошли в Ванин светлый дом на «пельмяни».

МАРКЕЛОВСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

В колхоз «Победа» бугрянские телевизионщики и газетчики, авиаторы, работающие на подкормке озимых, мелиораторы ехали с охотой. Григорий Федорович Маркелов слыл хлебосолом. Этот на магазинном, завлекательно разрисованном, но обрыдлом «Завтраке туриста» командированного человека не оставит.

— Зачем жалеть копейку, когда она даст рубль? — любил повторять Григорий Федорович своему главному бухгалтеру, лысому, опасливому Аверьяну Силычу. У того глаза на одутловатом лице, как изюмины в куличе, сидели глубоко и смотрели настороженно. — Не жмись, не жмись, сделай все бастьенко, — наставлял его Маркелов, и бухгалтер, вздыхая, уходил «делать все бастьенко».

Умел Григорий Федорович расположить к себе директора Крутенского лесхоза, суетливого Никифора Суворцева. В зависимости от надобности раз, а то и дважды в год подкатывал Маркелов к дому Никифора ни свет ни заря и поздравлял директора с днем рождения или Днем работника леса. Капитон оставлял в прихожей ведро меда, а сам Григорий Федорович, облобызав еще лохматого со сна, щетинистого Никифора, вручал ему дорогую бритву или транзистор и приговаривал: «Ходи баской да гладкий». Или: «Душу музыкой весели, Никиша».

Выписывая участки на разработку леса, Никифор сам выбирался в бор, чтобы определить делянку для «Победы». Там с радостью обнаруживал Григорий Федорович прекрасный строевой лес. А Пантя Командиров, заехав в чахлый березовый карандашник, плевался. Ну, удружил Никифор!

Всегда желанным посетителем был Григорий Федорович у управляющего банком Николая Филипповича Огородова.

— Научи ты меня ради бога, как тебя эдак бастьенко-то обмануть? — прибедняясь, лукаво спрашивал Маркелов.

— Какие у меня хитрости? Что ты, Гриша? — придуривался Огородов, и оба раскатисто хохотали, понимая, что они друг друга не обидят.

Пантя Командиров сердился и робел при встречах с Огородовым, от обиды не мог сдержать запальчивости.

Огородов насмешливо выслушивал Пантю и отказывал там, где для Маркелова была бы зеленая улица.

Сереброву нравилось, что Маркелов такой хваткий, веселый, разудалый, и он старался показать председателю, что тоже может быть сообразительным и расторопным. Григорий Федорович вроде ухватил это. Как-то, тоскливо глядя в окошко своего кабинета на кроны сосен, Маркелов вздохнул и спросил главного инженера:

— Дак нет никого у тебя своих-то на «чугунке»? Ну а может есть знакомые у знакомых? — пытал Григорий Федорович, все так же грустно глядя в окошко. — Ты вспоминай.

Серебров вспомнить не мог.

— Ох, ох, ох, — вздохнул Маркелов. — Живешь — колотишься, идешь — торопишься, ешь — давишься, когда поправишься. — И, вдруг вскочив, крикнул через открытую форточку Капитону: — Закладывай кобылу, поедем.

На этот раз он взял с собой в Бугрянск главного инженера.

Поначалу Сереброву показалась примитивной и даже забавной в бугрянских приемных неуклюжая фигура Маркелова, старающегося играть непосильную для него роль галантного человека. В облплане холеная презрительная секретарша равнодушно перебирала бумаги, шуточки слушать не желала: много тут вас, острословов! Маркелов положил перед секретаршей плитку шоколада с дымковской игрушкой на обертке.

— Испробуйте, наш колхоз делает. Молочный, со сметанкой шоколад. Долго осваивали...

Секретарша пренебрежительно покосилась на «самодельную» шоколадку, хмыкнула, но любопытство взяло верх. И хоть председатель про колхозный шоколад врал, подобрела к нему, утратила свою неприступность, пропустила к занятому шефу. Должен был выбить у шефа Маркелов наряд на трубы, кирпич и плиты. Но ведь начальника шоколадкой не возьмешь. Тут Маркелов ударил цифирью, которую они вместе с Серебровым придумали в электричке.

— У нас в колхозе три гектара полов, три гектара потолков — и все деревянное. А дерево гниет, свиньи полы грызут. Нужны нам аморфные материалы: помогите плиткой, кирпича бы надо, — закинул Григорий Федорович удочку. Цифры вызвали в усталых глазах шефа интерес.

— Ну, ну.

Вышел в приемную Маркелов повеселевший, хотя плит не получил. Отломилось сто тысконок кирпича, но на третий квартал. Не тот срок. Надо бы в первом квартале, чтобы лучшее для строительства время не пропало.

Серебров вдруг понял, что Маркелов — не примитивный доставала, не проситель в обычном, приземленном понятии этого слова, а вдохновенно играющий актер. У него был наметанный глаз. Он с ходу чуял человека, от которого ему может что-то перепасть.

В областном объединении Сельхозтехника, где намеревался Маркелов клянчить трубы, все уперлось в молодого, с вставным глазом инженера Виктора Викторovichа Гонина. Тот хмурил невысокий лоб, упирал взор в потолок и морщился: затруднение было непреодолимым. Однако Григорий Федорович, похожий в своей белой шапке на индийского магараджу, но магараджу разжалованного, понимал, что тут должно «отломиться». Он жалобно тянул:

— Ну, сыночек, выписали мне три тонны. На базе две уморзили, а мне эти две край нужны.

Виктор Викторovich уводил взгляд, опять хмурил лоб. Сереброву подумалось, что высоким мастерством обладал художник, изготовивший протезный глаз. Протез гораздо яснее выражал характер хозяина, чем природное око. Живое это око было стеснительно потуплено, в стеклянном же светились хитрость и прожженность, ни слезой, ни лестью не пробиваемое равнодушие.

— Нет у нас водопроводных труб, а на нет суда нет, — печально качнувшись на стуле, сказал одноглазый Виктор Викторovich. Здоровый глаз отразил печаль, а в протезном сверкнуло злорадство: может, и есть, но не для вас.

Маркелов катнул, как пробный бильярдный шар, расхожий анекдот про Волчицу и Зайца из серии «Ну, погоди!». Конечно, не очень свежий, с бородой, но ведь пробный. Парень ухмыльнулся равнодушно сказал: «Смешно», однако не рассмеялся. У Сереброва после этого пропала бы всякая охота веселить парня, тем более что этот Гонин определенно мог выдавать такую свежатику, какая Маркелову не снилась. А Григорий Федорович не сдавался, выпытывал, знает ли Гонин анекдот о трех желаниях влюбленного? И рассказал, и сам захотел, потирая руки.

— Д-да, смешно,— опять сказал скучно Гонин, покосившись в окно. Нудные были посетители.

Серебров, уставший от хождения по приемным, отупевший от разговоров об одном и том же, понял, что на этот раз Маркелову труб не видать.

— Пойдемте, тут все глухо,— шепнул он на ухо председателю, когда Гонин приник к телефонной трубке, но Маркелов уходить не собирался: каким-то глубинным, артезианским чутьем он понимал, что трубы есть.

Отчаявшись расположить одноглазого инженера анекдотами, Григорий Федорович «пустил слезу».

— Спаси, сыночек, горю,— приbedнялся он, терзая шапку.— Надо коровник пускать, а водоснабжения нет. Трубы меня режут. Понимаешь? Мне всего-то ничего надо — сто пятьдесят метров.

— Нет лимитов,— привычно повторил Виктор Викторович.— Мы же не КамАЗ, нас вне очереди не снабжают, дают такой мизер, что мы уж все давно расписали по пусковым объектам.— Здоровый глаз, стесняясь, потупился. Протезный смотрел прямо и насмешливо.

— Да вы понимаете, какая штука, я уж откроюсь: согрешил на старости лет,— придвинувшись, зашептал Маркелов.— Надо было школу пускать, а паровое отопление не смонтировано, я забрал трубы, которые Бурводстрой на зиму оставил. Думал, забудут, не вспомнят. Вспомнили. Спрашивают: кто взял? Маркелов. Маркелова за штаны и в райком партии. А там Шитов — человек принципиальный: за неделю не найдешь трубы, партийный билет на стол. И я им с коровника снял, понимаешь? А коровник-то уже считается пущенным. Молочко должен давать. Ну, научи, дорогой, как, где, я в долгу не останусь. Сделай бастенько.

Хитрость Маркелова была старой. Он уже давным-давно рассчитался с Бурводстроем и коровник пустил, и выговор износил, а слезную историю о взятых по великой нужде трубах все еще держал на вооружении, потому что предстояло поставить коровники на других участках.

А одноглазому тоже вдруг захотелось с себя свалить вину на кого-то другого, чтобы смягчить отношения с просителями.

— И мы ведь ходим под богом. Ну вот, окажись у меня лимиты, хотя их нет, и дай я вам их, меня перво-наперво начальник отдела взгреет. Геннадий Петрович Рякин строг. Очень строг.

Серебров подскочил от неожиданности. Маркелов весело крутнул головой, услышав знакомую фамилию. Генка Рякин — начальник отдела? Серебров думал, что тот перебирает где-то ненужные бумаги, а он, оказывается, сидит у дефицитных труб. И как он, Серебров, сразу не догадался пойти к нему?

Генка Рякин, которого в институте не принимали всерьез, который всегда был хохмачом, оказался нужным и влиятельным человеком. Серебров взял у Маркелова бумаги и пошел искать Рякина.

— Войдите,— раздался пропитанный служебным холодком голос.

В узеньком кабинетике Серебров увидел округлившегося, сытенького, внешне переменившегося Генку Рякина.

— Гарик! — крикнул тот и выскочил из-за стола — Рядом живем, а не видимся. Ты в колхозе, я слышал. Зачем?

Рякин никогда не отличался деликатностью. Он напрямую требовал сказать, на чем погорел Серебров, если из райкома комсомола его задвинули в колхоз.

— Хочу испытать себя в деле,— привычно ушел от объяснений Серебров.

— Не заправляй арапа, «испытать себя в деле»,— передразнил его Рякин.— Эх, а помнишь, как мы чудили в Крутенке? — и захохотал. Смех у него был прежний, оглушающий. Все помнил Серебров: и как чудили, и как удрал Генка, не забылось. Рякин же об этом вспоминать не стал. Как в былые дни, перейдя на гулкий шепот, посвятил Сереброва в очередной куцей командировочный роман: у-у, была знойная женщина и даже не хромая! Для него жизнь была по-прежнему вереницей веселых, порой фантастических приключений.

С трубами все решилось. В «загашнике» нашел Рякин припасенные на «черный день» метры. У Виктора Викторовича Гонина, который благодаря Рякину оказался просто Витей, даже вставной глаз потерял оптимистический блеск, когда Серебров положил на стол подписанный начальником наряд. Хотелось позлорадствовать, отомстить Вите Гонину за унижение.

— Где совесть? Блатники вы, а не работники. Вот ведь развелось племя. Паразитируют на несчастьях, улитки, печеночные сосальщики! — разошелся Серебров.— Государственное, а отдают. как свое кровное, тьфу!

— Не надо обижать,— успокаивая, по-христиански призывал Маркелов своего инженера к всепрощению.— Рука дающего не оскудеет. Не последний раз зашли мы сюда. Поругайся с ним, а он потом уморщит, ей-богу уморщит, недодаст.

Серебров поехал к отцу и матери. Вот и родной дом. Серебров увидел окна своей квартиры, и что-то стронулось в его груди. «Ох, старик, милый старик!» — подумал он об отце, увидев между рамами таблицу первенства страны по хоккею, портрет всемирно знаменитого Пеле и гирлянду зеленого перца. Это были отцовские «окна РОСТА». Иногда выставлял он бананы, чеснок. Вот, мол, обратите внимание, очень полезный и питательный продукт.

Станислав Владиславович был оригинал. Несмотря на солидный вид и руководящее положение (главный врач больницы), он играл в духовом оркестре. Председатель облсовпрофа как-то пожурил его за то, что он, руководитель крупнейшей больницы, идет на праздничной демонстрации не во главе коллектива, а в хвосте оркестра, причем с барабаном на груди.

Станислав Владиславович взбрыкнул. Он сверкнул оскорбленно очками и сказал, что у него понятие о солидности вовсе иное. Может, бить в барабан — его хобби, может, золотая мечта детства. Профбюджет проглотил: «Ну-ну, носите барабан».

И в эстрадном больничном оркестре Станислав Владиславович был всего лишь ударником. Он с удовольствием занимал свое место среди оркестрантов-любителей, плотоядно нависая над сверкающими тарелками и смахивающими на котлы барабанами.

В самый разгар вечера самодеятельности Станислав Владиславович не мог устоять перед просьбами зрителей и выходил под влюбленные ахи сестричек и врачей прорычать «Блоху».

Бывая в Бугрянске, Серебров много рассказывал отцу и матери о Маркелове, но побаивался приводить домой ложкарского председателя. Он знал, что мать не удержится и станет вздыхать: «Ох, как божественно играл Гарик на скрипке, как изумительно читал стихи, а оказался в деревне. Почему он такой неудачник?»

— Перестань,— не выдерживал Серебров таких охов.— Не могу же я всю жизнь тащить, как непрощенный грех, эту скрипку!

Отец таких разговоров не заводил, он доставал шахматную доску и расставлял фигуры.

— Кто кого: город или деревня,— говорил он, заводя руки с фигурами за спину для жеребьевки.

И сегодня сели они за шахматную доску, большой, лобастый, в роговых очках Станислав Владиславович и тонкий, подвижный сын.

От рассказов о Маркелове Гарька удержаться не мог.

— Такой хохмач,— выдвигая пешку, говорил он.— Вот при мне доярок наставлял на ум: «Девоньки, кормов нынче столько, что молоко не только из сосков, а из рогов должно бежать».

— Я знаю подобного человека,— проговорил Станислав Владиславович, хладнокровно забирая Гарькиного слона.— Осенью оперировал по поводу аппендицита директора кирпичного завода Краминова. Тоже, я тебе скажу, язычок! У него поговорка есть: «То втык, то втэк — и так весь век».

При упоминании о директоре кирпичного завода Серебров-младший насторожился. В нем вдруг пробудился хваткий маркеловский интерес: нужный человек! Это же кирпичный бог! И отец знает его!

— Ну а теперь ты в каких с ним отношениях? — без всякого сожаления продувая партию в шахматы, спросил вкрадчиво Гарька.

— С праздниками поздравляет, говорит — не надо ли кирпича,— удовлетворенно ставя сыну мат, ответил Станислав Владиславович.

Гарька истово пожал отцу руку.

— Всхищаюсь твоим гроссмейстерским даром, но мне, пап, очень важна другая игра. Нам бы кирпич не в третьем, а в первом квартале получить,— сказал он.— Ты понимаешь, вчера забили письмо в облплан, а на второй и третий квартал лимитов нет, нас отфутболили. Позвони ему, поговори, а?

Станислав Владиславович, откинувшись на спинку кресла, возмущенно сверкнул очками.

— Фу, каким языком говоришь ты, Гарольд? Какая-то смесь спорта и деляческого арга. У Маркелова-то ведь, наверное, язык русский, а у тебя черт знает что. Протекцию, значит, тебе составить?

Когда отец называл его полным именем, это означало, что он недоволен сыном.

— Ты знаешь, Гарольд, я вовсе не намерен переводить дружеские отношения в деляческие,— вставая, по-

вторил Станислав Владиславович.— Я — тебе, ты — мне. Мне это противно,— он сдвинул с доски шахматные фигуры.

— Пап, ну, мы теплые гаражи строим,— хитрил Гарька, хотя кирпич нужен был не на гараж, а на коровники.— Ты понимаешь, на холоде люди ремонтируют машины. Люди, ты понимаешь?

— Не буду,— стоял на своем Серебров-старший.— Есть обычный законный путь. По-моему, всякие нехватки у нас возникают исключительно из-за того, что рвачи и хваты растаскивают то, что предназначено для плановых строек. Это расшатывает плановую организацию. Есть законный путь! — гремел он, широко шагая по комнате.

Отца трудно было сбить с этой мысли. Гарька страдал, морщился, умоляюще поламывал пальцы. Конечно, отец был прав, но как устарело он представлял нынешние отношения. Разве сумел бы столько построить Маркелов, если бы ждал лимитов на стройматериалы.

— Ну, не дают, па, ты понимаешь, не дают,— стонал он.— Это же хозспособ. Под него не дают, а люди на морозе работают. Ты что — инициативного способа не признаешь? Ты, па, теоретик. Чистый теоретик.

Серебров заседал на отца, доказывая, что тут особый случай, что отец как врач должен подумать о здоровье людей, работающих на холоде. Станислав Владиславович супил брови, протираял очки.

— Мне этот протекционизм опостылел,— гремел он.— Даже укол в задницу и то привыкли делать только по протекции.

Нинель Владимировна, мывшая на кухне посуду, несмотря на звон тарелок и шум воды, все-таки уловила своим озабоченным слухом, что ее Гарика обижают и ему надо помочь. Еще десять минут назад она недружелюбно отзывалась о Маркелове, а теперь стала перед мужем, перекинув полотенце через плечо, и решительно, строго, как всегда, когда дело касалось защиты сына, проговорила:

— Стась, ты должен помочь. Ты должен ему помочь. Поступись своей старомодной чопорностью. Семен Семенович для тебя сделает.

— Нет, ни в коем случае,— уперся Серебров-старший. Большой, неприступный, он мрачно отражал натиск. От сердитых его шагов позванивала в серванте посуда.

— Всегда, всегда так,— вдруг жалко сморщившись, всхлипнула Нинель Владимировна и ушла на кухню.

Гарька обиженно пожевал губами. Хотелось встать, хлопнуть дверью и уйти в свою комнату, но он сидел.

Станислав Владиславович не мог переносить женских слез, особенно слез своей Нинели Владимировны. Именно слезами тогда еще юная его жена добилась того, чтобы первенцу было дано где-то найденное ею имя — Гарольд. Тогда Нинель Владимировна считала, что будет ее сын пианистом, скрипачом, артистом, в общем, не обычным смертным. Станислав Владиславович хотел дать сыну польское имя, как заведено было в его семье, несмотря на то, что фамилия их к тому времени утратила окончание «ский», и вот спасовал: пусть будет Гарольд.

Спасовал Станислав Владиславович и теперь. Он мрачно встал и, не глядя на сына и жену, подошел к телефону. Винясь, с принужденностью в голосе сказал он Краминову, что вынужден к нему обратиться, но это ничего не значит и, если возможности нет, не следует выполнять его просьбу, а если не затруднит, тогда...

— О чем разговор! — донесся бодрый хрипловатый голос Краминова.

Наутро Серебров, захватив у Маркелова документы, уже ехал в находившемся за ночь вагоне первой электрички в поселок Галкино. Ему хотелось раздобыть для колхоза кирпич, хотелось, чтобы Маркелов поверил в его, Сереброва, деловитость и пробойность.

Он сразу нашел белое здание завода, напоминающее арками и переходами индийский древний дворец. Надеясь попасть к Краминову первым, пошел он в охраняемую беззаботной, стриженной под мальчика девицей приемную директора. Но там уже стоял ровный шумливый гул: толкачи и просители ждали приема.

Серебров пожалел, что не пошла ему впрок маркеловская наука, что не захватил он плитку шоколада или флакончик духов. Секретарша наверняка выделила бы его из числа других, поднеси он ей «колхозную» шоколадку. Но девица и без того заинтересованно стрельнула глазами на усатого молодого просителя. Таких молодых начальников, как этот, среди ожидающих не было.

Вольно, не замечая, что оттесняет Сереброва, подступил к секретарше маленький человек с несоразмерно большой головой. Серебров почтительно отошел. Кон-

драт Макарович Сухих, известный на всю область председатель колхоза. Его танцевальный ансамбль выступает за границей, на его животноводческие комплексы приезжают экскурсанты.

Сухих ласково, по-семейному спросил секретаршу:

— Ну как, душа-девица, папа дома?

Секретарша, видимо, привыкла, что великий Сухих называет Краминова запросто «папой». Она улыбнулась.

— Пожалуйста, папа вас ждет.

Сухих потрепал девицу по плечу и скрылся за дверь.

Серебров занял очередь за пожилым, немодно стриженным под полубокс человеком. Широко расставив свои кавалерийские сапоги, сидел этот человек в углу и острыми, умными, глубоко упрятыми глазками разглядывал посетителей. Был он и одет старомодно: в синие брюки и галифе, клетчатую рубаху без галстука. Жестулируя, он с удивлением начал рассказывать Сереброву, что долгое время не мог найти седел.

— По всей стране писал, спрашивал — нет. А мужики у меня пасти коров только верхом соглашались, дак я уж к самому Буденному обращался, поскольку я в кавалерии служил. Выручайте, мол, Семен Михайлович, старого кавалериста.

Серебров сочувственно кивал ему.

Выпорхнувшая из директорского кабинета вслед за улыбающимся Кондратом Макаровичем секретарша вдруг сказала, что Семен Семенович просил узнать, здесь ли Гарольд Станиславович Серебров. Серебров растерянно поднялся.

— Пройдите, вас уже два раза спрашивали, — сказала она и улыбнулась, выделяя его из числа других.

Под заинтересованными, даже завистливыми взглядами умолкших вдруг толкачей и соседа-кавалериста Серебров, словно по воздуху, проплыл к дверям, чувствуя себя необыкновенно значительным человеком.

Кирпичный бог Семен Семенович Краминов оказался невысоким, подвижным чернявым человеком. Подтакивая на носу очки, он с любопытством разглядывал Сереброва-младшего. Черные глаза его светились добротой.

— Никак не думал, что у Станислава Владиславовича сын поднимает сельское хозяйство. Сколько лет вы уже работаете? Немного? Но это полезно, полезно. Значит, на первый квартал надо? И сколько?

— Тысяч сто пятьдесят, — замирая под острым взгля-

дом директора, сказал Серебров, чувствуя, что хватил лишку и надо сказать меньше.

— Из ста сорока четырех тысяч можно построить двухэтажный дом на восемь квартир,— сказал Краминов, и Серебров решил, что тот ему откажет.

— Нам теплые гаражи, люди мерзнут,— прошептал он, понимая, что таким лепетом Краминова не возьмешь.

— Вот с этой бумагой в отдел снабжения, из моего фонда,— весело проговорил Краминов.— Счастливо.— И Серебров с радостью ухватил взглядом цифру 150. Он выскочил от директора с самоуверенностью удачника, который утвердился в том, что для него не существует никаких препятствий.

— Молодчик! Молодчик! — хвалил Сереброва, потирая руки, Маркелов.— Ну вот видишь, ты уже встал на свои ноги. К самому Краминову попал. Молодчик!

Маркелов, видимо, поверил в удачливость Сереброва. Дня через три, под вечер, он опять позвал его к себе. В кабинете Маркелова, только что обставленном новой полированной мебелью, с краешка сидел у бокового столика Миней Козырев и, тщеславно косясь в водяную гладь лакировки, что-то рассказывал завлекательным голосом странника, побывавшего за тремя морями. Пьянчужку Миней Маркелов то выгонял, то вновь приближал к себе. Сейчас тот опять был в фаворе — это он достал и привез лакированную несельскую мебель.

Маркелов сам еще не привык к мебельному великолепию — стирал рукавом пылинки со стола и зачарованно слушал Козырева.

— А вот еще есть один город на Северном Кавказе,— говорил Миней,— так там арматура имеется. Можно купить. А в Молодечно семенной овес... Хорош, говорят.

Откуда знал все это запивоха Миней Козырев, было поразительно, но знал доподлинно. В седеющей Миневой голове умещались воспоминания о лихих делах конца пятидесятых годов, когда он закупал в южных степях табуны лошадей, чтоб помочь тогдашнему председателю колхоза Огородову выполнить план по мясу, и хитрые истории о том, как он, Козырев, при Маркелове торговал лесом, чтоб пополнить колхозную кассу. И вот теперь откуда-то брались в его голове названия городов, где есть разные нужные разности.

— Так вот, Гарольд Станиславович,— с трудом освобождаясь от очарования Минеевой речи, сказал Мар-

келов,— надо попытаться счастья, съездить за арматурой-то.

Сереброву боязно было мчаться неизвестно куда и в то же время не хотелось расставаться со славой нужного, пробойного человека.

— Когда надо? — спросил он.

— Да сейчас,— довольный его согласивостью, ошеломил Маркелов Сереброва.

В конце концов Серебров привык к бездомной кочевой жизни. Ему она даже начала нравиться. Поутру он был в курортном городке, где добывал запчасти и ради забавы фотографировался на фанерной лошади, а через два часа летел над облаками, похожими на заснеженные поля, к себе на север. Он то неожиданно благоденствовал в фешенебельном номере гостиницы, то коротал ночь на вокзальном жестком диване и торопливо брился в туалете, на глазах у публики, то устраивал богатое угощение для нужного человека, то, по-плюшкински скопидомясь, перебивался на безвкусных дешевых консервах «Завтрак туриста».

Его не пугали временные неудачи. По неуловимым признакам он научился определять, кто способен ему помочь, пусть из сострадания, от доброты. Помогали, продавали битум и шифер, а не было того и другого — он, усвоив уроки Григория Федоровича, клянчил третье, то, что имелось там. Все сгодится. Если не для себя, так для обмена. На трубы можно выменять уголок, на уголок — плиты, на гвозди — рубероид.

ШЕФ И ПОДШЕФНЫЙ

— Где мы урожай теряем? Прежде всего затягиваем сев до той поры, пока вся земля в чугунах не высохнет. А вырастет хлеб — валандаемся с уборкой до белых мух,— стараясь расстройством и горечью своей пронять слушателей, напористо говорил первый секретарь Крутенского райкома партии Виталий Михайлович Шитов.— Четкой организации, продуманности не хватает, друзья дорогие. В среднем приходится в нынешнем году по сорок лошадиных сил на каждого работающего, а уборка тянется два месяца. Непозволительная роскошь. В хорошую погоду празднуем, а в плохую сидим и ждем. Так разве деды наши крестьянствовали? Не то отношение к земле, не любим мы ее.

В тоне его голоса и в страдальческих глазах было осуждение. Хотелось Шитову, чтоб задумались, прониклись его болью Маркелов, специалисты из «Победы». Те уклончиво побряхтывали, почтительно ожидая, к чему все это. Вроде они не больно плохо работают.

Маркелов кривился: Шитов придумал забаву какую-то — игру, заставил колхозы среди зимы отчитываться о готовности к севу. Причем чудно — перед ящиком с песком, который поставлен посередке райкомовского зала заседаний, освобожденного от стульев.

Вчера вечером с помощью гуаши, подзеленной ваты и кубиков главный агроном Крахмалев обозначил на песке угодья «Победы», вычертил поля, ложбины, лес, вывел голубую змейку Радуницы. Красиво получилось — будто вид с самолета. И вот Григорий Федорович в своих зимних сапогах и в вечных, нестираемых бриджах махал указкой над этим ящиком. Наверное, был похож он теперь на начдива времен гражданской войны, докладывающего план будущей операции.

За окном по-прежнему клубилась вьюга, с мягкой упругой силой ударяясь в окна, а в красочном рассказе Маркелова все цвело, и плавилось в небе знойное солнце.

— Ну а если дождь? — закинул вопросец Шитов, ероша мысок волос над выпуклым лбом. Маркелова это не смутило.

— У нас есть вариант и на ненастье. Ну-ка, дай, Федор Проклович,— и главный агроном Крахмалев протянул председателю «мокрый» вариант.

— Неплохо,— проговорил удовлетворенно Шитов. Ему нравилось, как, вытянув шеи, заглядывают в ящик специалисты из «Победы», как находчиво отвечают и смеются они в ответ на шутки. От вялого, унылого разнобоя, который был на вчерашнем отчете специалистов из «Труда», брала его тоска и тревога, а тут народ боевой и веселый.

Шитов поднял с места главного агронома Крахмалева. Насупленный, мрачноватый, навис Федор Проклович над ящиком и, раскрыв пухлую записную книжку, начал рассказывать, как выглядят поля в разрезе последних пяти лет и где что, по его мнению, надо размещать. Умница был Федор Проклович. Шитов с радостным облегчением слушал его. Все бы так понимали землю. Этот дотошно знает: у какого поля южный склон, у какого северный, где надо сеять раньше, где обождать, где годится больше пшеница, где овес.

Серебров с тревогой ждал, когда дойдет очередь до него. Насчет тракторов и дизтоплива, о нехватке механизаторов он отбарабанит. А если спросит Шитов о прицепной технике? Трудный вопрос. Сколько должно ее быть — по бумажным отчетам известно, а сколько на самом деле — это знает, пожалуй, один Крахмалев. Но докучать Крахмалеву Серебров постыдился. Ведь тот предупреждал его, что много борон и сеялок осталось зимовать на пустырях и около полей. Крахмалев и здесь начал было говорить о боронах и прикатывателях, но Шитов остановил его, помахав рукой.

— Пусть главный инженер скажет, а то мы его без работы оставили,— сказал он, щуря на Сереброва лукавые глаза. Будто знал, что не сможет его ставленник толком рассказать о боронах. Пропустив с отчетами у ящика с песком руководителей одиннадцати колхозов и совхозов, Виталий Михайлович изучил все их хитрости и уловки и убедился, что прицепная техника — ахиллессова пята во всех хозяйствах.

Серебров принялся обходить острые углы.

— Не умеешь отчитываться,— вставая, насмешливо оборвал его Шитов.— Вон Маркелов из себя выходит — знаки тебе подает, что, мол, все готово к севу, но надо еще кое-что дополучить. Ему все мало. Удобрений навозил больше всех и еще заявку на фосмуку подал. Аппетит, я вам скажу.

Маркелов распознал в этих словах не осуждение, а похвалу своей энергии, коротко хохотнул, но от ответа ушел.

— Ошибка, наверное, в отчете, не должно столько быть,— скромненько сказал он.— А прицепной техникой у нас Крахмалев занимался. Будь добр, добавь, Федор Проклович, к отчету Сереброва.

Спас Маркелов своего незадачливого инженера, поднялся опять мрачный Крахмалев с записной книжкой в руке и, вгоня Сереброва в краску, стал рассказывать, где и как хранятся бороны. Подобрали, оказывается, почти всю прицепную технику, пока путешествовал Серебров, выполняя поручения Маркелова.

Дотошный отчет закончился, и ложкарские главные специалисты, начальники участков грудой высыпали на райкомовское крыльцо. Вьюга угомонилась, выглянуло солнце, крыльцо было мокрым от капли, белизна была в глаза. С хрустом давя опавшие сосульки, Маркелов подошел к машине, крикнул:

— Гарольд Станиславович, ко мне!

Распахнув дверцу, он подтолкнул Сереброва на сиденье и сам бухнулся рядом. Крутнулась оплетенная хлорвиниловым шнуром баранка, и машина рванулась по переметенной, нестерпимо сверкающей белым молниевым полыханьем улице Крутенки. Отчего-то не посадил Маркелов в свою машину никого, кроме главного инженера. Даже секретаря парторганизации Крахмалева не взял.

Григорий Федорович, вцепясь в плечо Сереброва, приблизил к нему свое каленое морозом, битое оспой лицо с пористым толстым носом.

— Ты слышал, что говорил Шитов о шефах? «Чугунку» за нашим районом закрепляют. И ответственный за шефство Макаев, главный инженер.

— Ну, слышал,— не понимая что к чему, ответил Серебров. Когда сказал об этом Шитов, он просто удивился тому, что добился-таки Виктор Всесильный, как называл он мужа Надежды, высокой должности. А вот Маркелов ухватил что-то еще.

— Ты же знаешь Макаева? — наседал он, требовательно глядя в глаза Сереброву.

— Предположим,— осторожно сказал Серебров, догадываясь, что председатель опять имеет в виду поездку, на этот раз к Макаеву. Но нет — шалишь. Ни в коем случае он, Серебров, не поедет. Его всегда настораживало упоминание о Макаеве. Ничего приятного от этого человека он не ждал. А у Григория Федоровича, судя по всему, в голове уже сплелась сеть, которую он надумал с помощью Сереброва закинуть в складские заводы «чугунки». Как решенное, Маркелов диктовал:

— Поедешь к Макаеву. Я вчера, как только узнал об этом шефстве, позвонил ему.

У Сереброва заныло сердце.

— Пошлите Козырева,— взмолился он, отодвигаясь в угол машины.— Я не снабженец, я инженер, мне техникой надо заниматься. Вон как сегодня Виталий Михайлович...

— Козырь — не тот козырь,— отменяя взмахом руки все возражения, проговорил с пренебрежением Маркелов и, почувствовав сопротивление, напер еще сильнее: — Что — остригут тебя там?

— Я ведь инженер, а не толкач,— повторил Серебров.

— «Инженер, инженер, мое дело — техника»,— перердразнил его Маркелов.— Мое дело — хлеб, мясо, моло-

ко, а я школу — строй, столовую — строй, заботься, чтоб было где мыть, брить, кормить, веселить. Если мы разделим: это — твое дело, а то — мое, не пойдет оно, Гарольд Станиславович, намотай это на свой ус, не поиде-о-от! Я вот возвращаюсь из Бугрянска — руки в крапивнице. Думаешь, легко христарадничать да клянчить? — Председатель отвернулся от Сереброва раздосадованный.

Чего стоит «христарадничество», Серебров знал, но ему было невыносимо думать о поездке к Макаеву.

— Мне надоело все это! Противно, унизительно! — ударяя зажатými в кулак перчатками по колену, крикнул Серебров. — Когда это кончится?

— Да-а, я вижу, ты чистоплюй? — проговорил разочарованно Маркелов.

— Ну и пусть чистоплюй, — проворчал Серебров, отворачиваясь к окну. Капитон, непроницаемо спокойный, вел машину, не вступая в разговор. «Газик», качнувшись на повороте, свернул к вокзалу и остановился около знака «Первый вагон». Шофер молча выбрался из машины и, засунув руки в карманы меховой куртки, побрел по платформе, чтобы не мешать сердитому разговору председателя и инженера.

Маркелов мог взорваться, накричать на Сереброва, но он сдерживался и говорил просительным голосом, печально глядя на катящиеся по рельсам цистерны с черными потеками на боках.

— Завтра у меня отчет на сессии, я сам не могу к Макаеву. Съезди, замени. Ведь ты понимаешь, что пока нам на блюдечке никто ни кирпич, ни минеральные удобрения, ни бетонные столбы не подаст. Везде строят, везде нужда. Прохлопаем — останемся на бобах. Ведь завтра же к Макаеву из других хозяйств поедут люди. Надо опередить.

— Опередить, обогнать, — расстроено ударяя перчатками о руку, с упреком проговорил Серебров.

— А как иначе? — взглянул на него остро Маркелов.

— А по справедливости — кому сколько достанется, — тоном совестливости начал Серебров. У Маркелова лицо налилось кровью, побледнел розовый шрам на щеке. Он царапнул взглядом инженера, расстегнул душивший горло воротник шубы и проговорил с неясной угрозой:

— Слушай, Гарольд Станиславович, ты мне помогай, а не слова разводи, иначе дружбы у нас не будет. Если в разные стороны потянем, остановится воз. За всех

болеть у нас сил не хватит, грыжу наживем, дай бог свою колымагу тащить.

Серебров понимал, что эта его вспышка возмущения не ко времени и не к месту, но ничего не мог поделать с собой. Ему так не хотелось ехать к Макаеву. И он сделал еще одну попытку вывернуться из хватких лап председателя.

— Вы понимаете, Григорий Федорович, у нас с Макаевым личные счеты. Мы с ним враги, вы понимаете, враги,— начал он.

Маркелов, откидываясь, захохотал. Для него, наверное, вообще не существовало таких чувств, как неловкость.

— Да что ты мне арапа заправляешь? — сквозь смех выкрикнул он.— Мне ведь Макаев сказал, что вы старые знакомые, что он рад с тобой увидеться, а его жена — твоя подружка детства.

Час от часу было не легче.

— Так и сказал? — обмякая, промямлил Серебров.

— То-то и оно, сказал. А если и не больно нравится человек, надо иногда себя зажать: ведь для колхоза, не для себя лично,— серьезней, проговорил Маркелов и вытащил из шубного захолустья теплый блокнот.— Пиши!

Они выбрались из машины, когда трубно прогудела подходящая к вокзалу электричка. Безгласный Капитон молча протянул инженеру билет. Вот, оказывается, зачем он бродил по платформе. Все знал наперед.

— Нельзя разевать рот,— подталкивая Сереброва к ступеньке вагона, напутствовал его Маркелов.— Действуй! И не скупись. На уху зови, угости в ресторане, если надо. Ну, не тебя учить.

И еще что-то говорил Маркелов, но за сдвинувшимися дверями уже не было слышно его последних наказов.

Без охоты спускался Серебров к проходной «чугунки». Он давно не был здесь. Рядами выстроились новенькие, сверкающие стеклом цехи. В помине не было приземистых, крытых толем барачков.

По чистому заводскому двору, украшенному оптимистическими диаграммами, прошагал Серебров к новому зданию управления. Беспрепятственно добрался он до обитой кожей двери с внушающей уважение табличкой «Главный инженер». Секретарша с приветливой улыбкой сказала, что Виктор Павлович его ждет.

Макаев, еще больше посолидневший, сидел за широким, уставленным модной оргтехникой столом. Было заметно, что он начал сесть: этикие голубиные крылья по вискам.

— Разрешите? — сказал Серебров севшим вдруг голосом.

Их разделяла ледяная гладь паркета. Надо было преодолеть ее и не поскользнуться, пройти с достоинством и солидностью.

Макаев, доброжелательный, уверенный в себе, вышел из-за стола, встречая Сереброва, пожал руку и попридержал за локоток. Будто никогда не пробежала между ними черная кошка, будто всегда делали они друг другу только приятное.

— Ну, как доехали, Гарольд Станиславович? — спросил Макаев, откидываясь в кресле, и тотчас же весело, раскатисто рассмеялся. — А мне вчера звонит ваш председатель. Говорит, придет Серебров. Я думаю: неужели Гарольд Станиславович? Он, говорит, самый. Значит, на трудный участок перешел?

— Да вот так судьба распорядилась, — сказал, поламывая пальцы, Серебров. Он представлял чужую державу и с дипломатической галантностью вел разговор, не открываясь и не подпуская Макаева к себе. Ему показалось, что в глазах Макаева где-то глубоко замерла искорка опасения, которую помнил Серебров с тех дней, когда встретил его впервые с Надеждой. Но уверенный, волевой блеск смял и бесследно подавил пугливую искорку. Собственно, чего мог он теперь опасаться? Ничего. Даже воспоминание о давней неприязни могло вызвать только смех. Кроме того, Серебров был в его руках: сам явился, сам сдался. Макаев может щедро отвалить колхозу всякой всячины, а может и подзажать обещанные столбы-пасынки, может просто поиграть, поиздеваться, и прости-прощай, ни с чем отправляйся в свои Ложкари.

— Переводим животноводство на промышленную основу, — объяснил Серебров, беря из предложенной Макаевым коробки сигарету, — и до нас, до нечерноземных, дошли искусственные пастбища.

Ему хотелось сразу перейти к делу, но Макаев недаром знал порядок и этикет. Махнув рукой на сонмище потренькивающих телефонов и подмигивающих глазков, на папку со словами «На подпись», он повел Сереброва по заводу. Мог бы сплавить его какому-нибудь замес-

тителю по разным вопросам, говоруну-снабженцу, ведающему сбытом того, что не идет, а он вот сам уверенно повел его по громыхающим цехам, где с непривычки кажешься лишним, не знаешь, куда ступить.

Над головой, развесив кабели, будто аксельбанты, плавал кран. Это тебе не ложкарская мастерская, где Ваня Помазкин считается богом, где Серебров иногда бог. Здесь же он пигмей, а вот Виктор Павлович — всемогущий, беспорочный, уверенный в себе. Слегка усталый и озабоченный, ловко и уверенно поднимался он по железным гудящим мосткам и лестницам именно на тот участок, который интересен гостю, и широко поводя рукой, рассказывал, что еще он застал завод почти в старом обличье: делали дверные скобы, капканы, патефоны, а теперь вот асфальтовые укладчики. Пришлось за это бороться со старой «чугункой». Ох, сколько крови себе испортили, чтобы освоить новую и перспективную продукцию!

Серебров подумал, что он, наверное, к Виктору Павловичу несправедлив. Он ведь его, по сути дела, не знает. Может быть, Макаев — отличный специалист. Это он сам — мелкий придира.

Вначале Серебров шел вслед за Макаевым с неловкостью, возникшей от двойственного к нему отношения: он не любит этого человека, а вынужден вежливо улыбаться и слушать его. Но когда они поднимались по лестнице заводоуправления, Серебров уже был убежден, что не Макаев, а он сам ханжа, двоедушный человек. Он стремится сманить Надежду, все время толкает ее на измену, а Макаев выше всего этого, выше отчуждения и даже враждебности, которые укрепились в Сереброве. Они вели разговор, который шел вторым слоем, не соприкасаясь с тем, о чем думал и что чувствовал Серебров.

— Вообще-то, — уже в кабинете сказал устало Макаев, — шефство для нас — надоевшая обуза. Столько людей посылаем в колхоз, план трешит каждое лето.

Сереброва всегда бесили такие разглагольствования. Хотелось кричать о том, что индустрия поднялась на деревенских соках и что работают на заводах люди, родившиеся в деревне. От целинной эпопеи Нечерноземье в стороне не было. Сколько уехало туда бугрянских людей. Обезлюдело оно и оскудело, потому что отдало себя и уральским заводам, и целинным совхозам, и городам. Он напомнил Макаеву, что выросла и разбогатела «чу-

гунка» на соках, вытянутых из деревни. Шефство — мизерная возвратная плата. К тому же порой вся городская помощь — не в коня корм.

— Да,— вздохнул Макаев.— Все это так. Оба мы правы, так что без предисловий, в сей же час... Что мы можем дать?

Сереброва удивляли, даже ошеломляли люди, которые легко и свободно могли распоряжаться стройматериалами, машинами: какая-то смелая широта и щедрость исходили от них. Таким был кирпичный бог Краминов, таким оказался Макаев.

То ли он хотел показать свое всесилье, то ли действительно обладал нерастраченными кладами, но разговаривать с Макаевым было неправдоподобно легко. С уверенностью и спокойствием человека, который отлично знает, как можно и нужно решать щекотливые дела, Виктор Павлович произносил улыбаясь:

— Это мы можем в порядке исключения. С арматурой трудно, но что с вами поделаешь. Бюрократическая мудрость гласит: лучше не сделать, чем не записать. Но я записываю, чтобы сделать. А вы напишите «слезницу», чтобы у нас было основание дать вам побольше.

Макаев окончательно разоружал Сереброва, лишал его последней возможности держаться холодно и отчужденно. Теперь Серебров сам себе казался мелким пакостником. Как можно ходить на торопливые воровские свидания с женой такого человека! Удерживало его от окончательного падения в своих глазах только упрямство.

Помня наказ Маркелова о закреплении шефских связей и о том, что покладистых шефов надо любить и ценить, Серебров предложил Макаеву продолжить разговор где-нибудь в более уютном месте. Макаев задумался.

— Я бы не возражал, будь это не в Бугрянске, а, положим, в Москве или даже в Костроме. Здесь же меня всякая собака знает. Кроме того, уж не тянет как-то. Не тот возраст. Не тот,— откидываясь в кресле, повторил Макаев.— Давай лучше ко мне домой. Надежда ведь расвирепест, когда узнает, что ты был и не зашел,— теперь уже Макаев уверенно вставил это «ты» и метнул взгляд на Сереброва. Уже не было в его глазах опасливой искорки, и уши не рдели. Значит, спокоен и уверен в себе был Виктор Павлович, а «ты» надлежало расценивать как благосклонность. И Серебров понял, что Макаев облапошил его. Он остался со своим вежливым и беспомощным «вы», а Макаев уже уверенно подшивал

его на «ты». Вроде бы приближал к себе, а на самом деле создавал дистанцию.

«А бог с ним, если это ему нравится»,— подумал с досадой Серебров.

Чего не хотел теперь он, так это оказаться у Макаева дома. Ему казалось, что произойдет непоправимое, потому что он рядом с этим уверенным, всеильным Макаевым падет в Надеждиных глазах, и тогда прощай все. Он цеплялся за последнюю возможность.

— Мы посидим в ресторане в отдельной кабинке,— предлагал Серебров, но Макаев не оставлял ему никакого выбора.

— Зачем? Поедем ко мне.

— Мне еще домой надо к старикам,— неуверенно проговорил Серебров.

— Ресторан не меньше времени съест,— резонно заметил Макаев.

С ним было трудно спорить. И закрепить договор было надо. Хорошо, что Серебров успел захватить в вокзальном ресторане коробку хороших конфет. Все-таки не с пустыми руками явится он перед Надеждой. Но это его утешало мало.

В модной дубленке, веселый и уверенный, покручивая на брелоке ключ от машины, Виктор Павлович вывел гостя из заводууправления. Серебров чувствовал себя замухрышкой рядом с высоким, даже величественным Макаевым. Впору забежать вперед и, льстиво заглядывая благодетелю в глаза, хихикнуть. Приходилось делать то, что хочет Макаев. Будто он, Серебров, был связан по рукам и ногам.

«Волга» шла легко и ровно, Макаев спокойно и красиво вел машину. Серебров, пожалуй, так не умел: на сельских дорогах не раскатишься, там он все время суетливо крутит баранку, объезжая рытвины, а тут, наверное, можно ездить с автоматическим шофером.

Под успокоивающую музыку плыла машина, Серебров словно экскурсию совершал по Бугрянску. Ой-ей-ей, сколько тут наворочали многоэтажных домов на месте пустырей!

«А машина, наверное, уже не та, в которой возил Макаев на юг Надежду? — вдруг подумалось Сереброву.— Та была голубая, а эта черная». И Серебров стал смотреть, нет ли на корпусе отпавшей черной краски, как будто теперь это имело значение — на какой маши-

не впервые увез его зазнобу, а свою будущую жену Виктор Павлович Макаев.

— Надежда гоняет как лихач,— проговорил Макаев.— И что любопытно, ГАИ к ней милостивее, чем ко мне. Женские чары, они всеильны, смягчаются даже милицейские сердца. А вот нам приходится это уважение организовывать. Ко мне раза три придирался один молодец в белых обшлагах, вот-вот, думаю, сделает прокол. Пришлось попасть на «мальчишник», где гулял их гаишный генерал. Теперь тот молодец мне вежливо козыряет. Надо уметь организовать уважение.

Серебров и Макаев улыбались, посмеивались, хотя вряд ли это было смешно. Серебров противно чувствовал себя оттого, что так двулично ведет себя.

Вот и «дворянское гнездо» с окнами-иллюминаторами на лестничных площадках.

— Ты знаешь, кого я веду? — с порога пропел Макаев, словно это сулило Надежде бог весть какую радость. Серебров был уверен, что Надежда испугается, сам он был готов провалиться сквозь землю. У Надежды и вправду в глазах полыхнул страх, она остолбенела, увидев в прихожей Сереброва.

— Гарик, как ты попал сюда? Вы вместе? — вырвалось у нее, и Сереброву показалось, что лицо у Надежды пошло пятнами.

Впрочем, оставалось одно: он на законных правах сыграет роль друга детства, которому одинаково рады и Надежда, и ее муж. А как же быть с его любовью, с его терзаниями? Они, эти любовь и терзания, по-видимому, отменялись.

Серебров, чувствуя, что выглядит глупо, объяснил с виной в голосе:

— Я подшефный, Наденька. Вот — в железных руках Виктора Павловича,— он протянул Надежде спасительную коробку конфет и воспользовался сомнительным остроумием Маркелова, сказав, что на выпуске этой продукции специализировался их колхоз.

Надежда с недоумением выслушала это.

— А я думала, что ты опять уехал в сауну,— сказала она Макаеву.

— Нет, сауна по пятницам,— проговорил Макаев, надевая домашние туфли. Он снял пиджак, распустил галстук, включил магнитофон и открыл зеркальный бар, замайчиво пестрящий винными этикетками.

Видимо, музицированный бар был еще одним тщесла-

вием Макаева. Ему доставляло удовольствие то, что гость удивлен таким мощным полыханием золотистых пробок.

А гость был действительно удивлен. Красиво, черт возьми, жили эти Макаевы. Серебров и тут им уступал.

Пока Надежда, излишне суетясь, хлопала дверцей холодильника, бегала на кухню, они слушали музыку. Серебров встречал всполошенный, недоуменный взгляд Надежды и пожимал плечами, пытаясь хотя бы так объяснить, отчего он тут: «Ни при чем я, вот так получилось».

Уже по тому, как уважительно доставал Макаев бутылки с чужеземными коньяками, Серебров понял, что тот равнодушен к редким вещам и вещичкам. С удовольствием, уверенный, что это вызовет изумление, Макаев приносил из спальни какие-то статуэтки, кинжалы, бумажник с обнаженными красотками, которые — стоило их повернуть — начинали целомудренно прикрываться одеждой.

— Это из Алжира, — говорил Макаев, показывая деревянную маску идола. — Это тролли, я их купил в Дании.

Серебров изображал удивление, хотя не раз видел здесь и этих троллей, и деревянные рожи.

В окружении этих редкостей Серебров почувствовал себя наивным провинциалом, который глупо торчит в своей деревенской глуши, в то время как красивая, энергичная жизнь проходит мимо него. Потом, когда Надежда села за стол, милая, недоступная, прелестная Надежда, с величественно посаженной головой, стройная, холеная, жемчужина макаевской квартиры, они с Виктором Павловичем начали разговор о том, с кем из влиятельных бугрянских людей знакомы: с председателем горсовета Виктор Павлович потеет по пятницам в сауне, с генералом из ГАИ играет в преферанс, а Надежда отдыхала на юге вместе с женой секретаря обкома партии Клестова. Эта похвальба знакомствами была так стара, так знакома Сереброву по разговорам матери с приятельницами, что ему стало тоскливо. Наивное тщеславие. Отец при этом всегда свирепел: «Опять птичий базар, сорочьи радости».

И Сереброву захотелось сказать отцовскую фразу. Макаев уже уловил в глазах Сереброва насмешливую веселинку, мелькнула ответно в его зрачках знакомая испуганная искра человека, пойманного с поличным, но

Серебров оборвал себя: что тут предосудительного? Бог с ними, пусть радуются и гордятся, если им это по душе.

Надежде от всесилія захотелось быть великодушной.

— Ну, Гарик, когда ты оставишь свои Ложкари? Тебе еще не надоело там? Виктор бы смог устроить тебя у себя. Правда, Виктор? — сказала она. Она жалела Сереброва, и Макаев жалел.

— Да, это, конечно, можно. Начальником участка, — раздумчиво проговорил он. — Чтоб зацепиться, а потом, как дело потянешь.

Они уже решили его судьбу. Благодетели!

— Мне пока нравится там, — упрямо сказал Серебров, ловя сожалеющие усмешки. «Сауна, преферанс, знакомства. Тьфу!» — мысленно передразнил он их и полез напролом.

Серебров начал расписывать помазкинскую баню, где играет гармонь, где озорной дядя Митя орет частушки, где квасом поддают на каменку из ковша, потом ударился в рассказы о чудачествах и розыгрышах Маркелова. Серебров старался изо всех сил доказать, что он живет весело, даже лихо, и не его, а их надо жалеть. А какая охота, какая рыбалка на Радунице!

— Наверное, интересно съездить в твои Ложкари, — с сомнением сказала Надежда, глядя на мужа. — Съездим, Макаев?

— Моряки говорят: на море хорошо смотреть с берега, а корабли видеть на картинке, — недоверчиво отозвался Виктор Павлович.

— Нет, серьезно, приезжайте, — загорелся Серебров. Ему рисовалась такая фантастика: пусть бы они приехали. Можно сварить прямо в лесу пельмени, а то и уху, сходить на охоту, добыть зайца, шкуру медвежью можно подарить.

— А где ты там живешь? — спросила настороженно Надежда.

— В деревянном доме, окна на юг, — расхваливал Серебров свое жилище. — Лес под боком. Стены дышат, и я высыпаюсь за четыре часа.

— Шкура медвежья — это вещь. Это замечательно, — вдруг заинтересовался Макаев. — Представляешь, Надежда, вот такого зверя на тахту? Даже Стерлегова бы перевернуло от зависти с его оленьей шкурой, а?

— Я вам подарю медвежью, у меня есть, — великодушничал Серебров. — Приезжайте.

— Гарик, ты сам убил медведя? — со страхом и восторгом во взгляде воскликнула Надежда.

— Я! — сказал твердо Серебров и для правдоподобности по-огородовски добавил: — Матерый стервец попался, на тринадцать пудов.

— Шкура — это вещь! — повторил Макаев. — Ты ее пришли.

— Ни в коем случае. Посылать не буду. Только в ваши руки в Ложкарях, — упрямо сказал Серебров. Он не намерен был уступать.

— Перешли, зачем ехать, — скривился Макаев.

— Ну, зачем, Макаев! Не надо присылать, — взмолилась Надежда. — Это же редкая вещь, а мы, как баскаки, с тобой. Вернее, ты как баскак, сборщик дани.

— Не грешно, — сказал Макаев. — Я им столько дал в порядке шефства, что не грешно. Я бы ведь мог не дать. Вот мне Коковин шубу пообещал, а потом пошел на попятную, и я ему вместо чугуна — хрен на постном масле, не обязан. Он выговор схватил, теперь будет умнее.

— Ты путаешь что-то, — вдруг рассердилась Надежда. — Ты ведь не свое дал. — Ей, видимо, было неудобно перед Серебровым за мужа.

— Не грешно, видит бог, не грешно, — повторил Макаев. — А Коковин носит выговорок.

— Ты пьян, — сказала Надежда, вскинув сердитый взгляд на мужа.

— Нет, я не пьян, я просто считаю... — начал Макаев.

— Замолчи, Макаев. Опять ты... Гарик, слышишь, никакой шкуры! — возвысила голос Надежда.

— Нет, я должен, я подарю, — упрямо сказал Серебров. — Но подарю тебе на память, Наденька. Тебе, понимаешь?

Серебров подумал, что, конечно, не Макаеву, а именно Надежде подарит шкуру. Ведь он по-прежнему любит Надежду так, как никто никогда не будет ее любить.

Оба они, и Макаев и Серебров, наверное, порядком поднабрались, раз он раздобылся так, что решил подарить шкуру, которая была его тщеславием, а Макаев вдруг решил, что шкура станет платой за его шефские старания.

— Гаричек! Никакой шкуры, — провожая его, повторила Надежда в коридоре.

— Ой, медведюшка ты батюшка, ты не тронь мою

коровушку,— дурачился Макаев.— Надо, надо нам шкуру. Ты, Серебров, Надежду не слушай, слушай меня. Я всегда бываю прав.

«РАЙСКИЙ УГОЛОК»

Видно, сверхзартно расписывал Серебров красоты Ложкарей, а может, прельстила Макаева обещанная ему медвежья шкура. Так или иначе, но Виктор Павлович позвонил Маркелову и намекнул, что не прочь приехать, подышать чистым воздухом. Что следовало понимать под «чистым воздухом» и обсуждал теперь Маркелов, позвав в свой кабинет главного инженера Сереброва.

— Четвертинкой тут не обойдешься,— резонно сказал Маркелов, ковыляя по своему кабинету.— Все бастьенько надо сделать.

Серебров был готов внести свой вклад: если потребуется, он может предоставить свою полупустую квартиру. Маркелов тяжело потоптался, вздохнул: квартира не то.

— Придется открыть «райский уголок», проткнуть туда дорогу,— решил наконец он и, напустив белого морозного пара, через форточку позвал Капитона, точившего лясы на конторском крыльце.

«Райским уголком» называл Маркелов пасеку на берегу лесного озера, где стояла кряжистая старая изба, приспособленная под омшаник. Здесь устраивались хлебосольные гостевания с людьми нужными, полезными и просто приятными. Постоянным гостем был тут Николай Филиппович Огородов, а в более отдаленные времена разжигал веселье своей необыкновенной игрой на гармонии Евграф Иванович. Такие встречи бывали в «райском уголке» обычно осенью или летом, а теперь все стежки замел февраль — кривые дороги.

Традиционная уха из карасей, грибовница из белых свежих грибов, мед в сотах были украшением летних встреч, а чем зимой подивить гостя?

— Без гармони плохо,— вздохнул Маркелов, намекая, что кстати был бы Огородов.

— Может, мне на гитаре побренчать? — с готовностью предложил Серебров, обходя разговор о «банкировой» музыке. Маркелов кисло усмехнулся — он был любителем гармони и считал, что ее не может заменить ни один из существующих инструментов, даже оркестр Большого

театра. С гармонью же ничего не получалось: Серебров и Огородов в одной компании никак не стыковались. Сереброва не исключишь, он должен обязательно встречать своего знакомого, значит, надо приносить в жертву огородовскую музыку.

На пороге возник Капитон, досконально знающий, удастся ли к приезду гостей поймать рыбу на уху или с ухой «все глухо» и придется обойтись одними пельменями да жарениной.

— Как насчет рыбки? — спросил Маркелов и сел, устремив на шофера требовательный взгляд.

Капитон пожевал толстыми губами и сказал традиционно:

— Надо, как будет.

Он, как толовая шашка, был набит взрывной энергией, но не хотел ее тратить на слова. Он был готов лететь на своем «газике» — немедленно предупредить рыбака о том, что должен быть улов, и передать бульдозеристу не подлежащий обсуждению приказ: срочно расчистить три километра целика до старой пасеки. Все эти заботы поручал председатель Капитону, сказав три магических слова.

— Давай по-быстрому и бастенько.

Затем Григорий Федорович потер лоб.

— Ну, что еще, Гарольд Станиславович? Надо с кандибобером, пусть знают ложкарят, — и в его хитроватых глазах отразился задор тех лет, когда водил он под гармонь по улице парней своей деревни, чтоб раздоказать всей округе свою удаль, силу и неустрашимость.

— Может, лошадь с колокольчиком? — заикнулся Серебров. — Экзотика тоже нужна. Зимой — прелесть!

Маркелов встrepенулcя, встал, тяжко скрипя половицами, потоптался по кабинету.

— А что, ничего. Такого еще не было, — сказал он и, схватившись за эту мысль, начал ее развивать: — Во-первых, не одну лошадь, а пару, во-вторых, сбрую украсить. — В его глазах уже загорелся деловой азарт. Он позвал счетовода Антонида Помазкину и потребовал хоть из-под земли добыть мастака по конным выездам дядю Митю.

И дядя Митя в своих клееных галошах, линялом, измазанном в глине бушлате вскоре уже сидел на пороге кабинета, боясь наследить на линолеуме. Он снял шапку, пригладил волосы корявой рукой и объявил:

— Дак я пришел.

Маркелов, как всегда, разговор с дядей Митей начал с перехлестом и нажимом:

— Важнейшее поручение тебе как моему заместителю, Митрий Леонтьич,— вставая, сказал он.— Лошадей не разучился запрягать?

— Смеешься или чо?! — возмутился дядя Митя, вскинув раздвоенную бороду.— С шести годов боронил, дак...

— Вот что, Митрий Леонтьич.— нагнетая ответственность, проговорил Маркелов.— Вся надежда на тебя. Едет один городской человек, по чину как генерал, и не один, с женой, надо их с ветерком на паре лошадей промчаты... И только ты это можешь.

— Ну дак што? — обыденно проговорил дядя Митя. Маркелов понял, что не на полную возможность взвинтил азартного старика, и сурово, начальственно просверлил его взглядом.

— Не подведешь?

Как и следовало ожидать, дядя Митя заобижался и даже взбеленился. Он встал, подошел к маркеловскому столу.

— Скажешь, Федорыч! Да когда Помазкин тебя подводил-то?!

— Тогда все. Сделай бастенько, чтоб комар носу не подточил,— хлопнув ладонью по столу, подытожил разговор Маркелов.

Сереброва долгожданный приезд Надежды вроде бы уже не должен был радовать, ничего хорошего он не сулил. Надежда едет с Макаевым. И еще закрадывалась тревога — мало ли что может здесь она узнать о нем, Сереброве, но, несмотря на все это, независимо от опасений росла радость: Надежда едет к нему! Конечно, к нему, наконец исполнится то, о чем он так долго и наивно мечтал.

В те дни Серебров не раз встречал дядю Митю, который, озабоченно ругаясь, менял оглобли у потерявших праздничный вид выездных санок, скрипя галошами, волок домой моток испревших ременных вожжей и призывал оборвать руки тому, кто так хранит сбрую.

— Как бес на бересте, крутятся,— жаловался он.

В торжественное воскресное утро, отправляясь в Крутенку для встречи гостей, Серебров и Маркелов вспоминали, все ли сделано, чтоб показать Макаеву, ложкарские гостеприимство и размах. Вроде все было сделано «бастенько».

Из электрички Макаев выскочил в спортивном колпаке с пампушкой, в куртке и брюках с нарядными белыми лампасами. Ни дать ни взять — олимпийский чемпион. Следом за Макаевым выпрыгнула на заснеженную платформу Надежда. Как всегда, одетая ловко, по самому последнему журналу мод: в желтом колушке с белой опушкой, с шелковыми вензелями на застежках, ловких брючках, в расшитых такими же белыми вензелями сапожках.

— Вот это бабеч! — пропел Маркелов и истово заковылял навстречу гостям с раскинутыми руками.— Приветствую вас, дорогие друзья, на крутенской земле.

Макаев, до этого мельком выдавший Григория Федоровича, узнал его, обнял и даже поцеловал. Надежду Маркелов чмокнул в щеку по собственному почину.

— Ну, вот и мы,— обрадованно проговорила Надежда.

Глаза у нее влюбленно светились. Она была воплощением чуткости. Сереброву казалось, что она вот-вот выкрикнет ему: «Что же ты, Гарик, смурной-смурной?! Звал ведь, звал?! Думаешь, я приехала из-за Макаева? Из-за тебя, дурачок! Я хочу видеть, где твои хваленые Ложкари. Ну, вези меня или неси. Я на все готова». От ее сияющего сочувственного взгляда у Сереброва начал уходить из груди холодок. Как хорошо, что она приехала.

Белым огнем слепили глаза сугробы, райски безмятежной была голубизна неба, словно и погода загодя была запланирована в кабинете Маркелова. Серебров вел машину по сверкающей ледяной эмали тракта, веря и не веря тому, что Надежда сидит рядом с ним. Она рассыпала восторги. Когда хотела, она могла быть такой милой и простенькой, что Серебров невольно впадал в умиление.

— Ой, как все хорошо! Макаев, смотри, какой снег. Не снег, а серебро высшей пробы,— говорила она, глядя во все глаза на закуржавевшие деревья.

— Я могу показать тебе живую лошадь, настоящую корову. Ты отличаешь лошадь от коровы? — подзадоривал ее Серебров.

— Ой, Гарик, покажи,— радовалась Надежда.

Маркелов и Макаев джентльменски сели сзади. Макаев расспрашивал, как тут в Крутенском районе со строительством, есть ли своя самостоятельная организация или просто стройучасток. Макаев, видимо, хотел

показать, что он не лыком шит, в курсе сельских забот. Маркелов осторожничал, не срывался с предупредительно-вежливого тона, не зная, как отнесутся гости, если он выдаст шуточку позабористее. Пришлось Сереброву разрядить напряжение и рассказать заимствованный у Генки Рякина почти школьный анекдотец. Гости приняли его, и из Маркелова посыпались присловья:

— После ильина дня ночи длиннее, лошадь наедается, мужик высыпается. Дело к страде — райисполкомовцы звонят: «Григорий Федорович, начал ли жать?» — «Начал», — говорю. «Чего, рожь?» — «Да не чего, а на кого, — говорю, — на комбайнеров жать начал».

И Макаев, и Григорий Федорович взапуски состязались в остроумии, согласно и охотно гоготали, довольные друг другом, тем, что с ходу нашли взаимное понимание.

На двенадцатом километре во всем фанерном великолепии красовалась эмблема: коровья голова с деревянным колосом и обозначением, что начинаются земли колхоза «Победа». Здесь ждал гостей дядя Митя с санками, запряженными парой лошадей. Лошади пугались непривычного бряцанья колокольцев и недоуменно прядали ушами. Дядя Митя, подпоясанный кушаком, необыкновенно статный, с раздвоенной, как тетеревиный хвост, бородой, сделал варежкой под козырек. По случаю торжества нацепил он прямо на суконное полупальто медали за оборону своих и взятие закордонных городов, а также знак ветерана войны, подпушил лихие усы. Лицо у него было ответственным и строгим. Гости и хозяева вышли из машины.

— Мой заместитель по разным веселым вопросам, — сказал Маркелов.

— Так точно, — подтвердил дядя Митя и снова поднес рукавицу к шапке.

Праздничный и суровый, подал он гостям тулупы. Один с почтением — Макаеву, второй с пренебрежением — Надежде. Тут он не удержался от замечания.

— Оболокайся, девка, пуще, а то просвистит тебя. Сразу вижу, форсеть больно любишь, кровь в тебе играет.

Повизгивая от необыкновенности предстоящей поездки, Надежда забралась в санки. Ее умиляли и позванивающие колокольчики, и настоящие, живые заиндевшие лошадки в нарядной сбруе, и такой бравый стилизованный кучер. Все было, будто в кино, весело, цветасто,

шумно. Санки понесли по тракту залиvistый Надеждин смех. Гулко вторил ему сочный хохоток Макаева.

— Ой, Гарик, хочу жить в деревне! — отогнув необъятный воротник тулупа, успела крикнуть Надежда.

Дядя Митя, истово исполняя свои обязанности, встал и пошел накручивать вожжами над головой. Войдя в азарт, он кричал что-то давнее, ямщицкое. Наверное, так же забубенно гонял он на конях в жениховскую свою пору, с ходу покоря сердца девок и молодых. Так же, как те молодухи, испуганно, разжигаясь взвизгивала Надежда, когда дядя Митя, опасно накренив санки, повернул лошадей.

Серебров и Маркелов не спеша ехали в машине следом, довольные тем, что удивили гостей, что дядя Митя блестяще ведет свою роль и все пока идет «бастенько».

Из-за горы взнялись заиндевелые купы ложкарских сосен и развесистые, как дубы, дымы дяди Митиных печных труб. Помазкин замахал руками. Он и тут не утерпел — похвастал:

— Почитай, все печи складены моими руками.

У деревянного здания конторы дядя Митя сделал картинный крутой разворот, но перестарался и вывалил гостей в снег. Они, очумелые, раскатились по сугробу. Маркелов, загребая увечной ногой, заспешил к ним, готовый извиняться и на чем свет разносить дядю Митю за такую оплошность. Дядя Митя, потеряв осанистость, суетился, приговаривая:

— Вот оказья, вот оказья!

— Ну, Леонтьич, не ожидал я от тебя, — загремел Маркелов, помогая гостям выбраться из сугота.

Надежда, барахтаясь в тулупе, визжала и заливалась смехом.

— Да вы что, все так здорово, просто сказка! — кричала она и, подскочив, уже без тулупа, в своем ловком колушке, чмокнула дядю Митю в бороду. — Не старик — чудо!

Падение на виду у всех Макаева, наверное, слегка обескуражило. Но и он, трясая заснеженными полами тулупа, как крыльями, смеялся, хвалил Помазкина:

— Отлично, отлично, товарищи.

Экскурсию по колхозу Григорий Федорович решил начать со своего кабинета. Снеговое доброе утро било через окна на солнечные полы. Расторопный Капитон успел поставить на стол все, что полагалось. Весело поблескивали бутылки шампанского, неброско, но солидно

соседей с ними коньяк, в вазах желтели яблоки и мандарины. Знайте наших, мы тоже тут не лыком шиты. Все это Маркелов сделал для форсу, но, упаси бог, чтобы какое-нибудь бахвальство проскользнуло в его словах. Он привычно приbedнялся, прося гостей к столу:

— Давайте чем бог послал. Мандарины у нас растут прямо на елках. Вот Капитон сходил да нарвал.

На лицах гостей можно было уловить уважительное удивление: вот так деревня!

— Прежде всего с дорожки перекусим,— напомнил Григорий Федорович,— а потом, в зависимости от вашего желания, то ли проедем прямо в «райский уголок», то ли посмотрим усадьбу, фермы. Можно на лошадах, а можно и в машине.

— Арматура вам будет, стройте,— сказал Макаев.— Пасынки можете получить завтра. Я об этом позаботился.

— Вот это шефство! — откликнулся Григорий Федорович.— Не знаю, как вас благодарить.

Довольные, благостные, вышли они из конторы, чтобы прокатиться по Ложкарям. В санях ехать Макаев больше не хотел, и Григорий Федорович отослал дядю Митю в «райский уголок». «Газик» мчался по Ложкарям. Григорий Федорович решил показать панораму поселка. Размягченный, пустился он рассказывать, какая маленькая, захудалая деревенька была в начале его председательства, а теперь вот поселок в несколько улиц с каменной столовой и школой. Из заиндевелого облака сосновых крон живописно выглядывали крыши.

Макаев с явным перехлестом, но весомо проговорил, что вот теперь он в настоящем увидел деревню будущего, и это Маркелова тронуло еще больше, его охватил приступ благодарного красноречия.

— Сам Кирилл Евсеевич Клестов похвалил: ты, говорит, всех опередил со сселением деревень,— сказал Маркелов. Он любил вспоминать о том, что его колхоз понравился первому секретарю Бугрянского обкома партии Клестову.

Потом Григорий Федорович перешел к разговору на свою любимую тему — о том, что все он строит без кредитов, на свои колхозные средства.

— Ого,— одобрительно откликнулся Макаев, оценивая суммы, употребленные на строительство.

Григорий Федорович, конечно, проявлял небольшую забывчивость. Было дело, он и лесом торговал с помощью

Миняя Козырева, и менял кругляк на украинскую пшеницу: надо было жить, но все это уже быльем поросло. Теперь Маркелова похваливали за то, что колхоз, не в пример иным, без кредитов и ссуд укрепил экономику, и это ему льстило.

Надежда была рада, что ей не надо вникать в мужские разговоры. Лучше просто любоваться небом, снегом. Щурясь от солнца, она повторяла:

— Чудесно, Гарик!

После поездки по поселку опять, грохоча ступенями, поднялись в контору. Надежде и Макаеву все нравилось тут: и пихтовые, пахнущие смолой веники, которые подал им Серебров обмести обувь, и прокаленные морозом бревенчатые стены холодных сеней.

— Гудит дерево-то,— ударяя кулаком в бревно, радовался Макаев.— Все-таки лучше дерева ничего нет,— и, обнимая Григория Федоровича, вдруг разоткровенничался: — В общем-то, я, помимо всего прочего, приехал узнать... По-моему, это не составит вам труда. В общем, мне надо где-то раздобыть сруб для дачи. Есть уютное местечко на берегу Радуницы и... Да я и план взял,— и Макаев уже в кабинете достал из кармана ватман с открытку величиной, на котором был профессионально выполнен чертеж. Серебров заглянул через плечо Макаева в бумагу и кашлянул: силен мужик! Речь шла не о банном срубе, а о пятистенке с мезонином, резными антресолями, банькой и гаражиком. Ну и голова!

— Домик можно,— неосторожно проговорил Маркелов.— В старой деревне есть,— но, глянув на ватман, посерьезнел, однако на попятную не пошел: — Найдем.

Встретив взгляд Макаева, Серебров заметил увертливую искру. Видно, все-таки смущала Макаева эта просьба. Очень уж роскошный был домик на чертеже.

— Я думаю, мы будем помогать друг другу,— кашлянув, напомнил он.

Надежда, как только муж вытащил чертежик, заерзала на стуле, потом вскочила, подошла к окну.

— Ты опять за свое, Макаев? Когда это кончится! Не надо тебе никакого дома...— раздраженно сказала она.

— Как не надо? Деревянный дом. Знаешь, как приятно отдохнуть, опроститься, босиком по теплым половицам походить? — умиленно проговорил Макаев.— Ты, Наденька, тут ничего не смыслишь. Идите, погуляйте с Гарольдом Станиславовичем, а мы потолкуем. Гарольд

Станиславович, видно, тоже замешан на святой воде, так что погуляйте.

Их выгоняли.

— Пойдем,— решительно сказала Надежда Сереброву, и они вышли на крыльцо. Мороз ослабел, от половиц на крыльце шел пар. Капель бойко клевала наст, но Надежду теперь не умиляли эта благодать и сельская тишина.— Что за привычка у человека,— с прежней досадой проговорила она.— Не успеет приехать, уже начинает клянуть. То ему какой-то особый гараж надо, то сверхъестественный замок к гаражу, то шубу, как у Стерлегова, то шапку, то ковер, а теперь вот дом.

Они стояли на слепящем солнце, а Надежда, расстроенная, обиженная, продолжала корить своего Макаева.

— Ты знаешь, Гарик,— поправляя шарф на его шее, проговорила она.— Не смейся, но я перестала понимать его. Вроде жил в нужде. Понятно — надо иметь все необходимое. А он хапает и хапает, будто два века собрался жить. Зачем? И разговоры только об этом. Не о книгах, не о жизни, не о работе.

Серебров слушал этот шквал горьких слов и не мог понять, что случилось с Надеждой. Он помнил, как она рьяно защищала Виктора Павловича, а теперь принялась ругать без сожаления.

— Да нет. Ну неужели он такой? — проговорил, щурясь, Серебров.

— Ты не знаешь, у него ведь нет друзей, а только хорошие знакомые, которые могут и умеют доставать. Мне надоело его торгашество. «Ты — мне, я — тебе». Неужели в этом ценность людей? Он дружит только с теми, кто ровня или повыше. Выпьют после сауны, размячатся, снимут пиджаки: «Я могу тебе отпустить по высокому классу, есть вещи». А другой: «Я могу организовать шапочки, закачаешься!» Пусто, ты понимаешь, пусто как-то бывает на душе. Дружба за дефицит.

Сереброва озадачил этот неожиданный шквал каких-то глубинных, наболевших слов. Неужели она давно думает так о Макаеве?

— Наденька, да ты ли это? — спросил он, заглядывая ей в глаза.

— Не знаю, может, и не я,— с усталостью в голосе ответила она.— Раньше мне это нравилось, а теперь — нет. Ну ладно, хватит об этом. Пойдем, показывай, куда ты меня заманивал жить.

Серебров благодарно и нежно стиснул ее руку. Да, вот так, в такой же день могло осуществиться то, о чем он так долго мечтал. Надежда могла бы навсегда прийти в его холостяцкую квартиру но сейчас была только видимость всего этого.

Надежда придет, да не его Надежда.

— У меня ведь там вовсе нечего смотреть. Одна медвежья шкура, да и та принадлежит тебе,— застеснялся он.

Они проехали по тракторному рубчатому следу на «газике» к его дому. Со смущением Серебров провел ее в квартиру. Голые брусковые стены, стол да тахта, полка с книгами, магнитофон. Висели еще лосиные рога на стене да портрет Надежды. В углу лежала сложенная и увязанная медвежья шкура.

— Вот и все,— проговорил он, включая запись оркестра Поля Мориа.

— Хорошо, очень хорошо,— сказала она, оглядывая стены.— Что-то дама эта мне знакома. Ты украл у меня фотографию?

— Нет, ее продают в обойме кинозвезд,— сказал Серебров.— Красивейшая женщина!

То ли вправду довольная жилищем Сереброва, то ли тронутая беззащитным несовершенством его холостяцкого быта, Надежда повторила:

— Как хорошо у тебя.

Она подошла к окну: покатое белое поле упиралось в синее море леса, и в том море где-то далеко-далеко белели две церковные башенки дальнего села. Будто плыл белый кораблик под грустную музыку.

— Хорошо,— еще раз повторила она. Растроганный ее понятливостью, он обнял ее. Послушно прикикая к нему, Надежда проговорила:

— Извини, я бываю такой психопаткой. Мне до сих пор стыдно, как я обманывала и изводила тебя, а ты все переносил и терпел, Гарик.

— Ну, что ты, Наденька. Но ты, конечно, зря не вышла за меня замуж. Ты должна исправить эту ошибку.

Она погладила его по щекам, по волосам, вздохнула.

— Ты, наверное, Гарик, прав, что зря не вышла, и, наверное за это я поплатилась. Мне иногда кажется, что Виктор раскаивается, зачем женился на мне, ему бы лучше дочь директора завода, председателя облисполкома или еще кого-нибудь с крепкой волосатой рукой, кто бы пересадил его с «чугунки» на современный гигант

или в крупные областные начальники. Он бы создал для себя мощную непробиваемую твердыню.

— Ну, ты, наверное, зря так низводишь его,— стараясь быть объективным, проговорил Серебров. Ему показалось, что Надежда сегодня слишком придирчива к Макаеву. Впрочем, зачем о нем. Он отпустил ее, присел на тахту, взялся руками за голову.— Какие мы странные. Говорим. У тебя, наверное, временное недовольство Макаевым, тебе надо приехать ко мне или завести ребенка,— добавил он умудренно.— Тогда ты заполнишь вакуум в своей жизни, у тебя будет столько забот!

Надежда придвинулась к окну, провела пальцем по стеклу. Стекло противно взвизгнуло. Этот звук, видимо, передавал ее состояние, беспокойное, отчаянное. Она еще раз провела по стеклу пальцем. И вдруг у нее задрожали плечи. Серебров подбежал к ней, обнял.

— Ты знаешь,— повернув к нему заплаканное лицо, тихо сказала она.— Ты знаешь, Гаричек, у меня уже никогда не будет ребенка. Вначале он мог быть, но тогда Макаев не хотел, и я не хотела. Мы боялись, что я испорчу фигуру, а теперь не будет.

Надежда закусил дрогнувшую губу, лицо у нее скривилось, и она снова всхлипнула. Серебров еще теснее прижал ее к себе, погладил по голове.

— Ты не плачь. Может, это просто ошибка,— растерянно проговорил он. Надежда покачала головой.

— Не жалея меня, я сама себе все испортила.

«Милый, родной, бедный человек!» — подумал Серебров. Редко ему приходилось жалеть Надежду. Обычно он был в роли несчастливого, а тут у нее, у Надежды,— несчастье, и перед несчастьем она была растерянна и жалка.

— Вот тут,— сказал Серебров, чтоб успокоить и отвлечь Надежду от горького разговора,— ты бы жила и варила обед, если бы вышла за меня замуж. Там, под горой, пруд. Летом я ловил бы там рыбу.

Ему казалось, что с ним Надежда была бы счастливой. Во всяком случае, он был бы счастлив. Потом он подумал, что вспышка недовольства Макаевым у Надежды временная — все уляжется и сама она успокоится, а вот он, Серебров, опять останется один.

— Я бы тебя хорошо кормила,— подхватив этот разговор, сказала она, вытирая платком слезы.— Я научилась жарить котлеты с рисом и даже могу затушить зайца.

Что она еще умеет варить и жарить, Надежда договорить не успела. Застучали шаги по стылым половицам сеней, и на пороге возникла большеротая, с диковатыми глазами Галька Вотинцева, самая крикливая и шумная на ложкарском коровнике доярка. Серебров выключил музыку. В тишине особенно громко прозвучал заполошный голос Гальки:

— Гарольд Станиславович, свет погас! Нам доить надо, а электрика Дюпина нету! Он пьянуший. Все говорят: беги к Сереброву.

— Я приду,— сказал строго Серебров, прикрывая дверь, чтобы не дать Гальке возможность высмотреть, кто у него в гостях, но как-то невероятно, по-жирафиному мгновенно вытянув шею, Галька все-таки ухватила взглядом нарядную, красивую инженерову гостью, и у нее округлились глаза.

— Буду через пять минут,— повторил тверже Серебров.— Ну вот видишь, не дают нам побыть вдвоем. Ты посиди здесь или я тебя в контору завезу...— сказал он Надежде, надевая пальто и шапку.

— Я с тобой,— с готовностью воскликнула Надежда и вытянула привычно руки назад, чтобы он надел на нее кожушок.

Сереброву не хотелось брать Надежду с собой. Он был уверен, что ей не понравится в коровнике, да и доярки станут глазеть, а потом черт знает что понапридумывают.

Надежда заупрямилась.

— Я, Гаричек, хочу с тобой.

— Ты посиди в машине, а то там грязно,— проговорил с мольбой Серебров. Но Надежда пошла следом за ним.

В кормокухне было парно, как в бане, капало с потолка и стен, и Надежда в своем нарядном кожушке не знала, куда ступить, чтоб не запачкаться. В полутемном коровнике потные доярки разносили солому. Они были сердиты и неразговорчивы, оттого что запиروвал и лыка не вяжет электрик и им приходится все делать вручную. И ни у кого о них заботушки нет. Главный инженер тоже, видать, гуляет. Явился на двор с этакой модницей.

— Транспортер включали? — хмуро спросил Серебров Гальку Вотинцеву. Та даже не повернула к нему свое худое, нервное лицо.

— А ничо не работает, вот только пуп трещит! — крикнула она, видимо, нарочно и грубо и зло, чтоб зна-

ла эта заезжая чистюля, как тут им приходится добывать молочко. Немного ведь постарше она этой городской гостыи, а старухой смотрится.

Серебров пошел к пульту: так и есть, сгорели предохранители. Пока он искал их да менял, Надежда стояла рядом, сочувственно и виновато вздыхала. Тут она была вовсе смирной и тихой, не то что в своем ателье.

— Ой, Гарик, а я думала, что у вас везде машины,— шептала она жалостливо.

Когда двинулся скребковый транспортер и загорелся свет, в коровнике повеселело. Теперь Серебров без большой опаски пошел показывать Надежде, как доят коров, как выглядят автопоилки.

Надежда стояла за сердитой Галькой Вотинцевой, смотрела, как та ловко надевает на коровьи соски доильные стаканы, и испуганно шептала:

— Гаричек, а корове не больно?

Серебров молил судьбу об одном — чтоб не услышала этого Галька. Поднимет ведь на смех. Он увел Надежду на другой конец двора, где стояли мокромордые глазастые телята. Она долго гладила их. Добрые телята послушно принимали ласку, лизали руки.

— Ой, какие миленькие,— восторгалась Надежда.— Наверное, телятницей быть хорошо?

— Наверное, хорошо,— усмехнулся Серебров.

Когда они вышли из коровника на слепящую солнцем и снегом улицу, перед ними осадил машину Капитон. Маркелов и Макаев, довольные друг другом, сидели рядом. Без сомнения, они сумели обо всем договориться.

— А я смотрю, что за новая доярочка у нас,— заиграл голосом Григорий Федорович, увидев Надежду.

— Ой, как интересно, какие телятки! — умилялась Надежда.— Я понимаю теперь, почему Гарик не хочет отсюда уезжать.

Вот и «райский уголок», лес, диковато живописная изба. Когда шли к ней, Маркелов взял Сереброва под руку, поотстав от Макаева и Надежды.

— Тебе придется этим домом для Виктора Павловича заняться,— сказал он.

— Увольте,— вырвалось у Сереброва.— Только не это.

— Но ведь шефа надо отблагодарить. Он, знаешь,

какие нам трубы и конструкции дает? — проговорил Маркелов, хмуро глядя на инженера.

— А что, он торгует шефской помощью? Не он, а завод помогает,— уперся Серебров, понимая, что Маркелова такими словами не пробрать.

— Ну, это ты мне не толкуй. Твои знакомцы,— напомнил Маркелов.

— Я могу ему сказать, что нельзя! — вспылил Серебров.

— Ну ты, прости господи, рассуждаешь, как дитя,— нахмурился Маркелов.— Трудно мне с тобой.

Серебров решил, что наотрез откажется заниматься срубом для Макаева.

— Что за секреты? — крикнула Надежда, притаившаяся за деревом, и, дернув ветку пихты, осыпала сердитого Маркелова и недовольного Сереброва рассыпчатыми комьями и искристой снеговой пылью. Маркелов захохотал, изображая веселье и непринужденность.

— Ну, я вроде Деда Мороза. Пойдете ко мне Снегурочкой? — спросил он, обнимая Надежду.

— Я давно мечтала о таком дедушке,— откликнулась та.

Все так же, в обнимку, Маркелов повел гостью к «райскому уголку».

Григорий Федорович слова своего все-таки не сдержал. На искосившемся крылечке «райского уголка» широко улыбался простоволосый Огородов с полуаккордеоном на груди. У Сереброва неприятно засосало под ложечкой. Николай Филиппович, подвирая, отбарабанил туш и, изображая зазывалу, распахнул дверь.

Сереброва Огородов не замечал, и Серебров счастливо избежал общения с ним, сев за дальний конец стола. К нему пробилась Надежда.

— Я с тобой.

Теперь ее умиляли толстенные бревна, из которых была сложена изба, капитальный, из плах, стол.

Огородов и Маркелов принялись дружно очаровывать Макаева, предлагая разносолы. Дядя Митя шуровал в печи, Капитон разливал уху. Понеслось похохатывание Огородова. Он был в своей привычной роли хлебосола и рубахи-парня.

— Эх, любить так молодку, воровать так миллион. Вот, испробуйте лосиной печенки. Печенка в первую очередь гостям.

— Амброзия, слюнки текут! — кричал Макаев, уписывая жареную печень.

Дядя Митя, праздничный, но уже слегка размякший, готовый подпустить озорную частушку, подавал гостям зернистый мед, пылающую жаром отборную клюкву.

— Ешьте, ешьте, гостеньки, с ухи-то ух как бодрость берет! — пришамкивая, кричал он.

— Просто обалдение, а не уха,— нахваливала Надежда.

— Если ранишь лося, так он бежит, сучьями хрустит, а если не задел его, так никакого звука не услышишь. Я всегда знаю, что уложил его, от меня далеко не уйдет,— хвалился Огородов перед Макаевым.

Надежда заглядывала Сереброву в глаза. Он замечал ее ласковую, виноватую улыбку сквозь грусть, понимал, отчего она у нее.

— Как хорошо, что ты здесь, Наденька.

Она благодарно дотрагивалась пальцами до его руки.

Ее радовали и прогулка с дядей Митей на облучке, «райский уголок» со старинной избой, где все так просто и первородно, но, видимо, далек и чужд был ей гомон за столом, где царствовали Макаев и Огородов.

— Гарик, давай выйдем,— попросила она, когда Огородов потянулся к аккордеону, желая добавить веселья. Сереброва тронуло, как согласно с его чувствами понимает все Надежда, ему тоже не хотелось слушать старательный рев фальшивившего аккордеона.

Луками согнул снег юные сосенки, в сугробах под пихтами круглились пещерные лазы. Покойно было здесь, и говорить хотелось только шепотом. Пусть, выходя из себя, орет там Огородов.

— Как тихо,— говорила Надежда, отщипывая мерзлые ягоды шиповника.— Ты смотри, какая разная белзна: в тени она синеватая, на кустах совсем другая, серебристая, в следах вовсе иная.

Из «райского уголка» уже слышалась коронная макаевская вещь — «Свадебная песня» из оперы «Нерон».

— О, Гимене-э-эй,— старательно допел Виктор Павлович, и слышались аплодисменты.

Надежда кривилась: все одно и то же. Подняв лицо к солнцу и смежив ресницы, она стояла так перед Серебровым. Ему нестерпимо хотелось поцеловать ее. Милая, бесконечно близкая и далекая Надежда.

— Переезжай ко мне,— без всякой уверенности сказал он.

— Ты один меня понимаешь и всегда понимал, — благодарно проговорила она. — Лучше я тебя буду ждать в Бугрянске.

В окно забарабанил Маркелов, призывно замахав своей властной лапой. Они вернулись. Капитон и дядя Митя поставили на стол широкое блюдо с пельменями. От блюда шел ароматный пар. У Макаева вызрел тост, который должны были услышать все без исключения.

— Давайте, друзья, за взаимовыручку, за добрую отзывчивость и чуткость, — поднявшись, сказал своим хорошо поставленным голосом Виктор Павлович.

— Правильно! Вот это тост! — рявкнул Огородов.

Теперь уже тесен был стол, и, выбравшись из-за него, обнялись настоящие, надежные мужики: Макаев, Огородов и Маркелов. Они стояли неразбиваемой, до гробовой доски преданной друг другу троицей, и не было в природе такой воды, которая могла бы разлить их. Они целовались, клялись, еще и еще раз подтверждая свое братство, пока озабоченный Капитон, показывая на часы, не напомнил Маркелову, что остается до электрички меньше часа, а до нее ехать да ехать.

За окном предвечерне алел снег.

Маркелов скомандовал:

— По машинам!

Капитон все заботы взял на себя. Он успел поставить в машину кастрюлю с пельменями, чтоб не заголодали гости. С места он снялся с такой скоростью, что в белом облаке мгновенно скрылись и «райский уголок», и лес. Он знал: опоздай — отвечать ему. Когда Капитонова машина опережала серебрявский «газик», из нее несся мощный гогот. Вошедший в раж дядя Митя тешил высокого гостя озорными частушками. В Ложкарях Капитон высадил дядю Митю и опять перегнал Сереброву. На этот раз из машины могуче несло «О, Гименей». Теперь уж «Свадебную песню» орала вся компания. В «газике» Сереброву было тихо. Он ехал вдвоем с Надеждой. Она сидела сзади и лепетала:

— Гарик, ты милый, почему ты такой хороший?

Потом она обняла его за шею, и хотя в объятиях машину вести было неудобно, он ехал так и целовал ее руки. Ему было хорошо с этой блаженной, бесконечно доброй Надеждой, благо, стекло залепило снегом. Серебров не включал «дворник», чтобы встречные шоферы не увидели, каким лихачом, в обнимку с красавицей катит инженер Серебров.

— Гаричек! Ты чудесный, я люблю тебя,— шептала ему на ухо Надежда. Он благодарно ловил губами ее пальцы.

На вокзале троица долго и трогательно прощалась. Взысленный Капитон безропотно бегал за билетами, вытаскивал на платформу ложкарские дары: эмалированное ведро с медом, оплетенную бельевым шпагатом медвежью шкуру, кусман лосятины, пожертвованный Огородовым. Макаев, забавляя публику, повесил через плечо лапти, подаренные ему дядей Митей. Он был добр, прост, и ему нравилось быть таким.

— Мы с тобой, Макаев, как баскаки,— вновь не то шутила, не то поддевала Надежда мужа.— Знаешь, были такие сборщики дани. Знаешь?

Огородов хохотал, показывая широкие бобровые зубы, Макаев туповато кивал жене и грозил пальцем.

— Баскакова я знаю, у нас на заводе... Это тебя все сбивает с толку Серебров. Он вредный молодой человек, очень вредный. Я его знаю,— повторял Виктор Павлович и грозил пальцем Сереброву.

— Нет, он лучше всех вас,— сердилась Надежда, топая сапожком.— Он добрый, он честный.

— Он честный? Он — дерьмо,— густо и авторитетно припечатал вдруг Огородов.— Это такое дерьмо! Он моей дочери жизнь испортил, он мне жизнь испортил.

Все смолкли. Макаев посмотрел на Сереброва с осуждением.

— Да что вы, парни,— заорал в растерянности Маркелов.

У Сереброва отхлынула от лица кровь. Давно прибегаемый Огородовым камень вновь вынут из-за пазухи, нанесен рассчитанный удар, теперь может последовать еще один. А что ответит он? Все ждали этого. Что же сделает он? Станет оправдываться, пустится в объяснения или полезет к Огородову драться? Серебров круто повернулся и, не попрощавшись, быстро пошел с платформы. Он еще слышал, как со слезами в голосе кричала Надежда:

— Ой, какие вы! Ненавижу! Самоуверенные, злые! Ух какие! Гарик, не уходи! Они все противные! Гаричек, останься!

Басовато простонала электричка, заглушая слова Надежды. Серебров не видел, как вспаренный Капитон грузил гостинцы, втаскивал в вагон хорохорившегося Ма-

каева — тот вновь хотел сказать что-то страшно значительное.

Серебров сидел в машине. Ах, как было все мерзко. Ну и негодяй Огородов — выждал момент. И при ком сказал — при Надежде. Ах, негодяй! И дернуло Маркелова позвать этого «банкира». Что теперь подумает Надежда? Она будет его презирать. И Макаев каждый день станет напоминать ей об этом инциденте. Тьфу, как противно! Как противно, как мерзко!

Капитон погрузил в свою машину Огородова, который на всякий случай делал вид, что сильно подгулял, а Маркелов виновато взгромоздился рядом с Серебровым и побабьи вздохнул.

— Ох-ох-ох-ох, ходишь — торопишься, живешь — колотишься, еще — давишься, когда поправишься. Как ни бьешься, к вечеру напьешься.

Серебров не посочувствовал Григорию Федоровичу. Он мрачно вывел машину на тракт. Ему не хотелось ни о чем говорить. После оказавшегося вдруг таким бестолковым дня остались утомление, горечь и обида. Отвратное состояние, когда чувствуешь себя никчемным, глупым и даже подловатым. Именно подловатым. А в общем-то так ему и надо! Это должно было случиться.

Машина почти бесшумно катила по гладкой, будто проутюженной дороге. Сияли под луной обочины. Искристая ночь гналась за машиной. Уронив на грудь увенчанную белой шапкой магараджи тяжелую голову, Маркелов всхрапывал. Он спал. Это был счастливый человек. Его не мучили тревоги, он был сейчас свят.

Холодея от внезапной внутренней ясности, Серебров вдруг понял, что теперь он окончательно и навсегда потерял Надежду. Ему стало сиротливо, к горлу подступили слезы. Он беззвучно сглотнул их.

СОПЕРНИКИ

В этот день он поднялся ни свет ни заря: надо было принять механизацию в новом ложкарском коровнике, а потом жимануть на машине в город Усть-Белецк, к сказочно богатым строителям завода-гиганта, чтобы выклянчить у них кафельной плитки для облицовки стен в детском садике.

На коровнике Серебров лез во все щели, уличая в недобросовестности жуликоватых монтажников из ЛМУ.

Водопровод был смонтирован так, что по всему коровнику шел пугающий гул. Трубы вибрировали, а небритый заикающийся мастер Хохлов успокаивал главного инженера, говоря, что это пройдет.

— Вы что, мать вашу, хотите, чтобы быка инфаркт хватил? — выходя из себя наступал Серебров на мастера. — Своему человеку не могли по-честному сделать? С такой вибрацией не приму. Делайте перевод, чтоб не было вибрации.

Он ругался, хотя проявлять особую строгость было недосуг: доярки вели коров со старого скотного двора на новое место, и сам Серебров спешил в Усть-Белецк. Монтажники об этом догадывались. Кроме того, они отлично знали: пообещай доделать, и колхозный инженер подпишет акт. А потом бог знает, когда попадут они сюда. Забудутся все эти недоделки.

Серебров тоже это отлично знал. Он сам взялся за электросварку, чтоб выбросить из трубы звено для перевода, который бы гасил вибрацию. Нахватался «зайчиков», в глазах потускнело, но все же раскачал монтажников — поняли, что на этот раз не смухлевать и с недоделками монтаж сдать не удастся.

Сто двадцать километров до Усть-Белецка и обратно по апрельским непрочным дорогам вовсе измотали его.

Уже в полной темноте Серебров медленно проезжал мимо повортки на Ильинское. Неожиданно свет фар выхватил из темноты женщину с закутанным в полосатое одеяльце ребенком, девчущку с чемоданчиком. В женщине Серебров сразу узнал Веру. Он притормозил машину. У девчущки из-под подола пальто виднелся белый халат. Она первой подбежала к машине и всполошенно затараторила:

— Довезите нас, пожалуйста, до Крутенки. Девочке очень плохо, очень плохо.

Свет безжалостно бил в глаза Вере, державшей ребенка. Она, как слепая, шла к машине. Серебров выскочил навстречу — помочь. Вера не отдала ему свою ношу.

— Что с Танечкой? — спросил Серебров сдавленным голосом.

Вера в плаче затрясла головой и ничего не ответила. Сжав зубы, он повел машину. Вот такая встреча.

— Быстрее, быстрее надо! — заторопила его севшая сзади медичка, совсем еще юная узкоглазая татарочка.

Вера, зареванная, с темными подглазницами, прижи-

малась губами к воспаленному темнобровому личику Танюшки и шептала, как молитву: «Милая моя, золотко, кровиночка, потерпи». Иногда она растерянно смолкала и с испугом оборачивалась к медсестре: в глазах стояли отчаяние и боль. Курносенькая, с детским личиком, с черными, как пуговики, глазами, медсестра спешно открывала свой чемоданчик и строго говорила: «Остановите, укол!». Серебров с готовностью держал коробку с ампулами, но когда медсестра поднимала безжалостный шприц, отворачивался, чтобы не видеть: такой малышке — и укол!

Танечка слабо постанывала. Серебров хотел было что-то сказать утешительное, но, сжимая зубы, молчал. Вера еще сильнее расплачется, если он подаст голос. Решительные брови вразлет придавали Веринуму лицу твердость и отчужденность.

На изрезанной водополицей дороге машину нещадно било, и Сереброву казалось, что от толчков этих тяжелее Танечке. Он притормаживал.

— Быстрее! Ты можешь быстрее? — кинув на него полный отчаяния взгляд, взмолилась Вера.

— Я думал, трясет, — виновато объяснил Серебров.

— Быстрее, быстрее! — всхлипывая, повторила Вера, и он погнал машину, не обращая внимания на то, что их немилосердно бросало из стороны в сторону.

Девочка-медичка шепотом рассказывала Сереброву о болезни Танечки. Та занемогла три дня назад. Думали, ангина, а оказалось что-то другое. Температура сорок. Решили ехать в Крутенку, а в колхозе даже легковушки нет, грузовые в разъезде.

— Я сказала: пойдете на поворотку, на дороге любую машину задержим. И задержали вас. — Девчушка проводила языком по сохнувшим от волнения губам и в который раз повторяла, как она догадалась, что надо идти на поворотку. Ей нравилось, что она такая решительная и практичная.

«Газик» мчался сквозь белый мрак, по днищу колотила галька, словно невидимый барабан отбивал нестройную дробь. Повизгивали на поворотах тормоза. Рискованно гнал машину Серебров, а Вера, словно в беспамятстве, все повторяла: «Быстрее, быстрее!» Недалеко от Крутенки дорога была перекрыта — не то провалился мост, не то чинили полотно. Это место объезжали по полю. Мощные скаты грузовиков успели пробить на целине глубокие колеи, и «газик», трясясь на них, натууж-

но воя, вот-вот готовый сесть на дифер, чудом протаскивал себя по снежному коридору. Серебров отчаянно крутил баранку и молил неведомого бога дорожной удачи, чтоб скорее кончился этот невыносимый крюк. Вдруг лучи фар уперлись в голубой кузовок трактора «Беларусь»: впереди стояло десятка полтора разных автомашин. Заstopорил движение «Урал», угодивший колесами в яму. Серебров кинулся к шоферам, стоявшим на высокой снеговой обочине: ни дать ни взять — полководцы при форсировании водного рубежа.

— Эй, нет, что ли, посильнее машины? — крикнул он.

— Кабы была, — сказал губастый, толстый шофер, которого все называли почему-то Тыквой. — Вертолет вызывай, инженер.

— Ну, хватит лясы точить! — прикрикнул с непрекращаемой твердостью Серебров и ткнул рукой в долговязого шофера. — Ты беги в Сельхозтехнику! Попутную возьмешь или лучше позвони Ольгину Арсению Васильевичу. Скажешь — Серебров трактор просил. Дорогу надо проткнуть срочно. Больного везем. А ты, шутник, — обратился он к Тыкве, — выведешь мой «газик» и подгонишь к Сельхозтехнике.

Острый на язык Тыква не возразил. Значит, надо, раз требует этот уверенный, энергичный колхозный инженер.

Когда Серебров подбежал к своему «газику», из машины доносились всхлипы. У Веры лицо опухло от слез. Медсестра снова достала свой безжалостный шприц.

— Вера, — сказал Серебров тем же виноватым севшим голосом, — придется Танечку нести. Пробку тут еще через час ликвидируют. — Он высвободил из рук Веры Танечку и рванулся вперед. Он пер по обочине мимо машин и шоферов, как бульдозер. Хорошо, что мороз положил наст. Серебров знал, что теперь все зависит от него. Сбоку, запаленно дыша, спешила Вера.

— Машину лови! — с сиплой одышливостью крикнула она. Бежали уже вдоль тракта. Серебров понял, что Вера права. Он отдал ей Танечку и помчался вперед. Машин, как назло, не было. Навстречу им по обочине из сияющей огнями Крутенки ехал в санях мужик. Он стоял на коленях и весело погонял буланку. Серебров замахал руками, пытаясь остановить подводу, но мужик игриво объехал его и погнал лошадь дальше. Серебров расвирепел. Догнав подводу, он прыгнул в нее, оттолкнул мужика и, забрав у него вожжи, круто повернул лошадь. Мужик

вывалился из саней. Он, видать, не очень твердо держался в них. Посадив в сани Веру с Танечкой и медичку, Серебров погнал лошадь, не обращая внимания на крик возницы.

Он подъехал к самому больничному крыльцу и, распахивая широко двери, пропустил Веру с медичкой в приемный покой, нашел врача и позвал его. Потом долго, никому не нужный, сидел он на белом диванчике — ждал, когда появятся в коридоре врач и Вера. Наконец вышел стриженный под ежик главный врач. Серебров бросился к нему.

— Будем надеяться на лучшее, — распуская закатанные рукава халата, проговорил тот.

Лошади возле больницы уже не было. Наверное, взял ее возница. Усталый, разбитый, Серебров доехал на попутном самосвале до Сельхозтехники. «Газик» стоял там. Прежде чем повернуть ключ зажигания, Серебров достал сигарету, но не сразу поймал ее губами. «Надо посидеть немного. Прийти в себя, — подумал он. — Рано сегодня встал». Выкурив сигарету, он поехал к магазину, а потом к больнице.

Нагруженный кульками с печеньем, конфетами, банками с компотом, зашел Серебров в приемный покой.

— Позовите Веру Николаевну, — попросил он сиделку.

Вера вышла в больничном халате. Волосы у нее были гладко зачесаны. Эта прическа с валиком на затылке делала ее намного старше. Лицо утратило боль и напряжение, но выглядело изнуренным.

— Ничего я не возьму! — начала она отказываться от покупок.

— Как Танечка? — переключившись насильно ей в руки кульки и банки, спрашивал Серебров.

— Теперь лучше, — со вздохом коротко ответила она, и в глазах опять блеснули слезы.

— Может, что надо? — хмуро спросил Серебров, но Вера словно не слышала его. — Может, лекарства? Я в Бугрянск позвоню отцу, — добавил он.

— Нет, не надо. Ничего больше не надо, — холодно проговорила она и ушла. Вовсе чужим, даже хуже чужого считала она его.

Осторожно подходила весна, по утрам примораживало: не знаешь, надевать ли привычную шапку или уже можно щеголять в берете. Серебров, прыгая через рва-

ные мерзлые колеи, бежал в мастерские, потом на машинный двор, где шла регулировка сеялок. Вот-вот потянет теплом, окончательно оголится от снега земля, и Федор Проклович Крахмалев на высоких местах, веретях, затеет сев, а сеялки еще не готовы. Нет семепроводов, и мчится Серебров в Сельхозтехнику, христом богом молит Ольгина, чтоб пожалел и дал их. А потом вдруг срочный маркеловский приказ:

— Жми, Гарольд Станиславович, за универсальными прикатывателями. Говорят, штука хорошая, хоть один выпроси у Чувашова.

И Серебров ехал к Александру Дмитриевичу, просил прикатыватель. Но даже в самые трудные дни выкраивал он часок, чтоб заглянуть в крутенскую больницу к дочери. Нянечки привыкли к появлению Сереброва, иногда пускали его в палату. У Сереброва начинало теснить в груди, когда он видел Танечкино бледное личико с подвижными бровками, тянущиеся к нему ручки.

Веру эти визиты сердили. Сначала она молчала, с неодобрением терпела Сереброва, а однажды, встретив у больничной калитки, сказала ему решительно и неприемлемо:

— Вот что, Гарольд Станиславович, хватит. Больше не ходи. Танечка лепечет о тебе, а мне это не надо. Понимаешь? Ни к чему это,— и с мольбой прижала к груди руки.

Серебров потянулся было прикоснуться к этим рукам, но не решился. В Вериных глазах стояло страдание, в голосе звенели досада и боль. Вот-вот прорвется слеза.

— Чем тебе из Ильинского ездить в такую даль, я по пути заскочу,— с показной успокаивающей простоватостью говорил Серебров.— Я ведь каждый день бываю в Крутенке.

— Не надо. Слышишь, не надо! — повторила Вера, и обида зазвенела в ее голосе.

Несмотря на запреты, Серебров продолжал заезжать в больницу. Содрав в раздевалке пахнущую машинами куртку, он накидывал поверх пиджака халат и с радостным волнением входил в палату. Танечка узнавала его и, встав в кроватке, печально улыбалась ему. И таким разумным был взгляд этих усталых глазенок, что у Сереброва каждый раз сдвигалось что-то в груди. Он, конечно, он был виноват в том, что у Танечки уже в два года был такой озабоченный, серьезный взгляд.

Серебров приносил дочери кукол, пластмассовых бе-

лок и зайцев, иногда ему удавалось почитать ей на разные голоса сказку «Три медведя». Девочка улыбалась, но усталость в глазах не исчезала. Казалось, что она смеялась не так, как смеются имеющие отцов ребяташки. Танечка долго не отпускала Сереброва, повторяя: «Иссе, иссе». Он целовал ее клейкие от конфет пальчики, к которым прилипали какие-то пушинки.

— «Еще» нельзя, машина ждет,— говорил он ласково и, разжимая цепкие пальчики, вставал.— Я тебе привезу Буратино. У него длинный нос и глупые глаза, а ты не плачь. Я обязательно привезу.

Иногда Таня соглашалась без слез, иногда плакала.

Раза два Серебров сталкивался в больнице с матерью Веры — Серафимой Петровной. На лице ее уже видны были следы старости. Седина побелила виски. Серафима Петровна огрузла. В глазах ее читался укор. Хорошо, что Серебров не столкнулся здесь с Николаем Филипповичем. Тот бы сжег Сереброва своим презрением. Но вряд ли «банкир» навещался в больницу. Шел слух, что Вера по-прежнему с отцом почти не разговаривает, и Николай Филиппович на примирение с дочерью не идет.

Конечно, вся Крутенка уже говорила, что неспроста Серебров появляется в больнице. Полузабытые слухи и подозрения, осевшие в чьих-то памятливых головах, теперь всплыли снова. «Пусть болтают»,— равнодушно думал он. Появилось что-то бесконечно более важное, чем все эти разговоры. А Веру они раздражали. Встретив Сереброва в больничной раздевалке, она посмотрела на него уже совсем враждебно.

— Не надо душу мне травить, ты слышишь?! — твердила она, надевая тесный больничный халат.

— Ну, Вера, ну, давай поговорим по-хорошему,— попросил он, держа в руках свою куртку.— Я много передумал. Мы должны быть вместе...

Вера, резким движением ладони утерев глаза, ненавидяще прошептала:

— Не приходи! Я тебя прошу, не приходи! Тебе кажется, что это чуткость и доброта, а это — пытка. Неужели тебе не понятно?

Раньше бы он вспылил и ушел, а теперь и вспылчивость, и гордость куда-то исчезли. Он стоял перед ней, колукая выбоину на больничном подоконнике, и продолжал путанно объяснять, что не может без них и что ближе, чем они, у него никого нет. И пусть Вера его простит, если может.

— Неужели, Верочка, у тебя даже капли прежнего чувства не осталось? — допытывался он.

— Давай договоримся раз и навсегда, — хрипло обрвала она. — Мы чужие люди. Ты не знаешь меня, я — тебя. — Лицо ее вдруг обмякло, губы некрасиво задрожали, расползлись, и Серебров почувствовал себя злодеем, палачом и мучителем.

— Ну, извини, извини, — покаянно проговорил он.

— Уходи, слышишь, уходи! — с ненавистью выдохнула она, судорожно ища в сумочке платок. Он побито вышел из больницы и по затопленной грязью улице побрел к Сельхозтехнике.

Через два дня он все-таки не выдержал и зашел в больницу с Буратино в руках. Когда он шагнул с солнцепека в затененный вестибюль, сбросившая дрему санитарка тряхнула головой и сочувственно протянула:

— Ой, жданной, дак уж выписали Танюшку. Уехали они, недавно уехали. Заходил рыжий учитель из Ильинского, который клубарем-то работал, дак он и увез. На мотоцикле с коляской был. Увез.

Серебров, выскочив из больницы, ужаснулся, как Вера решилась везти Танечку на мотоцикле?! Танечка простынет!

Он подогнал машину к автобусной остановке, потом к автостанции: может, еще удастся найти их? Но Веры нигде не оказалось. Дернул черт приехать этого Валерия Карповича! И вдруг Серебров вспомнил намек завроно Зорина. Этот хлипкий, золотушный, но веселый мужик сказал как-то, повязывая под шапку женский головной платок от простуды.

— Ты, Гарольд, ухо остро держи. Не прохлопай Верочку, а то за ней приударяют. Учителя тоже не промахи.

Серебров тогда лишь усмехнулся. А теперь понял, кто не промах в Ильинском. Валерий Карпович — вот кто. Сереброву никогда не нравился этот человек. Казались неестественными его повадки плохого драмкружковца. Здороваясь, он изображал рубаху-парня и с замахом хлопал встречного по руке. Говорил, встав в позу, что ему не дают ходу, что его зажимают. Окончательно осердившись на клубную работу, которая не приносила ему ни должного уважения, ни средств, ударился по оформительской части: малевал для колхозов плакаты, диаграммы, графики. Его кривобокие коровы и похожие на степных сайгаков овцы пестрели на всех придорожных и прикон-

торских щитах. В глаза и за глаза колхозники называли Валерия Карповича Помазком.

Как-то Серебров, увидя его одиноко шагающим по дороге, остановил машину. Помазок был не то в плаще, не то в халате, испятнанном краской. Он нес фанерный, вроде этюдника, ящик на брезентовом ремне. На лице Валерия Карповича прибавилось веснушек — они были словно брызги от сурика. В потускневших глазах светилась ожесточенность. Видно, и от Сереброва ждал он вредных вопросов, поэтому сразу объяснил:

— Отпуск у меня, а я работаю. Очень даже удивительно — почему, да?

— Да, удивительно. Что же ты себя истязает? — откликнулся насмешливо Серебров.

— А очень даже ясно. У меня ведь бабки-миллионерши нет, а мне надо «Жигуленка» или «Москвича» купить. Я этого в секрете не держу, надоело всю жизнь стоять на обочине с поднятой рукой и глотать пыль.

— Не поешь разве теперь? — спросил Серебров с деланным интересом.

— А-а,— махнул расстроено Помазок покрытой чешуйками краски рукой.— Очень даже невеселое занятие.

Видно, пришел Валерий Карпович к неожиданному для себя выводу, что прозевал он что-то в жизни. Судорожно наверстывая потерянное, он работал в школе и брался преподавать все — от физкультуры до математики, соглашался, если за деньги, изображать Деда Мороза на детских елках.

«Неужели Вера, умная женщина, не понимает, что не тот человек — Валерий Карпович?» — мучительно думал теперь Серебров, ведя машину по дороге в Ложкари.

Ему стало до того нехорошо и тоскливо, что он остановил «газик» и вышел на обочину. Неподалеку свежо и умыто стоял лес. Стволы осин, толпившихся в подлеске, были зелены от молодой весенней силы, хотя в распадах еще по-зимнему гребешками тянулись снежные суметы. Невидимые пичуги так отчаянно и задорно пели, создавая свой неведомо как организовавшийся оркестр, что Серебров поразился: птицы знали толк в музыкальной грамоте. В небе дисциплинированно, углами, плыли гуси. Серебров проводил их взглядом и сел в машину. Он вдруг подумал, что не отдаст Веру Помазку и что должен поехать сейчас же в Ильинское. Не отдаст ни ее, ни Танечку. Чтобы расчетливый Помазок стал отчимом его дочери? Никогда!

Уже вечерело, когда он повернул к учительскому пятистенку. Он знал, что Вера теперь живет не в шумящем от сквозняков, скрипучем общежитии, а в рубленном двухквартирном доме. В окнах горел свет, и Серебров не таясь, взошел на крыльцо.

Вера что-то делала у печки на кухоньке, отделенной занавеской от коридора, а Танечка, повязанная платком таскала на бечевке игрушечный автомобиль и, надувая губешки, пищала:

— Би-би-би...

Серебров присел перед дочкой и вытащил из-за пазухи Буратино.

— Я приехал на биби, и вот тебе Буратино. Ну, как ты? — спросил он. Танечка прижала к себе Буратино и забыла об автомобиле. Выглянула Вера. Серебров поднялся. — Что же ты не сказала, что выписывают Танечку? Я бы довез.

— Ну зачем вас тревожить? — создавая дистанцию этим «вы», ответила Вера.

— Какое беспокойство, что ты, Вера! — воскликнул он, снимая куртку.

— Где нам до вас, Ложкарей, — все клонила она к отчуждению. Сереброва это насторожило. Нет ли здесь кого-нибудь еще? Он заглянул в большую комнату. Там уютно устроился на диване Валерий Карпович в семейных тапочках и мастерил от нечего делать бумажную лодочку. Вид у него был приличный, чувствовалось, что эта обстановка для него привычна, что он на законных правах обосновался тут. Одет торжественно: белая рубашка, коробящийся новый галстук. «Сумел все же пролезть», — враждебно подумал о нем Серебров, но изобразил на лице приветливое удивление и спросил:

— Ну как, «Жигуленка» не купил, Валерий Карпович?

— Нет пока, жду, — ответил тот, нахмутив белесые брови. — Разве нынче без знакомства сразу купишь? Вот бы «газик» списанный где-то раздобыть. Может, у вас в колхозе есть? — вдруг загорелся он.

Да, он чувствовал себя по-хозяйски, а Серебров не мог справиться с возникшим от неожиданной этой встречи смущением. Сказал к чему-то, что вот заглох у него мотор. Нет ли у них какого-нибудь проводочка?

— Может, свеча? — спросил Валерий Карпович, готовый на правах хозяина помочь. Он даже знал о существовании свечи.

— Нет, не свеча,— обрел наконец холодность Серебров.

Вера вышла в сени за проводочком, Серебров двинулся следом за ней. Она молча начала перебирать что-то в ящике.

— Не ищи, ничего мне не надо,— сказал он и взял Веру за запястья.— Мы должны... я хочу...— взволновавшись и не зная, как высказать суть своего порыва, проговорил он.— Мы должны с тобой пожениться. Я приехал тебе об этом сказать.

У Веры в усмешке дрогнули губы. Она покачала головой.

— Поздно, Серебров, разбитую тарелку не склеишь,— пытаюсь вырвать руки, сказала она.

— Почему поздно? Есть такой клей универсальный...— начал он.

— И поздно, и ни к чему, Гарольд Станиславович,— покачала она головой. Теперь она была спокойна, голос ее звучал твердо.

Серебров сердито скрипнул зубами.

— Может, из-за этого, из-за Помазка?

— Неважно из-за чего. Ни к чему, и все,— ответила уклончиво Вера.

— Я тебя ни за что не отдам,— зло прошептал он.— Ты слышишь, ни за что! Ведь Танюша...

В усмешке дрогнули уголки Вериных полных губ.

— Сердце-то ведь завоевывают не силой,— проговорила она, с досадой глядя на него.— Отпусти.

Но Серебров Вериных рук не отпускал.

— Тебе не кажется, что твои нахальство и самоуверенность в общем-то выглядят довольно глупо? — спросила она, все стремясь высвободить руки. Серебров подумал, что явись теперь в сени Валерий Карпович, и вправду все будет выглядеть по-дурацки, но он упрямо крутнул головой.— Как тебе не стыдно, в какое положение ты ставишь меня? — с отчаянием прошептала Вера.

Поиски проводочка в сенях явно затягивались. В комнате томился Помазок, очевидно, чувствовавший себя до этого чуть ли не хозяином в доме. О дверь шлепали мягкие Танюшкины ладошки, слышался ее лепет: «Ма-ма, ма». Вера шепотом грозила, что позовет на помощь Валерия Карповича, если Серебров сейчас же ее не отпустит.

— Все, все, обо всем переговорено,— повторяла она.

— Но я не могу,— упрямо говорил он.— Не могу от-
дать тебя.

— Тебе, наверное, доставляет удовольствие мучить меня, да? — устало сказала Вера. Лицо у нее было сердитое, отчужденное, и Серебров опасался, что вот-вот та теплинка, которая на миг мелькнула в ее глазах, когда он зашел в квартиру, исчезнет. И уже навсегда.

Его бесило сознание своей ненужности. Да, конечно, они обойдутся без него. Жили же. Он отпустил Верины руки. Она досадливо потерла покрасневшие запястья.

— Ну, я пошла. А если тебе нравится стоять здесь, стой.

— Подожди,— сказал он.— Я не могу без тебя и без Танечки.

Вера ничего не ответила. Открыла дверь и ушла.

Серебров давно не испытывал такого унижения: с ним не желали говорить, его гнали, не скрывая, что он тут лишний... Но, видимо, не осталось у него никакой гордости. Серебров постоял немного в сенях и с глупой миной шагнул обратно в квартиру.

— Наверное, аккумулятор сел,— соврал он и, сняв сапоги, в одних носках прошел в комнату. Серебров решил во что бы то ни стало пересидеть Валерия Карповича и доказать, что должен быть здесь главной фигурой. Здесь его дочь, Вера любит его — он точно знает, что еще любит.

Услышав стук открываемой консервной банки, он встал, прошел за загородку, насильно взял из рук Веры нож и открыл консервы. Он, пожалуй, перекусит. Спешить ему некуда. В конце концов интересно же узнать, кто из них окажется терпеливее или, уж если называть все своими словами,— упрямее и нахальнее.

— О-о, что это у тебя? — крикнул Серебров, увидев аккуратно переплетенные тома.

— Это репродукции с картин,— взмахивая скатертью, прежде чем расстелить ее, сказала Вера.— Чуть ли не весь Серов, Нестеров, Пластов. Это Валерий Карпович переплел.

Тот, краснея, застенчиво опустил взгляд.

Серебров хотел было посмотреть репродукции, но, раз их переплел Валерий Карпович, не стал даже притрагиваться к ним. Он вытащил «Похождения бравого солдата Швейка» и, найдя любимое место, начал читать вслух. Он громко читал, крутил головой, хмыкал, хотя видел, что Валерию Карповичу смеяться не хочется и Вере тоже. Одна Танечка выручала его — не понимая, смеялась, поддерживала своего бедного отца.

Валерий Карпович растерянно поглядывал на Веру: откуда, мол, взялся этот нахал? Потом во взгляде его появилась обида. Он не понимал, зачем Вера привечает этого самовлюбленного Сереброва, который испортил ей жизнь. Она даже пригласила его отужинать, и тот, потирая руки, сел, хозяйски оглядывая стол. Тоскливо жуя картошку, Валерий Карпович косился на серое вечернее окно, покрывшееся от тепла бисеринками пота.

— А чай будет? — спросил Серебров. — Я помню, как отлично ты заваривала чай. — Он без зазрения совести запоздало льстил Вере, чтоб показать, что его давно связывает знакомство с ней.

— Я уже забыла, что отлично заваривала чай, — уходила она от опасных воспоминаний.

Вера и Валерий Карпович осторожно вели нудноватый разговор о расписании уроков. Серебров делал отчаянные усилия, чтоб найти лазейку и вставить свое слово. Не дождавшись такой возможности, он начал ни к селу, ни к городу рассказывать о рыбе ротане, которую какой-то дуралей привез с Дальнего Востока. Так вот она выживает из подмосковных прудов всю остальную рыбу, потому что пожирает икру. Боязно, как бы не забралась в здешние водоемы. Вера и Помазок подавленно слушали. Серебров вдруг смолк: они его могут сравнить с такой вот рыбиной-живоглоткой. Он ведь тоже без позволения влез в их уют. Но он махнул рукой: будь что будет.

Видимо, обида все-таки растравила Помазка. Непонимающе взглянув несколько раз на Веру и не получив ни ответа, ни поддержки, он произнес в конце концов желанные для Сереброва слова: «Мне пора домой». Серебров тоже встал.

— Мы вместе с Валерием Карповичем пойдем. У меня есть фонарик. Видимо, аккумулятор у механика придется клянчить.

Они шли, поругивая апрельскую грязь, ильинскую темень, и оба тихо ненавидели друг друга. Серебров довел Валерия Карповича до квартиры и повернул обратно. У Веры еще горел свет. Уже виноватый и робкий, он осторожно постучал в дверь.

— Ну, что еще? — измученно спросила она, услышав его голос.

— На секундочку.

Она помедлила и отперла дверь. Лицо у нее было бледное, усталое и бесконечно родное.

— Прости меня,— сказал он шепотом.— Я, конечно, нахал, но я тебя люблю.— Он взял ее руку и прижал к губам.— Не отталкивай меня, я все понял, все, я хочу быть с тобой.

— Ох, как я устала от всего,— отнимая руку, сказала она.— Оставь меня.

Он свистящим шепотом доказывал, что не может без нее. Она качала головой и снова отстранялась.

Когда Серебров, злой на себя и на Веру, отъезжал от учительского дома, свет фар выхватил жавшуюся к пряслу фигуру Валерия Карповича. Серебров остановил машину и, так как был убежден, что тот пробирается к Бере, решил поговорить с ним в открытую.

— Вам, наверное, известно, что Танечка моя дочь? — спросил он, закуривая сигарету.— Я решил вернуться к ним, и Вера Николаевна не против, так что сделайте выводы. Не мешайте ей.

— Какие выводы, что вы? — пробормотал испуганно Валерий Карпович.— Я никакого отношения...

— Вот и хорошо. Давайте я до дома вас доведу, а то вы слишком далеко от него ушли,— с угрозой проговорил Серебров, зло попыхивая сигаретой.

— Нет, я сам. Я просто дышу воздухом! — обиженно воскликнул Валерий Карпович.

Серебров считал, что должен поступить решительно и твердо. Только так, иначе он лишится Веры.

— Я вам посвечу,— сказал он, включив фары, подождал, пока Помазок переберется через изъезженную, ямистую улицу, поднимется на уютное, крепенькое крылечко и закроет дверь.

Круто развернув машину, Серебров погнал в Ложкари.

Теперь он чуть ли не каждый день то из Крутенки, то из ложкарской конторы звонил в Ильинское, прося позвать к телефону завуча Огородову. Вера отзывалась, и он спрашивал ее, как чувствует себя Танечка, не собираются ли они поехать в Крутенку. Он специально заедет за ними.

Вера отвечала сдержанно, просить Сереброва ни о чем не хотела, но и не упрекала за то, что он звонит. Как-то он заехал в Ильинское среди бела дня. На дверях Вериней квартиры был замок.

Серебров пошел в школу. Обтерев об измокшую прошлогоднюю траву сапоги, гулко прошагал пустыми в тот час коридорами наверх, в учительскую. Дежурные в

классах, стуча, ставили на попа парты, шуршали швабрами. В строгом зеленом платье с белым кружевным воротником, официальная и недоступная, Вера сидела за столом в учительской и просматривала классные журналы. Он так мечтал застать ее одну, а тут оробел, замер у порога. В ее глазах отразились и радость, и недоумение, и испуг, что ли.

— Опять ты? — проговорила она и осуждающе покачала головой.— Тебя еще не уволили за то, что ты больше бываешь в Ильинском, чем в Ложкарях?

— Нет,— подходя, сказал он.— Мне обещали за это премию.

Зазвонил телефон. Вера бесконечно долго говорила золотушному завроно Зорину о предполагаемом проценте успеваемости, о ребятах, которые вызывают опасение, а Серебров, играя беретом, сидел и смотрел на нее. Опять она была какая-то необычная. Стояла около старого, прикрепленного к стене телефона, на полных губах полуулыбка, которая, конечно же, предназначена не завроно. Трубку держит в точеной руке как-то очень красиво и полную ногу в легкой туфельке отставила кокетливо. Ну и Вера! Теперь понятно, отчего Валерий Карпович потерял голову. Разве можно в такую не влюбиться?

— Ну, насмотрелся? — повесив телефонную трубку, спросила она.— Все равно уезжай. В какое положение ты меня ставишь?! Средь бела дня...

— Я могу ночью,— уступчиво сказал Серебров и поцеловал ее руку.— Ах, какое удовольствие!

— Нахал! Ох, какой ты нахал и ловелас,— покачала Вера головой, но в словах этих, пожалуй, было не осуждение, а удивление.— Знаешь, жениться тебе надо.

— На тебе?

— Нет, не на мне. Тебе, по-моему, безразлично на ком. Весна в тебе играет.

Серебров обиделся, но справился с обидой и подошел совсем близко к Вере.

— А знаешь,— вдруг рассмеялась она, садясь на прежнее свое место,— как тебя зовет Танюшка? Гайка. Где Гайка? Когда придет Гайка?

— Вот видишь,— схватился за эту ниточку Серебров и сел напротив Веры.

— По-моему, она считает тебя своим одногодком.

— Значит, ты должна мне разрешить с ней играть.

— Она стала забавная. Каждый день меняет имена.

Сегодня утром проснулась и говорит: я не Таня, я Маша, а вчера она была Олей. Выдумщица.

В голосе Сереброва зазвучала гордость:

— Это в меня. Я тоже в детстве был выдумщик.

— Ну да, как будто я не могла быть выдумщицей,— вступилась Вера за право наследования своего характера.— А впрочем, наверное, в тебя. Ты ведь и теперь выдумываешь бог знает что.

Сереброву вдруг стало хорошо от этого признания его наследственных черт в Танечке.

В учительской, светлой и солнечной, было уютно, а главное — пусто, и такая была манящая, близкая Вера. По радио голос известной певицы советовал не доверяться в шальную погоду волнам, а больше всего коварному изменщику. Видя, что Серебров снова подвигается к ней, Вера погрозила ему пальцем.

— Тихо, изменщик коварный!

Лукавство, вдруг появившееся в ее глазах и голосе, только прибавило Сереброву решимости.

— Тс-с,— предупредила опять Вера.— Сядь!

На этот раз действительно раздались чьи-то шаги на лестнице. Вошел Валерий Карпович с постным, обиженным лицом, буркнул что-то не то Вере, не то Сереброву, сел за стол. Потом уж Серебров понял, что Помазок возмутился: «Почему, спрашивается, опять педсовет?»

— Очередной педсовет,— сухо объяснила Вера и нахмурилась.

Сереброву хотелось доказать Помазку, что у него с Верой все уже решено.

— Ну, ладно, я тебе позвоню, и тогда мы обо всем договоримся,— вставая, сказал он.— Проводи меня.

Возмущенная, красная, Вера вышла из учительской, чтобы снова сказать Сереброву, что он нахал.

— Правильно,— покорно согласился он.

Доехав до Ложкарей, Серебров поставил машину у конторы. Когда он принялся мыть в корыте сапоги, сверху, из окна, раздался вдруг пронзительный зов Маруси Пахомовой.

— Серебров, Серебров! — кричала она.

У Сереброва даже в ушах загудело. Стальной вибрирующий прут, а не голос.

— Сколько раз уж Григорий Федорович звонил из Бугрянска,— успокаивая рукой свою феноменальную грудь, заговорила Маруся.— В больницу его кладут. Вот и теперь вас зовет.

Серебров, не успев домыть сапоги, поднялся в приемную, взял трубку. В голосе Маркелова чувствовалась непривычная мрачность и даже унылость.

— Слушай, Гарольд Станиславович,— пробиваясь сквозь музыку, кричал он.— Меня положили в больницу. Оказывается, предынфарктное состояние. Еле выпросился к телефону. В общем, достукался. Колхоз я оставляю на тебя, давай соглашайся и проводи сев. Весна не тяжелая, сухая, все от техники зависит, а ты ходы-выходы знаешь.

— Не понимаю,— вырвалось у Сереброва. Он и вправду вначале не понял, что такое там городит председатель.

— Меня замешай,— отдельно повторил Маркелов.

Серебров опешил. Он стоял онемело и не знал, что сказать. Вид у него, наверное, был ошалелый.

— Чего стряслось-то? — спросила Маруся Пахомова.

Сереброву показалось, что Маркелов разыгрывает его. Сидит у себя в расписном тереме и разыгрывает.

— Бросьте шутить, Григорий Федорович,— крикнул он.

— Какие, к Евгении Марковне, шутки? Верно, из больницы звоню. Завтра привезет Капитон мое распоряжение, а ты бумаги не жди — берись за дело. Вон как сушит. Влага уйдет. Запиши: завтра утром привезут недостающие семена, удобрения гранулированные вот-вот поступят. Не прозевай.

Серебров пошевелил в воздухе пальцами, Маруся догадливо подала ему карандаш и бумагу. Продолжая отказываться от неожиданного замещения, он записал длинный перечень первоочередных дел. Надо же, какая прорва забот!

— Крахмалева, Крахмалева надо! Он ведь всегда вас замешал,— обрадованный тем, что нашел подходящего человека для замены, крикнул Серебров.

— Кабы можно было,— гмыкнул Маркелов.— Его на операцию кладут. Да я уж все согласовал. Шитов не возражает.

— Тогда Тимкина! — крикнул Серебров.

Маркелов, считавший самым ценным качеством специалиста разворотливость, теперь мрачно ругался, снова упомянув мифическую Евгению Марковну.

— Не до шуток, Гарольд Станиславович, ты же ответственный человек, а не Ваня темный. Берись без всяких разговоров. Я недели через полторы вернусь, и не заметишь, как время пролетит. Ну, все.

Серебров еще долго держал в руке трубку, словно ждал, что вслед за короткими гудками вдруг послышится гулкой смех Маркелова и тот скажет: «Ну, как — здорово я тебя разыграл?» Но трубка издавала отрывистое попискивание. Серебров взъерошил свои лохмы, налил воды из графина и приподнял стакан:

— За новоявленного заместителя!

Маруся неодобрительно покосилась на него.

Одно утешало. Впереди была спокойная ночь. Пока никто, кроме Маруси, не знает о его замещительстве, он свободен. Вдруг вызрело непреодолимо радостное и нетерпеливое желание сейчас же рвануть в Ильинское, к Вере. Но он не успел еще выйти из конторы, как примчавшийся из Крутенки шофер подал ему записку от Миней Козырева. Долгожданные гранулированные удобрения, те самые, которые они с адским трудом выколачивали, наконец прибыли.

Сев в «газик», Серебров замотался по Ложкарям, поднимая шоферов. Надо было сделать все аврально, как при Маркелове: выгрузить и привезти удобрения, чтобы уже завтра зерно ложилось в землю с гранулами и чтобы, по выражению Маркелова, у каждого зернышка-младенца была титька-кормилица. Время не ждало, и Серебров тут же разослал машины за трактористами. Пусть те, кто не занят еще на севе, сделают рейс на станцию.

Пришлось принести первую жертву. Вместо Ильинского Серебров повернул «газик» в Крутенку.

ОТ ПЕРВОЙ ТРАВИНКИ ДО ЖЕЛТОГО ЛИСТА

В жизни Сереброва, пожалуй, еще не было таких быстрых, мелькающих один за другим, сумасшедших дней. Заботы теснились бесконечной чередой, и, только впадая в провальный недолгий сон, вспоминал он о том, что опять не хватило тех заветных трех часов, которые нужны были, чтобы съездить к Вере. Он торчал в Ложкарях и Крутенке, а в это время в Ильинском Помазок, наверное, плел свои интриги. Серебров стучал на себя кулаком по столу — не давал разрастаться ревности. «Если что-то у нее ко мне сохранилось, то подождет», — логично рассуждал он, но логика эта была не в состоянии успокоить его.

От бесчисленных забот, споров, поездок в Крутенку, в поле Серебров через неделю осунулся и почернел.

Никчемный он, наверное, был заместитель. У Маркелова все бы крутились и бегали. Маркелов бы, похотывая, травил анекдоты, и дело бы шло. Серебров бегал, а дел не убывало. Видно, беда была в том, что сам он брался за то, чем при Маркелове занимались строитель, главный зоотехник или начальники участков. Сказывалось еще и то, что не было главного агронома Федора Прокловича Крахмалева. Он бы давно объехал все поля и знал, сколько еще сеять, где проклюнулись яровые, а где не взошли и пора их выбраковать. Серебров же ездил сам то на один, то на другой участок.

Как-то он вернулся вечером в контору и увидел на крыльце завбазой горючесмазочных материалов. Оказывается, дизтоплива осталось на одну заправку, а пахоты еще треть. Ругнулся Серебров и засел за телефон, чтобы вымолить у мелиораторов горючего на перевертку. А с начальника базы ГСМ как с гуся вода. Никакой вины за собой не чувствовал. Хорошо, что помог Шитов — пристыдил начальника ПМК мелиорации.

Главный зоотехник Саня Тимкин и тот свалил работу на Сереброва. Привел к нему пастухов. Дело денежное, дескать. С удоев нынче плата невыгодна. Травы тощие. Пастухи — старик в сандалиях на босу ногу и худой кадыкастый мужик в вылинявшей майке — тянули резину: конечно, оно бы лучше с удоев получать, да нынче прибавка мала. И кивали на соседние колхозы — везде большой твердый оклад положен. Пришлось увеличить зарплату. Главный бухгалтер Аверьян Силыч даже заикаться стал: видано ли! Утопленные в сдобном лице глазки смотрели испуганно.

— Ладно, из моей зарплаты вычтешь, — натужно пошутил Серебров.

Пастухи выморщили добавку, ушли довольные.

Чуть не полез драться Серебров, когда тракторист Андрюха Долин вдруг объявил, что надумал сыграть свадьбу в самый разгар сева.

— Пороть тебя надо, а не женить, — крикнул он Андрюхе, ожесточенно давя окурки в пепельнице.

— Приходите на свадьбу-то, — проямлил тот. — Мамка сказала...

— Тьфу на тебя, смотреть не хочу, — отворачиваясь, огрызнулся Серебров и подумал, что Григорий Федорович заранее бы знал о готовящейся свадьбе и, наверное,

сумел бы уговорить Андриюху, чтоб тот повременил. Маркелов позвал бы его с невестой к себе, загодя подарок им преподнес. А вот он, Серебров, не нашел ничего лучшего, как пригрозить:

— Учти, с трактора сниму!

И задержался в Коробейниках из-за свадьбы на два дня сев, и ругали за это Сереброва в районной газете, будто сам он затеял эту свадьбу, длившуюся целых три дня.

Чувствуя на каждом шагу свою неумелость, Серебров со дня на день надеялся услышать радостный и облегчающий голос Маркелова: «Посылай Капу, выписывают меня». Но Маркелов, позвонив в очередной раз, ругнулся:

— Хотели выписать, да вот появилась какая-то фиброма. Доброкачественная опухоль, говорят, а мне один хрен, не легче от ее качества. Все равно держат. Ну, как ты там, бастенько все идет?

— Вовсе не могу, — взмолился Серебров. — Приезжайте.

— Терпи. Терпи. Черт знает, откуда эта фиброма привязалась!

Серебров вырвался в Бугрянск, побывал в больнице у Маркелова. Тот лежал в отдельном боксе. Какой-то непривычный, в пижаме и тапочках, мрачный, шутил меньше. Положил руку на колено Сереброва, вздохнул:

— Вот видишь, сильнее нас болезнь.

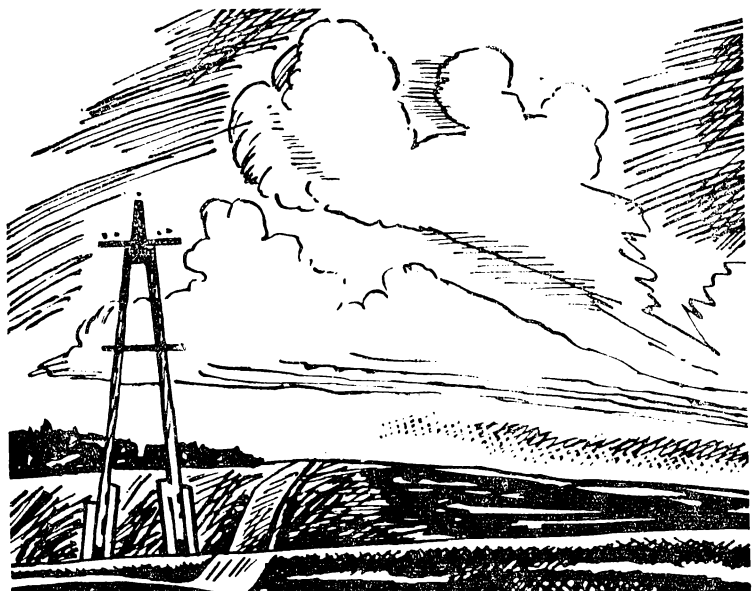
Чувствовалось, что опухоль тревожит его и даже угнетает. Та ли, доброкачественная ли?

Серебров, ссылаясь на авторитет отца, начал доказывать, какая пустяковая вещь эта самая фиброма, ее же вырезать, и делу конец. Маркелов верил и не верил. В глазах таились опасение и надежда.

Пополз по Крутенке и перекинулся в Ложкари сочувственный слушок о том, что у Маркелова вовсе не фиброма, а саркома, что бедняга протянет недолго. Слух этот определенно распускал Огородов. Он тоже навещал Маркелова в больнице.

«Если правда, жалко Маркелова. Все-таки хороший он мужик», — думал Серебров. Когда он разнюнился в больнице, как ему тяжело, Григорий Федорович сразу ухватил, в чем суть дела.

— Да, ты работу-то не с конторы начинай, а с поля, с деревень. Наездишься, все узнаешь, увидишь, потом уж к столу-то. Маруська не забудет, положит перед то-



бой списочек: тот-то звонил, тот-то заезжал. Вот и будет все бастьенко — не тобой будет случай помыкать, а ты его возьмешь в узду.

И тут была мудрость председательской науки.

Возвращаясь из Крутенки в Ложкари, Серебров вдруг еще раз понял, что стал непроходимым дураком. Чего он ждет? Надо давным-давно было поехать к Вере и забрать ее к себе в Ложкари. Навсегда! Это решение наполнило его твердостью и обрадовало своей простотой и определенностью.

В Ильинское он въезжал в прозрачной июньской полутьме. Когда машина пробиралась мимо дома Валерия Карповича, Серебров невольно притушил свет фар. Показалось, что кто-то вышел на крыльцо. Наверное, сам Помазок. Серебров продрался сквозь пахучие кусты бузины к окошку Вериной квартиры и постучал в стекло. В окне возникло чье-то белое испуганное лицо. Вроде не Верино.

— Это я,— сказал он севшим голосом.— Открой!

Лицо отшатнулось, и Серебров понял, что выглядывала в окно Серафима Петровна. Неужели не позовет? Эх, как он неудачно приехал. Он долго ждал на крыльчке, пока наконец не выскользнула в дверь Вера в накинутом наспех халате. Вытянув вперед руки, чтоб он не прикасался к ней, возмущенно зашептала, что у нее в гостях мать, и пусть Серебров быстрее уезжает, а то ей из-за него одни упреки.

— А я никуда не уеду без тебя и Танюшки,— объявил он.— Я ночую у вас, а утром перевезу вас к себе.

Для него это было окончательно определенным.

— Ты что за меня решаешь? — сердито прошептала Вера и прижалась спиной к дверям, словно он хотел ее насильно от них оторвать.— Что за привычка!

Со сна ей было зябко, она потирала руки и, видимо, с нетерпением ждала, когда Серебров отпустит ее. Он сбросил свой припахивающий бензином и железом пиджак, насильно надел ей на плечи. Сам остался в клетчатой безрукавке.

— Но я не могу так больше. Я не могу без вас,— проговорил он, кутая ее.— Ты понимаешь, не могу! Ведь теперь у тебя закончились экзамены. Ведь...

— А ты спросил, хочу ли я? — обжигая его возмущенным взглядом, прошептала она, и ему показалось, что вот-вот сорвется ее голос на плач.

— Но ведь ты меня любишь? Значит, хочешь, чтоб я

был с вами. Пойдем со мной, мы хоть в машине поговорим,— просил он, ловя согласие в ее печальных, страдающих глазах. Она отрицательно покачала головой.

— Опять мама не велит? — играя желваками, сказал он.

— Потом,— ответила она и неожиданно коснулась ладонью его подбородка.— Ух, еж колючий. Что — тебе и бриться некогда?

Ему хотелось схватить ее за руку и насильно затащить в машину. Он стал бы говорить о себе, о том, как ему тяжело, как нужна она ему. Но в сенях ходила, покашливала, брякала чем-то Серафима Петровна. Наверное, она презирала, а может, и ненавидела Сереброву.

— Потом, потом,— прошептала Вера и, прижавшись к нему, тут же отстранилась.— Уезжай, слышишь, потом поговорим. Слышишь, Гарик!

Наутро он ругал себя за то, что не открыл дверь и не поговорил начистоту с Серафимой Петровной. Надо было сказать, что он забирает Веру и Танюшку к себе. Если Серафима Петровна желает дочери счастья, пусть не препятствует этому.

Средь бела дня он снова повернул машину в узенький тупичок к Верину дому, но его встретил злорадный замок. Соседка-старушка, вешавшая стеклянные банки на частокól, с любопытством разглядывая его, сказала, что Вера Николаевна сегодня утром уехала вместе с дочкой и матерью. Отпуск у нее.

Серебров, унылый и обиженный, оставляя желтую завесу пыли, помчал в Ложкари. Не могла известить, что уходит в отпуск! Что, ему теперь в Крутенку к Огороду ехать? Нет, этого не будет!

Но машина, миновав Ложкари, помчалась в Крутенку. Там Серебров несколько раз медленно проехал мимо «банкирова» дома. На одворище возился сам Николай Филиппович. Выгнувшись серебристой дугой, постреливала, потрескивала, будто еловая ветка на костре, тугая струя воды, бьющая из шланга. Веры и Танечки нигде не было. Серебров зашел в Сельхозтехнику, позвонил Огородовым. К телефону никто долго не подходил. Когда раздался голос Николая Филипповича, Серебров положил трубку и поехал домой.

— В гости они куда-то укатили,— сказал завроно Зорин, видевший Веру на вокзале. Сереброву ожгла обида. Не могла честно сказать...

Ко всем заботам тех дней прибавилась еще одна — сушь. Жаркие дни вначале радовали Сереброва. В середине мая выкинул розовые лепестки шиповник. На месяц раньше срока. Прав оказался Григорий Федорович: сев прошел легко, хотя лежали в больнице председатель и главный агроном. Но желанная и благодатная теплынь обернулась злом. Серебров стал замечать на яровых полях непроросшее зерно. Кое-где уже теперь земля была что зола — суха и летуча, в других же местах закаменела, будто чугуны. В густой ржи она растрескалась, щели — в кулак. Просила земля дождей пересохшими этими трещинами, молили о них запыленные, квелые травы.

Каждый вечер, прежде чем лечь спать, и утром, вскочив с постели, Серебров рьяно барабанил пальцами в стекло барометра, не доверяя упрямой стрелке, замершей на слове «сушь». Водопроводный кран в доме то сипел, то напевал, как флейта, и не сразу начинал сочитать теплую, безвольную струйку. Серебров нехотя плескал в лицо водой, наспех ел и шел к гаражу.

Везде — и в деревне, и в Крутенском райкоме партии, и в Сельхозтехнике — шел разговор о необычайной жаре. Благодать вдруг превратилась в несчастье. Старики судачили о том, что не будет травы, что озимая рожь бодрится из последних сил. В лесах начались пожары. Дымной гарью попахивало и здесь, в Ложкарях.

По ночам Серебров, просыпаясь, прислушивался, не хлещет ли дождь по крыше, не урчит ли дальний гром, но на улице было тихо и душно.

Узнав, что вернулся из больницы Крахмалев, Серебров заявился в его бревенчатый, поросший плющом дом. Еще издали увидел седую, коротко стриженную голову агронома. Федор Проклович возился на грядках клубники — обрывал усы, рыхлил землю. Вокруг дома, в палисаднике — везде были у Крахмалева цветы. «Вот если бы переехала сюда Вера, мы бы тоже насадили много цветов», — подумал Серебров, толкая дверь калитки.

Крахмалев, увидев его, не выразил радости.

— Я сейчас, проходи, — сказал он.

— Да нет, я ненадолго. Как здоровье-то, скоро ли? — с мольбой спросил Серебров и вывалил целую грудку вопросов насчет хлебов. Крахмалев, рассматривая свои босые мослатые ноги, без тревоги сказал:

— Может еще выровняться хлеб, если в ближайшую неделю пройдут дожди. Не плохи зерновые-то, но на пределе.

— С гранулами сеяли, к каждому зернышку кормилицу подсаживали,— невесело пошутил Серебров.— А вот...

— Это-то не пропадет. Выпадет водянистый год, будет от минералки отдача. Все растворится,— мудро объяснил Крахмалев.— Ну, пойдем в дом.

— Нет, потом как-нибудь.

— Завтра я выйду,— пообещал Федор Проклович, и Сереброву вроде полегчало от этого обещания.

Направляясь домой, видел Серебров сизую, лохматую, будто овчина, тучу, которая висела у горизонта. Подтянуть бы ее сюда, к колхозным полям.

Ночью он проснулся от какого-то неясного облегчения. Стало прохладно в комнате, и слышался за окном ровный шум. Неужели дождь? Он выскочил на крыльцо. Действительно, та туча оказалась не обманной, хлестал самый настоящий парной, долгожданный ливень, и погромыхивало бодряще, обнадеживающе за поселком в соснах. Наверное, это было спасение. Обалдевший от радости, в одних трусах Серебров выскочил под белесые струи, запрокинув голову, ловил дождины ртом, шлепал себя по мокрой груди, прыгал, выплясывая какой-то полумный танец: ай да дождик, ай да дождь! Увидев его в эту минуту, колхозники наверняка подумали бы, что главный инженер рехнулся. Утром Серебров шел в контору повеселевший. Разговоры были только о ночном ливне, о том, куда он ушел и сколько полей захватил. Заскочил Серебров к Федору Прокловичу, который уже сидел в кабинете.

— Спасение?! — с порога весело крикнул он.

Федор Проклович был настроен скептически.

— На восемь миллиметров всего промочило,— сказал он.— Об эту пору всякие ливни должны валом валить: и травяные, и хлебные, и грибные. Такую малость за осадки-то и не считают.

Оказалось, что это был не тот дождь. Опять сушило, опять над дорогой, не оседая, висела пыль.

Позвонил Сереброву Шитов. С напором говорил о том, что, раз не будет нынче трав, надо бросить силы на заготовку веток. Агрегаты витаминной муки должны работать. Все-таки поддержка. А вообще надо подбирать людей и технику для отправки за соломой в южные области. Надежд на свои корма мало.

— Веники не спасут,— скептически хмыкнул Крахмалев.

— Но все-таки выход! — с жаром доказывал Серебров. Гибельным казалось ему бездействие.

— Не выход, а самообман, — говорил Федор Проклович. — Надо все жатки переоборудовать. Самый низкий срез. Тогда своей соломой больше возьмем.

Серебров вызвал Ваню Помазкина, попросил помаковать над жатками, распорядился насчет заготовки веточного корма, но и на второй и на третий день начальники участков его приказа не выполнили.

— Да к чему, поди, еще дожди пойдут, отаву возьмем, — уклончиво тянули все.

Серебров ездил с участка на участок, устраивал разгон, требовал, чтоб заготавливали ветки, но и по глазам и по ухмылкам чувствовал, что так же, как агроном Крахмалев, начальники участков воспринимают его слова несерьезно. Когда приказывал Маркелов, знали, что делать надо, а тут не торопились.

«Если не станут подчиняться, пойду к Шитову и попрошу, чтоб назначал Крахмалева. Я так больше не могу», — тоскливо думал Серебров, но Шитов позвонил ему сам и сухо сказал, что в причинах бездействия разберутся потом, возможно, на бюро райкома партии. А теперь, принимая во внимание то, что «Победа» плетется в хвосте, решили направить в Ложкари бригаду шефов из Бугрянска. У «Труда» оторвут, а им пошлют. Серебров обиду стерпел. Раньше шефы у Маркелова не работали. Он взмолился, закричал отчаянно в телефонную трубку:

— Виталий Михайлович, у меня ничего не получается! Освободите меня! Ведь Федор Проклович вышел на работу!

— Не паникуй, — холодно ответил Шитов. — Когда надо, освободим. — И Серебров почувствовал в этих словах угрозу.

В тот же день прикатили два автофургона, наполненных веселой, пестрой публикой. Молодежь в спортивных костюмах, кедах. Серебров распределил шефов по участкам. Пусть рубят ветки для агрегата витаминной муки, вяжут веники.

С приездом шефов Ложкари стали шумными. Людно было в столовой и магазине. До утра гремела около Дома культуры музыка. Какой-то шеф захватил с собой магнитофон и включал его при каждом удобном случае. Поутру поднимались горожане часам к десяти. Да еще час уходил на завтрак и сборы. Выезжали на работу в самую жару. В березниках и осинниках слышался ле-

нивый стук топоров, ширканье пил. Шла заготовка веток. У полыхающего жаром агрегата витаминной муки, напоминающего гигантский каток, появились бумажные мешки с мукой. Сдвинулась «Победа» с мертвой точки.

Когда Серебров вернулся в этот день в конторку, на крыльце его ждал дядя Митя. Он белозубо улыбнулся инженеру. По протекции матери Сереброва, Нинели Владимировны, Помазкину изготовили вставные челюсти с фарфоровыми зубами. Дядя Митя помолодел. Улыбался, ослепляя ложкарцев литой шеренгой резцов. Было в этой улыбке что-то по-восточному хищное.

Серебров хотел отпустить шуточку по поводу дяди Митиных вставных челюстей, но тот, перебив инженера, запричитал:

— Что делается-то, что делается-то, Гарольд Станиславович. Ведь из-за листиков деревья валят. Поглядел бы, цельные деревья валят. К чему? А ведь кормины-то в лесу полно. Много травы-то. Пропадет опять кормина, а деревья губим.

— Да ты что, дядя Митя? — озлился Серебров. — Где она, кормина? Голые луга.

— Дай покажу, истинный бог, покажу, — напирал на Сереброва дядя Митя и независимо от своей воли позинатски сверкал зубами. Не веря старику, раздраженный тем, что все его пробуют учить да наставлять, Серебров крикнул:

— Садись в машину!

Все равно надо было съездить в березняк и узнать, как горожане заготавливают ветки, не запарился ли авээмщик на агрегате витаминной муки. Того гляди от перегрева АВМ загорится. После такого ЧП не оправдаешься. А вообще-то не в свое дело ввязывается Митрий Леонтьевич. Клал бы печи да любовался своими зубами. И он, Серебров, хорош: катает старика, а бригада для заготовки соломы так и не подобрана. Вот-вот позвонят из управления сельского хозяйства, узнают, что ничего не сделано, и нажалуются Шитову.

— Гли-ко, — водя рукой по лобовому стеклу, показывал дядя Митя на стога сена, заготовленного колхозниками. — Вон у Зонова два, у Петьки Грузина один. Где берут-то — не с неба, поди?

Да, за домами, на осырках, стояли заботливо сметанные стожки сена. Люди успели сгношить по стожку, а то по два.

— Давай до Егоринского логу доедем, — уже коман-

довал дядя Митя. Серебров свернул по проселку к лесу.

— Гли-ко, лес-от — синь-порох,— вздыхал Помазкин, тряся бородой.— Давай дале, до той вон гривки.

Серебров, играя желваками, послушно доехал до перелеска, свернул по ложбине в тенистый отпадок. Вышли. Здесь было прохладно, пахло грибами. Дядя Митя распоясался вовсе.

— Гляди, Станиславич, травищи-то! Разве это не кормина? — и начал рвать руками траву. Трава действительно тут оказалась высокая и сочная. В этой лесной прохладе даже цвели купавницы. Чудо!

— Ну а как эту кормину возьмешь? — придя в себя после удивления, спросил Серебров.— Машину не пустишь. Даже косилка «Кир-полтора» не пройдет. Пустой номер, дядя Митя,— направляясь к «газику», проговорил он огорченно.

— Дак неужели трава загинет? Раньше-то всю ее брали, по болоту лазили да брали,— взмолился дядя Митя.— Стариков, школьников поднять. На лошадаках. Да неужели пропадет, да... — и чуть не всхлипнул, в отчаянии всплескивая руками.

Серебров не верил, что можно заставить людей косить вручную, что представляет ценность эта дурная трава. Если бы она была хорошей, разве бы Шитов заставлял колхоз заниматься вениками, ехать за дорогой чужой соломой?

— Едкое, скусное это сено,— доказывал Помазкин и просил завернуть в другие ложбины, где тоже стояли высокие травы.— Ежели это не кормина, дак чего надото! — возмущенно заключал он, с упреком глядя на Сереброва.

Теперь Серебров считал наивным то время, когда ему казалось, что легко и просто накормить людей, что все известно тут от веку: паши, сей, убирай. Теперь он понимал, что этот кругооборот — паши, сей, убирай — только канва, обманчивая определенность. Ни один год не похож на предыдущий, и надо быть провидцем, гениальным стратегом, чтобы получить корм для скота и хлеб. Умение это надо копить всю жизнь. И вряд ли ему, городскому человеку, стоило так легкомысленно браться за дело, которое требует потомственного опыта. Откуда ему знать, годна ли дикая трава, которой заросли ложбины, отпадки и опушки, на корм скоту.

Надо было спросить об этом Федора Прокловича.

Его он нашел в поле. Осматривал Крахмалев низкий, чуть ли не до шиколотки овес и качал головой.

— Через три недели, считай, страдовать придется,— проговорил он, почесывая седой бобрик.— А как — ума не приложу.

Серебров посадил Федора Прокловича в машину и свозил в Егоринский лог, на Коковихинское болото. Ходили молча, оттягивая разговор, потом Крахмалев попросил свернуть к старой брошенной деревне Лум, и здесь, в низинах, тенистых местах росли дикой силы травы.

— Стоит ли огород городить? — в упор спросил Серебров, глядя в глаза Крахмалева. Тот вскинул острый взгляд из-под белых нависших бровей.

— Если бы у нас народу было, как прежде, я бы сказал — стоит,— ответил наконец, примеряя к себе бычины лисохвоста. Лисохвост был агроному по грудь.

— Ну а если оплату удвоить? Ведь привозная солома дороже сена обходится. Если пенсионеров, школьников поднять? — начал перечислять Серебров.

— Не знаю,— уклончиво ответил Крахмалев.— Если вывезешь, Гарольд Станиславович, твое счастье. Раньше мужик говорил: счастье, когда поедешь с возом сена и веревка не порвется. Выдержит гуж-то у тебя?

Не верил ни в него, Сереброва, ни в его затею осторожный Крахмалев.

— Но вы-то можете? Вы же секретарь парторганизации и агроном.

— У меня что — слова,— приbedнялся Крахмалев, хмурясь.

— Если поддержите, я возьмусь! — клятвенно сказал Серебров, понимая, что ему нечего терять. А провалится на заместительстве — туда и дорога.

— Ну, ну, давай соберем народ да обтолкуем,— пошел на попятную Федор Проклович.

Вернувшись в контору, Серебров позвал Миня Козырева, распорядился найти и закупить сто кос, дядю Митю послал за стариками: надо делать косовища, налаживать точила, грабли. Заехав к механику, Серебров приказал, чтоб тот собрал все конные косилки, брошенные на пустырях, и сколько можно, поставил на ход. После этого Серебров тем же тоном, холодным и приказным, сказал Марусе, чтоб известила специалистов, начальников участков, председателя сельсовета, директора школы Викентия Павловича о том, что на четыре часа назначается экстренное и неотложное совещание.

— Война или чо? — взглянув недовольно на заместителя председателя, удивилась Маруся.

— Вроде войны,— сказал Серебров.— Всеобщая мобилизация.

Поднаторевшая в остроумии на маркеловских шутках, Маруся гмыкнула, выходя из кабинета, и подняла звонок. Серебров двинулся к Аверьяну Силычу поговорить о расценках для сенокоса.

Он видел через окно бухгалтерии, где Аверьян Силыч, морщась, крутил арифмометр, как к высокому крыльцу конторы начали съезжаться люди. На сером от пыли мотоцикле подкатил начальник светозеренского производственного участка Захар Федин. Невысокий, плотный, он сбросил в коляску запылившийся шлем, снял пиджак, встряхнул его, чихнул.

— Будь здоров, Захар Петрович,— сказал он самому себе и пошел к водопроводной колонке сполоснуть руки.

Степан Коробейников, оставив мотоцикл, ударил кепкой о колено и поднялся на конторское крыльцо.

Люди на крыльце похохатывали, курили. Серебров не выходил из бухгалтерии в шумную толчею — боялся растерять свои твердость и решимость. Наконец Маруся сказала, что приехали все, кроме Сани Тимкина. Серебров велел звать людей и сам первым поднялся в кабинет Маркелова. Грузно простучав по лестнице, вслед за ним ввалились в председательский кабинет специалисты, начальники участков, директор школы — все, кого звал Серебров. На лицах было напряженное выражение. Почему среди бела дня эдакое срочное собрание? Уж не с Григорием ли Федоровичем что стряслось? Или начальство какое пообещало нагрнуть?

Степа Коробейников недоуменно шушукнулся с Захаром Фединым. Директор школы Викентий Павлович, квадратный, хмурый мужик, аккуратно зачесал наметившуюся проталину на темени и сурово насупился то ли от привычной ответственности, то ли от недовольства: на совещание его выташили с рыбалки. Он прочно уселся было с двухколенным удилишком у омутка и так хорошо начал дергать окуньков.

Федора Прокловича вызвал Серебров к столу. Они сели плечом к плечу. Ну, вывози, удача, не лопни гуж!

Начал Серебров с того, что нет нынче больших надежд на яровую солому, что вот уже сейчас предлагают ехать за кормами в Волгоградскую область. Мужики загудели, заговорили. Кто-то хохотнул. Вот, оказывается,

зачем звал Серебров. Ну чудак, не мог сам распорядиться.

— Да, ежживали, знаем,— сказал Степан Коробейников, оглаживая усы, и возмущенно закинул ногу на ногу.

Серебров поднял руку.

— Тихо! Дело в том, товарищи, что трава у нас есть, но невероятно трудно эту траву взять. Вот мы объездили с дядей Митей Помазкинским и Федором Прокловичем все овраги, опушки, перетяги, везде — дурной силы трава. Стыд и позор, если мы ее не возьмем, но брать надо вручную, а вручную мы работать отвыкли. Народ надо поднять. Я прошу всех проникнуться ответственностью и сознательностью. Школа, сельсовет, контора, пенсионеры, сельпо, ученики — все должны заготавливать сено. Платить будем аккордно, платить будем щедро. Вытянем все это или нет? Если нет, грош нам цена!

Сидевшие в кабинете загалдели, кто-то хмыкал, крутил головой.

— Внимание,— восстановил Серебров тишину.— Вот мы тут набросали с Аверьяном Силычем расценки.— Сядься, Серебров почувствовал, что потерял силы во время этой короткой и не очень складной своей речи. Он надеялся теперь на Федора Прокловича.

Тот натянул на нос простенькие очки, вытащил знаменитую свою записную книжку.

— Все зависит иногда не от количества выросших трав, а от того, как организовать сенокос,— не спеша, прозаично начал он, роясь в записной книжке.— От нашей распорядительности. Прошое лето было сырое, травянистое, а сена взяли меньше, чем в позапрошое, сухое. Больше сгноили, чем убрали. Прозевали. Напоминать не буду, где сколько испортили сенов. А ныне есть трава.

Серебров слушал Крахмалева, испытывая теплое, благодарное чувство. Неторопливые крахмалевские экскурсии в прошлое убеждали больше, чем его, Сереброва, взбалмошная речь.

— Да вон у нас вся Гусевская лаптафина заросла,— крикнул вдруг Степан Коробейников,— а к Мерзлякам я ездил, дак гектаров тридцать травы на кочкарнике мне до пупа!

— Во-во,— сказал Федор Проклович.— Но траву надо брать сейчас, иначе репей станет палкой, задубеет все, и прав Гарольд Станиславович — следует собрать

все силы. Все колхозники, все до единого с тревогой и ответственностью должны принять участие в сенокосе.

Серебров почти физически ощущал, как под влиянием слов Крахмалева начальники участков, председатель сельсовета Дудин, даже обиженный директор школы, неохотно отрешась от своих мыслей и желаний, начинают проникаться той озабоченностью, которая до этого владела только им да Крахмалевым.

Последним опять выступил Серебров. Он потребовал, чтоб начальники участков объехали все низины и опушки, чтоб к вечеру люди знали, кто где будет работать, а в семь утра уже начали косить. Ждать нельзя, тянуть некогда.

Закрывая совещание, Серебров увидел из окна Минея Козырева. Тот выгружал около гаража косы и крикливо рассказывал кому-то, как продавщица удивилась его оптовой покупке.

— По десятку кос в месяц продает, а я все забрал.

Дядя Митя, суетливый и многословный, бегал около Козырева и требовал привезти точило. Минея привычно артачился, потому что хотел съездить еще за граблями в соседнее сельпо.

— Привези точило! — по-маркеловски прямо в окно крикнул Козыреву Серебров. — К утру надо косы отбить и наточить.

В этот вечер и Крахмалев, и председатель сельсовета Дудин выступили перед колхозниками. Серебров побывал в Светозерене, потом в Коробейниках.

Обманчиво оживленные летние деревни не нравились Сереброву. Лето собирало сюда разлетишей со всех сторон. Бродили по улицам, по опушкам леса дамочки в сарафанах с глубоким вырезом на спине и груди, крепкие парни в плавках кололи дрова, загорали. На субботу и воскресенье к иному хлебосольному бате приезжали гости целым автофургоном. Вот и теперь в одном из домов гуляли свадьбу. На свежеструганом помосте трудолюбиво отплясывали женщины. Среди них юлой крутился ловкий мужик в белых штанах, а другой, тыкаясь, побрел в сторону и свалился в крапиву.

Некоторые из гостей пытались заговоривать с Серебровым. Иные советовали ему запрудить Радуницу и сделать водоем. Вот тут и вспомнил он, как ставропольский дядя Броня мобилизовал однажды отпускников, объявив по радио, что каждый, кто считает себя мужчиной, должен принять участие в сенокосе.

Вечером Серебров трижды повторил такое же объявление по своему радио.

Допоздна дядя Митя ладил черенки для литовок. Лезвие его топора так и льнуло к дереву. Чувствовалось, что старик любит эту работу. Оседлав старенькое, вихляное точило, старичок по кличке Паровозик точил косы. Проходивший мимо Ваня Помазкин перетащил его в свою мастерскую, где был наждак с электроприводом. Работа вроде бы шла. Люди собирались ехать на сенокос, а Серебров все еще боялся, что устроенный им «всеколхозный тарарам» окажется напрасным.

Наутро он чуть свет появился около гаража. Дядя Митя и Паровозик уже чинили старые косы. Подошла тихая тетка Таисья с косой-горбушей, бережно обвязанной тряпицей.

— Корову-то не держим, дак, поди, косить разучились,— сказала она, смущенно прикрывая рукой беззубый рот.

Неожиданно явился яркоглазый незнакомый человек в тренировочном костюме и, развязно пожимая руку Сереброва, закричал:

— Вот прибыл, чтоб отстоять свое мужское достоинство, а то и правда в родной деревне мужиком считать перестанут,— и громогласно захохотал.

Серебров узнал в нем того, что в белых брюках отплясывал на свежеструганом настиле. Был это кандидат биологических наук Бабин, уроженец здешних мест. Потом пришел участковый милиционер, проводивший в Ложкарях отпуск. Шли и шли косцы — свои колхозники и вовсе незнакомые Сереброву мужчины и женщины.

— Ну, с богом,— послышался старушечий голос, хлопнула дверца грузовика, и почти бесшумно покатилась первая машина с людьми под гору, к мосту через Радунцу.

Чувство умиления охватило Сереброва, когда он увидел, как ладно и неумоимо косят старушки, одетые в светлые покосные платки. Прикрыв от комаров шею тряпицей, ровно и напористо шел впереди Георгия Георгиевича Бабина дядя Митя. Он явно забивал горожанина в работе. И среди бугрянских шефов нашлись ярые косильщики.

Целое ополчение подчинялось теперь Сереброву, и он должен был, колеся по колхозу на «газике», думать, как у этой силы поддерживать боевой дух, как ее накормить, куда послать косилки.

И вот начали в ложбинах мужики метать сено в стога. Серебров, осыпанный трухой, вдвоем с кандидатом наук подавал косматые навильники озорно покрикивающему стогоправу дяде Мите. С растрепавшейся бородой, в распушенной рубахе, веселый, помолодевший, он слепил своими зубами Сереброва и кричал, принимая сено: — С подкидочкой давай, с подкидочкой, Гарольд Станиславович.

Глядя, как старательно подает сено Серебров, старушки одобрительно переговаривались.

— Гли-ко, мужик-то, будто наш деревенский, стараетча. Ну, мужик! Шилом вертитча, везде успел,— похвально сказала Таисье глухо повязанная платком гулкоголовая, костистая старуха Ольга Вотинцева, мать доярки Гальки. Восьмидесятилетнюю бабулю эту выманила из дому сенокосная веселая работа.

— Шило, истинный бог, шило,— согласливо кивала Ольге Вотинцевой тетка Таисья. Это было высокой похвалой. Шилом называли в Ложкарях самых непосредливых, работающих, кипучих мужиков.

Серебров, делая вид, что не слышит этих слов, радостный, потный, подавал лохматое, душное, пахнущее мятой сено наплясывающему в поднебесной высоте дяде Мите. Чесалась от пота грудь, саднило в горле, хотелось пить, но Серебров не показывал вида, что устал, даже изнемог. Он бы скорее свалился от усталости, чем бросил вилы.

Вечером, ожидая грузовик, сидели мужики на земле, любовались аккуратными стожками, которые все еще очесывал граблями дядя Митя Помазкин. Прибранной, выметенной стала теперь выкошенная ложбина. Мужики вели неспешный разговор о погоде, о пожарах.

— Все теперь человеку покорно: и космос, и земные глубины. А вот погоду взять в руки не можем,— сочувствовал крестьянам сам понявший себя крестьянином кандидат наук Бабин.

Миней Козырев почесал осмоленной солнцем рукой тощую татуированную грудь и глумливо перебил его:

— Ученой разговор. Кабы дождь да гром, дак и не нужен агроном,— и сплюнул.— Надо уметь живую кошку съест и не поцарапаться.

Кандидат наук захохотал.

— Это что означает? Ну-ка? — и принялся шарить по карманам записную книжку.

— Эх вы, молодежь называется,— подходя к ним, с

осуждением произнес дядя Митя, выбирая из бороды сennую труху.— Да я бы в экое время разве усидел, всех бы девок перешерстил, всех баб водой облил. Весельства никакого нет. Нет весельства, визгу никакого. Разве это сенокос?! Эх!

Закончить упречную тираду дяде Мите помешал приехавший за людьми шофер.

— Шитов там из райкома,— пробасил он, подойдя к Сереброву.— Ищет вас.

Пришлось, не успев смыть едкий пот, ехать в контору. Тяжелым, шаркающим шагом Серебров поднялся в кабинет. Маруся Пахомова изо всех сил занимала Шитова разговором о маркеловской болезни. Виталий Михайлович, играя соломенной шляпой, невнимательно слушал ее. «Теперь задаст трепку»,— подумал Серебров.

— Я не знаю, как с вами разговаривать,— неожиданно обрезая этим самым «вы» всякую надежду оправдаться, начал Шитов.— Что, на другой планете живете?

Серебров бодливо нагнул голову. Он знал, что словами ему Шитова не убедить. Розовели окна. Вот-вот опустится темнота. Пока не поздно, надо везти Виталия Михайловича в ближайший лес.

— Хотите, я вам чудо покажу? — легкомысленно спросил Серебров с ненатуральной улыбкой на губах.

— Какое еще чудо? — невольно покосился Шитов. Нерезвый этот разговор, веселое лицо Сереброва вызывали у него раздражение. Везде плохо было с заготовкой кормов. Не радоваться следовало, а плакать...

— Подобрал ты людей для Волгограда или даже с этим не можешь справиться? — хмуро спросил Шитов, вставая.

— Можно не отвечать вам тридцать минут? — все так же весело спросил Серебров, ведя Шитова к машине.

Пока ехали, Шитов хмуро смотрел вперед, держа в руках шляпу.

Он был расстроен. Видать, где-то в «Труде» или захудалом совхозе «Сулаевский» вовсе неважно шли дела. И в серебровское чудо он, конечно, не верил, но послушно спустился в мгlistый отпадок.

— Вот,— сказал Серебров, обводя рукой длинный овраг.

— Что вот? — не понял Шитов.

— Вот трава, много травы, а мы веники рубим, на юг за соломой собираемся,— облизывая пересохшие от

волнения губы, проговорил Серебров. Доказывая Шитову, как много в лесах и низинах травы, он сыпал крахмалевскими выкладками, рассказывал, как они решились платить косцам в три раза больше, чем обычно, и деньги выдавать еженедельно. Пусть Шитов не опасается — все это окупится.

— Даже кандидат наук у нас косит,— похвалился Серебров, показывая Шитову ложок, где сметали они с дядей Митей, Бабиным и горожанами четыре первых стога сена.

Шитов молчал раздумывая.

— Считаешь, что не меньше прошлогоднего возьмешь? — спросил он наконец и закурил, осветив лицо розовым огнем сигареты.

— Крахмалев говорит, что возьмем,— укрылся Серебров за авторитетом главного агронома.

— Неплохо. Пожалуй, неплохо,— раздумчиво проговорил Шитов.— Ну-ка, свози еще в Лум...

Дни и ночи слились в ощущении Сереброва в единый беспокойный, напряженный кусок жизни. Он не мог сказать, когда что было, потому что ложился спать всего часа на два, а потом ехал по участкам, чтоб увидеть, как идет работа, что ей мешает, где чего недостает.

Шитов дня через два, найдя Сереброва, бодрым голосом сказал:

— Слушай, тут тебя усовершенствовали. Вот Чувашов хочет каждый день заработок косцам выплачивать. Тогда ведь и те, у кого есть два-три свободных дня, тоже косить поедут. Как, а?

— Мы тоже на ежедневную перейдем,— схватился за это новшество Серебров.

Именно в дни сенокоса пришли к нему уверенность и твердость. Но, отравляя его бодрое настроение, явилась вдруг вовсе ненужная забота. Напомнил о себе Виктор Павлович Макаев. Как всегда, доверительно, полушутливо проворковал он Сереброву по телефону, что начался строительный сезон и что ставит он свою дачку-развалюшку, а дело не клеится. Обещал Григорий Федорович послать ему на помощь того старичка, который катал их на лошади, а старичка нет.

Серебров знал, что Маркелов в благодарность за материалы, которые шли по распоряжению Виктора Павловича с завода, отправил Макаеву новенький сруб, проведенный через бухгалтерию как дом, предназначенный к сносу на дрова.

Дядю Митю отпускать в Крутенку не хотелось. Этот непоседливый, живой старик позарез нужен был здесь. Он и пенсионеров объединял, и косы точил, и не было лучше стогоправа, чем он.

— Сенокос идет, Виктор Павлович, каждый человек на счету,— пробовал отговориться Серебров.— А дядя Митя у меня — правая рука.

— Ну, Гарольд Станиславович,— тянул Макаев,— я ведь редко когда прошу. Такая малость...

— Сейчас никак не могу. Через полмесяца можно,— отрезал Серебров.

— Через полмесяца будет поздно,— капризничал Макаев.— Я ведь в отпуск пойду.

— Нет, я послать не могу,— стоял на своем Серебров.— Да, это последнее слово.

Макаев с обидой в голосе попрощался. Сереброву стало муторно, когда он представил себе, как Макаев, придя домой, костит его и Надежда соглашается с ним. А-а, пусть так, но он Помазкина не отпустит.

Когда Григорий Федорович позвонил из обрыдлой ему больницы и потребовал для Макаева «все сделать бастенько», Серебров понял, что Виктор Павлович не успокоился.

— Не могу, Григорий Федорович. Траву заскребаем. Старички косы точат и отбивают. Все на счету.

— Не дури. Один старик у него все решает.

Маркелов обиженно, тяжело дышал в трубку.

— Делай, как я велю! — сердито сказал он.

— Не могу. Еще неделю. Еще одну неделю,— упрашивал Серебров, озадаченно пощипывая подбородок.

— Ладно, не покаяться бы,— пригрозил Маркелов, и Серебров тоскливо положил трубку.

Еще неприятнее был разговор об Огородове.

— Мужик помогает нам. Надо подбросить ему для кабанчиков. Ну, надо. Понимаешь, надо,— намеками повторял свое требование Маркелов, пытаясь изобразить Николая Филипповича несчастным, страдающим от бедности трудягой. Два мешка колхозного комбикорма — такая малость.

Если бы комбикорм требовался не Огородову, Серебров еще взял бы грех на душу, а тут уперся.

— Я такого распоряжения не отдам,— упрямо проговорил он.

Маркелов, теперь уже зная, что Сереброва он вряд ли сумеет уломать, отчужденно попросил:

- Позови-ка мне Капитона.
- Нет его. Он тоже на сенокосе.
- Дай трубку Марусе.

Маруся Пахомова, схватив трубку, обрадованно застрекотала, что в точности все передаст Капитону, и тот... Да, конечно.

— Ты только накладную подпиши,— сказал примирительно Маркелов Сереброву.

— Не подпишу.

— Вот как, ну погоди, вернись! — крикнул Маркелов.

На отказ Сереброва привезти комбикорм Огородов среагировал сразу. На другой день вернулась из Крутенки ни с чем заплаканная кассирша Антонида Помазкина. Управляющий банком запретил выдавать для «Победы» деньги. Выходило, что Огородов мог сильно подпортить дело: работающие на сенокосе привыкли уже к ежедневной выдаче зарплаты. Немало было людей из Крутенки. Обмани их раз — потом не приедут.

Взбешенный Серебров посадил Антониду в «газик» и помчался в Крутенку. С Огородовым ему разговаривать вовсе ни к чему. Он сразу пойдет в райком партии к Шитову. Однако Шитова и других райкомовцев на месте не оказалось: все уехали на заготовку кормов. Надо было самому до закрытия банковских операций попробовать уломать Огородова.

Нехотя ехал он к знакомому домику, где однажды уже был у него с Николаем Филипповичем суровый разговор.

— На каком основании не выдаете деньги «Победе»? — с порога задиристо спросил загоревший, с облупившимся носом зампред колхоза Серебров. Николай Филиппович, светлый, ясный, в белой рубашке, причесанный, благодушный, просматривал бумаги. На лице его отразилось недоумение: это что за нахальный, что за невоспитанный человек поднял шум в таком приличном и важном учреждении? Улыбка слиняла с его лица. Тьфу, да это же Серебров! Типичный хам, грубиян и вообще растленный тип.

— И не выдадим. Вы нарушаете финансовую дисциплину,— оскорбленно проговорил Огородов и отвернулся, не желая смотреть на Сереброва.

— А отчего же вчера дали и позавчера? — поигрывая ключом от машины, спросил с ядом в голосе Серебров.

— Пока не узнали о нарушениях,— опять скупно и неохотно, в сторону буркнул Огородов.

Ерунду он порол, этот благообразный Огородов. У него не было повода для придирки. Ведь есть законное распоряжение на ежедневную выдачу зарплаты. Серебров сбегал в кассу и принес это распоряжение, припечатал ладонью к столу перед Огородовым. Тот пренебрежительно скривил губы.

— За один день до того, как было принято это решение, вы выдали самочинно,— проговорил он,— и по этому...

С каким наслаждением ругнул бы Серебров самодовольного несостоявшегося тестя, но он сдержал себя.

— Разрешите позвонить.

— Нет, по этому телефону нельзя. Он служебный,— кладя руку на трубку, мелочно проговорил Огородов.

— Хорошо! — с упрямой в полуулыбку ненавистью прошептал Серебров и побежал в соседний дом, где была редакция районной газеты. Там он начал обзванивать подряд колхозы в поисках Шитова.

Банковская кассирша уже захлопнула свое окошко, Огородов запирает на замки двери кабинета, чтоб идти обедать, когда снова явился Серебров.

— Вам сейчас позвонит из Тебеньков Виталий Михайлович.

— Я пошел обедать,— не замечая Сереброва, сказал Огородов охраннику и двинулся к выходу. Телефонный звонок настиг его на пороге.

— Вас Шитов,— озадаченно проговорил охранник.

Метнув на Сереброва оскорбленный взгляд, Огородов махнул кассирше рукой, чтоб та открыла окошко.

На обратном пути, проезжая мимо «банкирского» подворья, Серебров посмотрел на окна, надеясь увидеть Веру или Танюшку, но никого не увидел.

БЕРЕГА

Лето уже выжелтилось, кое-где побурело, стало зрым, потеряло нежную светло-зеленую веселость, когда выписали Маркелова из больницы. Побледневший, одутловатый, он вышел из машины возле фанерного щита с названием своего колхоза и пошел пешком. Хотелось подышать, отвлечься от больничных дум. Капитон ехал сзади на почтительном расстоянии, и догонявшие Маркелова автомашины притормаживали.

— Садитесь, Григорий Федорович! — кричали шоферы. Некоторые недоуменно спрашивали, что случилось.

— Иду и иду, — досадливо отмахивался Григорий Федорович. — Что, пешего председателя не видели?

В конце концов он свернул за вытянувшиеся в шенгену елочки дорожной защиты.

По желтковым ржаным накатам уже двигались комбайны. Жали напрямую. Маркелов смотрел, чисто ли берут машины хлеб. Вроде без огрехов, и срез невысок, берегут соломку. Редкие копны выстроились в ряд. Маловато будет нынче кормины, маловато, но побольше, чем у соседей. Для себя хватит.

Маркелов шел и думал о своем разговоре с Капитоном. Всю дорогу выпрашивал Григорий Федорович у шофера, как там, в Ложкарях. Отчего-то ему хотелось, чтобы Капитон возмущался тем, как шли тут без председателя дела. И Капитон, угадывая это желание Григория Федоровича, крутил головой, усмехался, говоря о Сереброве.

— До ночи кажинной день барабался, — кося глаза на председателя, с осуждением говорил Капитон. — Ни одной ухи не съел.

— Зелен еще, подлеток, — делая вид, что сочувствует Сереброву, произносил Маркелов.

Кроме ревнивого этого чувства, отравляли привычную внешнюю бодрость Маркелова больничные впечатления, раздумья о зловредной опухоли, которая лишила его сна. Говорят, оказалась та доброкачественной фибромой, а сколько он пережил...

Испугавшаяся больше него этой самой фибромы, потучневшая, давно отвыкшая работать Лидия Симоновна не нашла сил сдерживаться и при каждом посещении упрекала Григория Федоровича за то, что он вовсе не думает о семье. Мог бы давно купить автомашину, а то случись что — ни мальчику, ни ей не на чем будет выехать из города.

— Рано хоронишь, — глядя в сторону, зло обрывал ее Маркелов.

Но Лидия Симоновна, обмахивая носовым платком багровое от слез, тугое лицо, продолжала заупокойный разговор. Теперь она упрекала Григория Федоровича в том, что он не думает о сыне.

Григорий Федорович тяжело вздыхал. Достался ему сын. Сколько раз после драк, которые тот учинял, после его провалов на экзаменах ходил Маркелов к ректору —

молил оставить Борю в институте. А сын этого не ценит. Относился к отцу иронично. Вслед за матерью считал его ограниченным человеком, а работу его никчемной.

— Бесчувственная ты деревяшка! — не добившись от мужа обещания завести машину, срывалась Лидия Симоновна.

Чтоб не видеть ее красного от слез, укоризненного лица, он ложился на кровать и отворачивался к стене. Водил толстым пальцем по наплывам краски на панели. Лидия Симоновна видела в этом демонстративное пренебрежение к ней и раздражалась упреками. Он, мучаясь, ждал, когда она наконец уйдет.

После сердитых разговоров с Серебровым Маркелову стало казаться, что и жена права в своих мрачных пророчествах: никому он не нужен в колхозе, все забыли о нем, никто ему не подчиняется. Надо о доме думать, о семье. Случись что, никто его не навестит, кроме жены, даже верный Капитон забудет. Кому нужен больной председатель? Лида хоть взбалмошная, а накормит вкусно, позаботится. Потом он убеждался, что не прав. Заглядывал к нему Ольгин, однажды приехал Виталий Михайлович Шитов и долго сидел в боксе — вздыхал, сплетая руки, сокрушался, что опять лето не даст толком заготовить корма, хвалил Сереброва.

Маркелов умилился, растроганно засуетился, когда в палату робко вошла Лиза. Смущенная, боязливая, она обласкала Маркелова взглядом темных глаз. У Григория Федоровича дрогнул голос, и он вдруг всхлипнул.

— Да что ты, Гришенька, кто тебя обидел? — прижав к груди его голову, проговорила Лиза. От этого Григорию Федоровичу стало еще безутешнее, представился он себе маленьким, горько обиженным Гришунькой.

Взрослым он ревел два раза. Один раз в госпитале, когда просился к хирургу Долидзе, а второй — после тюрьмы, когда стал работать председателем и Виталий Михайлович Шитов предложил ему вступить в партию.

— Разве мне можно? — опешил Маркелов. — Ведь я..

— А почему нельзя? — ответил вопросом на вопрос Шитов и вскинул взгляд, в котором не было ни хитрости, ни подвоха.

Не сумел справиться с собой Маркелов — некрасиво всхлипнул и, размазав кулачищем слезы по конопатому лицу, отвернулся в угол.

И вот теперь, ощущая, как со слезами приходит облегчение, всхлипывал он в объятиях Лизы. Чем, оказывается, можно было его доконать! Жалостью.

— Да что ты, Гришенька, на поправку ведь идешь,— шептала Лиза, смущаясь заходивших без стука сестричек и нянечек.— Вон ты какой сильный. Жить да жить тебе.

Сестрички замечали руку Григория Федоровича на неположенном месте — на плече или на колене посетительницы, но делали вид, что не видят этого, оставляли лекарства, еду и уходили.

После Лизиных тайных посещений, следя за оконной тенью, под светом фар проползающей по потолку, Григорий Федорович решительно думал о том, что надо ему жизнь свою переменить. Купит он Борису автомашину, отдаст все нажитое Лидии Симоновне и уедет куда-нибудь с Лизой. От этих мыслей становилось легче и светлее, но потом наплывали сомнения: как все это сделать? Лиза уйдет от мужа, а он, Маркелов, вряд ли выпутается из житейских сложностей. Слишком поздно явились к нему эти мысли. Надо было сразу разрубить узел, когда вернулся он из заключения, или немного позже — когда узнала жена о его связи с Лизой.

Вспоминая пережитое, шел Маркелов теперь по краю сжатого поля, вдыхал отрадный запах половы, останавливался. Неожиданно сдавило мягкой хваткой сердце, застлало туманом глаза. Он схватился за пыльную елочку. Да куда он отсюда уедет? Все тут родное, выстраданное. Нет, умирать — так на ходу и вот здесь, а не на больничной койке. В любом другом месте он будет чужим, и Лиза станет немила. «Раньше надо было, раньше», — с горечью опять подумал он.

От этих мыслей Маркелова отвлекали табуном идущие по овсяному клину комбайны. Наверное, ставили комбайнеры рекорды по убраным площадям, гоняя с пустыми бункерами. «А ведь недавно еще такая глупость была — по площадям измеряли работу», — вспомнил Маркелов. Около косматой, мускулистой сосны он остановился, погладил рукой медный ствол, прислушался к певучему гудению дерева. Это место он любил, отсюда во всей красе открывались Ложкари. Он сам выбрал Ложкари для поселка. Удачно выбрал.

Первым увидел Маркелова дядя Митя. Увидел, всплеснул руками и, белозубо улыбаясь, поспешил навстречу.

— Ой, ой, Григорий Федорович, дитяtko, приехал.

— Наверное, похоронили уже меня? — кинул Маркелов. Привычной грубоватой шутки не получилось.

— Ой, почто ты этак-то, Григорий Федорович, — суеверно запричитал ужаленный недружелюбными словами старик. — Живи, живи, скодь хотца, я к тебе с чист душой.

— С чист душой, — проворчал Маркелов. Опять показалось ему, что изменились люди, забыли о нем. Даже от слез Маруси Пахомовой, кинувшейся к нему, вроде не отмякло сердце.

Серебров поймал на себе укоризненный взгляд председателя и сразу понял, что не отпустила того обида. Своими вздохами, хмурью, залегшей в бровях, Григорий Федорович подтверждал это.

Сереброву не терпелось рассказать, как они «раскочегарили» сенокос, как проверяют с Крахмалевым все комбайны на герметичность, загоняя их на расстеленный брезент. Даже маленькая утечка видна, но Маркелов слушал без одобрения. Он сверх меры возмутился, когда ему сказали, что незадачливый шоферишка Агафон Хитрин разбил новенький, по распоряжению Сереброва ему переданный молоковоз.

— Я бы Хитрину никогда такую красавицу не дал, он переднего колеса от нее не стсит. До сих пор ездить не научился, — сказал Маркелов, давая понять Сереброву, что ни черта он не разбирается в людях.

Серебров возил Маркелова по ложбинам, где уютно высились купола стогов. Все сено взяли. В полях хвалил Ваню Помазкина за то, что придумал тот приспособление для низкого среза хлебов. Однако по иронично опущенным концам губ Маркелова понимал: не трогают того эти восторги и похвалы. Ваня всегда хорош, а сенокос таким и должен быть — самая приятная для деревни работа.

Сереброву хотелось, чтобы Григорий Федорович отгремел, выговорился, чтобы после этой грозы опять стало между ними просто и ясно, но Маркелов молчал. Определенно сердился. А за что? И вдруг Сереброва озарила догадка. Да ведь он за два месяца сумел испортить отношения и с Макаевым, и с Огородовым. Маркелов долго будет помнить эту обиду. Но, как бы там ни было, Серебров с облегчением чувствовал, что жизнь вошла в привычную колею. Вот заметут комбайны немудреный нынешний урожайшко, притихнут поля, и он вместе с

медвежатником Федей Трубой укрепит около гривы не-сжатого овса лабаз и будет выслеживать косолапую сладкоежку. А потом начнется охота на уток. Хватит тосковать Валету, хватит! А там придет Вера, и между ними произойдет решительный разговор. Будет у него семья!

Однако жизнь предложила неожиданный поворот.

Как-то хитрющая Маруся Пахомова, конфузливо улыбаясь, вызвала Сереброва с заседания правления колхоза, которое, как всегда, уверенно и весело вел Маркелов.

— Не поняла я, Гарольд Станиславович, будто из Ильинского, а может, из Крутенки вас зовут,— сказала она, изображая смущение.

В трубке звучал веселый, торопливый голос Веры.

— Мне сказали, что ты меня искал. Мы были у Ирочки, помнишь, «англичанка»? Отдыхали с Танюшкой. А теперь уезжаю на теплоходе, так что всего доброго. Не ищи.

— Подожди, я сейчас,— крикнул опешивший Серебров.— Отпрошусь.

В ответ раздался не похожий на Верин легкомысленный смех.

— Чудак! До отхода электрички пятнадцать минут. Я же из Крутенки звоню и теперь поеду в Бугрянск.

У Сереброва перехватило от обиды дыхание.

— Ты что, раньше не могла позвонить? — крикнул он возмущенно.

— Ты же человек занятой.

Еще и издевалась над ним.

— Ах, черт возьми! Ты что, скорым поездом не можешь? — крикнул он.

— Нет, нет. Все. Я не одна. Меня ждут,— проговорила она и повесила трубку.

После этого взбалмошного расстанного звонка, сидя в кабинете председателя среди знакомых-презнакомых людей, Серебров вдруг ощутил обидную одинокость, от которой защемило сердце. С глухой нарастающей тоской он понял, что из-за этого экскурсионного теплоходика, на палубу которого Вера поднимается в игривом, беззаботном расположении духа, он потеряет ее. Сложится там много досужих красавцев, и найдется какой-нибудь...

С трудом дождавшись окончания заседания, Серебров пробился к Григорию Федоровичу.

— Дайте мне отпуск,— сказал он мрачно.

— Чего? — опешил Маркелов, выпучив на него ошалевшие глаза.— В уборку-то? Да ты что, милый? Вот все бастьенько уберем, в октябре дуй хоть за границу, а теперь... Ну, парень...— и покрутил головой.

— Теперь надо,— сказал Серебров, подсовывая заявление.

Маркелов начал сердиться: вот причуды! Ну, молодежь! Но, поковыляв по кабинету, вдруг махнул рукой.

— Ладно, вали. Справимся,— и в глазах его мелькнула веселая хитринка. Серебров понял: председатель согласился на отпуск вовсе не потому, что ему стало жалко измучившегося главного инженера. Он сам привык работать на износ и считал, что остальные должны быть такими же двужилыми. Маркелов надеялся без Сереброва быстрее и легче восстановить подпорченные связи. Задобрит Огородова, пошлет дядю Митю к Макаеву, и все уляжется. Даже лучше, что не будет Сереброва, а то этот дуралей возьмет да еще полезет в пузырь.

— Давай, вали, отдыхай,— повторил великодушно Григорий Федорович и хлопнул Сереброва по спине.

Получив отпуск, Серебров ощутил бездумную легкость. Все печали разом слетели с него. Совсем это неплохо — отправиться в путешествие на теплоходе. Он доверится предусмотрительному дотошному экскурсионному расписанию. Ни о чем не надо будет беспокоиться: и развлечения, и питание — все продумано премудрым бюро путешествий, в руки которого он отдаст себя. А главное, он поплывет на этом теплоходе с Верой. Ему не будут мешать досужие взгляды. Там же никто никого не знает. Ах, какая счастливая полоса жизни вдруг открылась перед ним!

Нинель Владимировна, с удивлением увидев непривычно всполошенного, по-отпускному одетого сына у себя в кабинете, с готовностью проявила свое влияние.

— Я сейчас, Гаричек,— хватаясь за телефонную трубку, сказала она. В белом халате и шапочке, с резиновыми шлангами фонендоскопа на груди, милая и в свои годы все-таки красивая, мама выглядела на работе внушительнее, чем дома.— Мальчик ни разу не отдыхал летом,— застонала она в телефонную трубку.— С этой противной Крутенкой он вовсе извелся. Подумать только: сельский инженер имеет право отдыхать лишь поздней осенью или зимой...

Ведающая всякими оздоровительными поездками приятельница матери начала тут же предлагать для сына Нинели Владимировны один маршрут соблазнительнее другого. Она очень удивилась, что тот хочет поехать на теплоходе по самому непритязательному местному маршруту.

— Туда же мы из районов набрали желающих. И теплоход уже ушел. Может, лучше на море, в Гагры, Геленджик? — соблазняла она Серебров, но он хотел на речной теплоход. Он сам завладел телефонной трубкой и, бессовестно льстя, называя профсоюзную даму, не то Аврору, не то Венеру Федоровну, всесильной волшебницей, упрямил ее оформить путевку и отослать на теплоход телеграмму.

Потом он поспешил к этой волшебнице.

Растроганная сувенирной коробочкой духов, определившая по внешнему виду, что Сереброву можно было бы ехать по самому комфортабельному классу, Аврора или Венера Федоровна, изображая женщину лет на десять моложе, чем есть, трогательно благословила его.

Пока теплоход петлял по извилистой Радунице, Серебров примчался на электричке к тихой пристани и некоторое время бродил в тени высоченного глинистого берега. Под оглушающий крик певца («Хмуриться не надо, лада!») турист Серебров метнулся к теплоходу, заполненному по-летнему ярко одетым народом, качнулся на узком трапике, брошенном вместо сходней, и очутился в доброжелательном мире путешествующих бездельников. Под очередную бодрую песенку, призывающую к беззаботному житью, Серебров ощутил, что отдых начался, но одновременно заподозрил, что отдохнуть в таком бестолковом муравейнике вряд ли возможно.

В этом мнении он укрепился, ощутив на своем плече дружескую руку. Оглянувшись, увидел человека с белесой, неопрятной бородой странника. По глазам догадался, что перед ним Витя Гонин. Оба глаза у Вити ласково светились. Правда, здоровый по-прежнему косил куда-то в сторону.

— Располагайся, и к нам. Ребята подобрались, я тебе скажу, — и Витя, сладко прищурившись, добавил: — Коль не куришь да не пьешь, дак здоровеньким помрешь, а нам это не к спеху. Рякин-то за границы лыжи наворстил, а вот я тут.

Вера и «англичанка» Ирина Федоровна, та самая Ирочка, которая когда-то выступала с шотландскими

песенками в Ильинском клубике, смотрели на берег с верхней палубы. Они были изумлены, когда на хлипком трапике возник человек в пижонской белой фуражечке с нахальным волком и предупреждающими словами «Ну, погоди!» вместо кокарды.

— Смотри-ка, вылитый Серебров. Такой же зазнайка,— сказала Ирина Федоровна.

— Похож,— пролепетала Вера. Отчего-то она почувствовала, что такое может случиться. Еще звоня ему по телефону, она на это надеялась.

Серебров величественно, как вождь племени, поднял руку, вгоняя Веру в краску. Ирина Федоровна, убедившись, что это и вправду Серебров, отвернула в сторону свой царственный носик, помогавший ей произносить слова с иностранным прононсом, и, толкнув Веру локтем, возмущенно проговорила:

— Какой нахал! Всю жизнь тебе искорежил и еще улыбается.

— Да, это Гарик,— деланно удивлялась Вера.

Бросив в жаркой Витиной каюте портфель, Серебров отправился искать Веру. Он с трудом пробирался по душным узким коридорам и громыхающим трапам, по которым носились девчонки и мальчишки в спортивных костюмах, занятые каким-то своим интересом, потом вышел на палубу, но и там Веры не было. На корме туристы танцевали под аккордеон. И просто так, и на приз. Охрипший очкастый массовик, вскидывая над головой руки, будто меряя в омуте глубину, хлопал в ладоши и назойливо командовал:

— А теперь «Цыганочка». Кто первый, товарищи?

Веселье казалось Сереброву ненатуральным, хотя и массовик, и гоняющий музыку радист хотели выдать все это за настоящее. Теплоходик старался доказать, что он необыкновенно радушен и неповторим. Просто во все это надо было сразу поверить, если ты и вправду собрался отдохнуть. И Серебров хотел принять все это за настоящую радость отдыха, тем более что ему со всех сторон улыбались доверчивые, торопящиеся развлечься люди: там и тут ходили в обнимку парочки, успевшие сдружиться компании оглушали неприкаянных одиночек согласно грохочущим хохотом.

— Подгребай к нам,— потянул Сереброва к весельчакам желтобородый Витя Гонин.— Ты веришь в гороскоп? Я верю. Я по гороскопу обезьяна. Это значит — ловкий, хитрый, энергичный.

— Похоже,— сказал Серебров, высвобождаясь из нежных Витиных объятий. Он увидел наконец Веру и Ирину Федоровну. Они отщипывали от батона кусочки и бросали чайкам, которые на лету хватали добычу и взмывали в воздух. Серебров облокотился о перила.

— Ну, как оно? — спросил он.

— Мы вас не знаем,— сказала Ирина Федоровна и заслонила собой Веру. Конечно, это было шуткой. Странноватой, конечно, но шуткой.

Бог с ней, с этой взбалмошной Ириной Федоровной, и Серебров, обойдя ее, приблизился к Вере с другой стороны. Вера должна оценить, как он здорово провернул сложную отпускную операцию. Но Вера вела себя странно. Она позволила Ирине Федоровне снова разъединить их. Даже не спросила, как он сюда попал.

Возмущенный непризнанием и презрением, Серебров опять стал рядом с Верой. Он просвистел соответственную моменту морскую песенку «На родном борту линкора» и, изобразив беспечность, сказал, что готов прийти с бутылкой коньяка, чтобы отметить начало путешествия.

— Не трудитесь. Мы вас вместе с бутылкой выбросим за борт,— сказала Ирина Федоровна. Юмора в тоне ее голоса не угадывалось.

— Я же не персидская княжна, а вы не Стенька Разин,— сказал Серебров.— И вообще, зачем разбрасываться?

— Княжна,— передразнила Ирина Федоровна.— Князь,— и, вдруг решительно взяв Веру под руку, увела ее на нос теплохода. «И что она суется не в свое дело?» — свирепея, подумал Серебров.

Он ушел в буфет и, поглядывая через окно на хихикающую стайку девиц, поставил перед собой бутылку пива.

— А чой-то один-то? — сочувственно спросила его игривая буфетчица с ярко крашенными губами и поправила на голове кокошник.— Вон девья-то сколько.

— Там культурник конкурс проводит на королеву теплохода. Вот на нее я еще посмотрю,— сказал Серебров, разглядывая пену в бутылке.

— Ишь ты,— удивилась буфетчица. Разговор им продолжить не удалось. В буфет ворвалась Ирина Федоровна. Лицо у нее было по-прежнему сердитое и отчужденное.

— Зачем ты ее мучишь? Зачем? — сев напротив Серебров, без предисловий начала она.

— Как? Я...— начал Серебров, ища ответ поостроумнее.

— Я бы тебя убила. Ей-богу, убила бы и не покаялась,— сказала Ирина Федоровна.— Знаешь, сколько из-за тебя она горя хватила? Не знаешь! — Ирина Федоровна горько махнула рукой и всхлипнула.— Мы ее из петли вынули. Ты понимаешь? А ты... И Танечку ты чуть не погубил. Николай Филиппович приедет и зудит, и зудит: в дом малютки, в дом малютки. Думаешь, легко? — Ирина Федоровна водила цепким пальцем по скатерти, хлюпая носом, утирала платком покрасневшие глаза. Девицы за окном примолкли и перестали хихикать, насторожились. Буфетчица деликатно ушла в свою боковушку и замерла там. Обстановка была хуже некуда.

Серебров, оглушенный, растерянный, вертел в руках пустой стакан с пивной пеной на краях. Неужели все это правда?

— Я не знал,— растерянно пробормотал он.

— Не знал,— передразнила его Ирина Федоровна.— А как она тебя любила! Пойдем в кино, а она говорит: вон тот артист на Сереброва похож. Или у другого голос, как у тебя. А т-ты, ты даже слова доброго не сказал, не поддержал. И опять лезешь. Совести у тебя нет, Серебров. Еще нахальства набрался — явился сюда.— Ирина Федоровна хлюпнула носом и, встав, так же быстро, как появилась, исчезла из буфета.

Серебров ошалело покрутил стакан, потом медленно поднялся и вышел. Все рушилось, все рвалось. Все, что делал он, было пошло, постыдно, противно. Вспомнив, каким фертом еще час назад закатился он на теплоход, Серебров устыдился: бесчувственный, бессовестный, хамло и эгоист.

— Эй, коль не куришь да не пьешь, дак здоровенький помрешь,— раздалось рядом, и Сереброва заташил в свою каюту бесконечно добрый Витя Гонин. Там тесно сидели какие-то в доску свои парни и девы, разбитные завсегдатаи туристских поездов и теплоходов, везде бывавшие и все знающие.

В уютной конспирации тесной каюты они резались в «кинга» и травили анекдоты. Они выделялись спаянностью. У них была своя философия, был свой гимн.

Серебров до одурения играл с ними в «кинга». Он

тряхнул стариной, сбавал на гитаре с полдюжины песен и был принят в компанию.

Теплоход весело плыл вниз по течению, гремя усилителями. Избыток музыкального обслуживания вгонял Сереброву в тоску. Праздные курортные порядки прискучили. Ему казалось, что даже реке и берегам надоел их многозвучный корабль. Багровое солнце, усталое, недовольное собой, садилось под охрипшее треньканье гитар за колючий хвойный бугор.

Надо было что-то делать: то ли сходить с теплохода, то ли менять компанию. Отдельной ватагой толкалась по теплоходу шумливая, спортивного вида молодежь, изображавшая бывалость. Эдакие тоска и безразличие — маска на полудетских лицах. У девчонок и парней на кедах написано чернильной пастой: «Ох, как они устали бегать!» Видно, это были студенты, отдохавшие после спортлагерей. Они пели новые, не известные Сереброву песни. «Уже устарел», — подумал он. Захотелось покоя и одиночества.

Серебров решил во что бы то ни стало поговорить с Верой откровенно — объявить, что женится на ней. Если же Вера будет держаться все так же неприступно, он покинет теплоход. Покинет назло ей, не желающей простить и понять его, назло Ирине Федоровне и самому себе.

Ирина Федоровна выпустила Веру из-под своего недреманного ока. Над хрупкой «англичанкой» навис неуклюжий, грузинского обличия усач Гоша, который мог бы при желании носить ее на широких, как шифоньер, плечах. Серебров безгласно, но прочно занял место рядом с Верой. Она не гнала его и не возмущалась. Так же тихо, таинственно улыбалась, словно знала наперед, что он окажется рядом.

Он все ждал момента, когда сможет сказать ей, что не представляет себе жизни без нее и Танюши, но боялся опять встретить недоверие. Он таскал за Верой ее сумочку, в городах закупал мороженое сразу для всех женщин, шедших с нею, и даже для Ирины Федоровны. Приносил в Верину каюту пахнущие мартовским талым снегом арбузы. Загодя предошущая во рту прохладу и сладость, кроил на подернутые сахарной заиндевелостью ломти и раздавал попугачам.

Серебров смотрел на широкую, иной раз вовсе бескрайнюю, величавую реку. Плыли навстречу буксиры, самоходные баржи с бутовым камнем, кирпичом, удобре-

ниями в бумажных мешках. На корме этих посудин трепыхалось бельишко, играли дети. Люди жили на воде, как дома.

— Верушка,— говорил он, трогая ее руку.

— Не надо,— испуганно произносила она.

Проплывали мимо плоские, как лепешки, песчаные отмели и закругленные островки, по которым бегали, ссорясь, носатые чайки. Кое-где старательно лежали, собирая последние летние лучи, засмолевшие купальщики и купальщицы в выцветших плавках.

Сливались в неразличимую тьму вода и берега, холодело. Серебров накидывал Вере на плечи пиджак.

— Спасибо,— сдержанно благодарила она, и они снова молчали, слушая приглушенный плеск воды.

Вера принимала услуги Сереброва с терпеливой полуулыбкой: посмотрим, надолго ли хватит твоего кавалерского благородства? Серебров чувствовал осуждение в ее терпеливом молчании.

Однажды ему показалось, что Верино лицо просветлело. Обычно крылатые брови были сосредоточенно сведены к переносице, к двум ранним поперечным морщинкам, а тут морщинки эти разгладились. Лицо стало грехним, девчоночьим. Он, боясь спугнуть это выражение, осторожно сказал:

— А тебе не кажется, что я тебя люблю?

— Ты знаешь, я как-то об этом не думала, хотя весело теплоход говорит о том, что ты мне не даешь прохода.

— Теплоход прав,— сказал Серебров.— Хочешь, чтоб доказать тебе это, я брошусь в воду или пройду по перилам?

— Никто этого не поймет. Кроме того, тебя высадят за нарушение правил,— спокойно ответила она. Насмешливо мерцали из-под ресниц ее большие, казавшиеся темными глаза.

— Не веришь? — Он залез на перила. Пошел медленно, стараясь не смотреть на воду. Боязливо постанывали перила, он хмелел от опасности, но шел, балансируя руками.

— Не надо, слышишь, не надо! — донесся до него отчаянный шепот. Серебров все-таки дошел до опорного столбика и спрыгнул на палубу. Вера стояла, отвернувшись от него. Ему стало стыдно. Хорош бы он был, если бы сорвался в воду.

— Тебе, наверное, приятно играть на нервах? —

спросила Вера, и он увидел на ее ресницах слезы.— Дурак несчастный!

— Я больше не буду,— виновато сказал он и ткнулся губами в ее шею, в нежные завитки волос.— Обиделась, да?

Она молчала.

— Ну, скажи, обиделась? — приставал он.

— Не знаю,— сказала она.— Очень ты нехороший, Серебров, просто не знаю, какой нехороший. Я таким в школе оценки за поведение снижаю,— но после этого она не отнимала руку, когда он брал ее в свою.

Уговорив одного охочего выпить, свойского мужичка поменяться местами за обеденным столом, Серебров сел рядом с Верой.

— Ну, где наши влюбленные? — спрашивали теперь соседи по столу, если Вера и Серебров запаздывали.

— Мы молодожены,— не уставал поправлять Серебров назойливых остряков.— Мы не успели расписаться, а здесь загса нет.

Вера краснела.

— Язык без костей,— сердилась Ирина Федоровна. Она презирала теперь и Веру, и Сереброва. А ему поездка начинала нравиться. Сидя в шезлонге рядом с Верой, он смотрел на берега, которые то взметывались до неба, то покойно ложились вровень с водой, на меланхоличные стада коров, стоящих в воде, на пойменные луга с шапками стогов на них и говорил Вере:

— Пожалуй, центнеров по двадцать пять сена с гектара здесь берут. А удои, конечно, тысячи три с половиной от коровы.

— Ах, какой аграрник,— усмехнулась она.— И все то он знает.

Они плыли мимо безвестных уютных деревенок с обычными русскими названиями: Широкий Лог, Разбойный Бор, Мысы, Ключи, Звени, Краюхи. Покойны и непритязательны были они.

Однажды ранним утром, когда утомленный вчерашним гамом, притихший теплоход вывернул на широкий плес, Серебров чуть не вскрикнул от удивления: перед ним высоко поднимался трехъярусный берег. Вот это красота! У подножия лежали лесистые караваи с отвесно обрезанными лезвием реки краюхами, выше скатертью стлались луга, по которым текли тропинки, а на самом верху, по соседству с облаками, опять зеленел лес. Безлюдье, покой. Такого красивого горного места Сере-

бров на Радунце еще не видал. «Синяя Грива», — прочитал он название пристани.

По водному зеркалу пронеслась нарядная «Заря», мотовски разбрасывая сверкающие, как чешская бижутерия, струи и брызги. Она закрыла берег с кучкой уютных домиков, пасеку на лугу, седоусого старика в неуклюжей лодке, плавно качающегося вместе с берегом. «Вот здесь бы жить, пить густое, четырехпроцентной жирности молоко, есть сотовый мед», — подумалось Сереброву. Как жаль, что не было рядом Веры. Серебров определенно знал, что она бы согласилась остаться тут. Но проплыл, как мираж, этот райский уютный берег. Потом немало попадалось красивых мест, а в памяти Сереброва осталась Синяя Грива.

Обратно шел теплоход без того шума и грома, что вниз по течению. Туристы поскущнели, приумолкли, стали деловитее: притаскивали с берега авоськи с яблоками в надежде довезти их до дому. Позже яблоки, покрывшиеся ржавыми пятнами, летели за борт. Шел теплоход, оставляя за собой арбузные корки, огрызки груш. Наступили пресыщение и усталость от безделья.

Узнав, что предстоит часовая остановка с купанием у той самой Синея Гривы, которая приглянулась ему, Серебров отозвал Ирину Федоровну в сторону и сказал, что они с Верой останутся тут: Сереброву надо навесить тетю Олимпиаду, которая живет вон в том домочке.

— Скатертью дорога! — задиристо откликнулась Ирина Федоровна. — Вы оба мне опостытели. Глаза бы не видели.

— Глупая, мы ведь женимся, — проговорил Серебров с укором.

— Ты трепач, Гарольд Станиславович, — отрезала Ирина Федоровна.

— Нет, честно, — вдогонку крикнул Серебров, но Ирина Федоровна не расслышала его. Она спешила к могучему Гоше.

Экскурсанты, ощутив под ногами надежную твердь, а не покачивую палубу, разбрелись: кто на чистый пляжик, кто в тень деревьев, а пять или шесть энтузиастов во главе с Витей Гониным целенаправленной трусцой устремились к магазинчику, голубевшему рядом с дебаркадером. Водку в этом году стали продавать с одиннадцати часов, но они надеялись, что такая новинка еще не дошла до тихой пристани.

— Бежат, друг дружку роняют, — повторил Серебров

афоризм Помазкина-старшего и повел Веру затравенной тележной дорогой вверх, на луга. Он рвал ромашки, возмущаясь тем, что у здешнего колхоза не нашлось сил выкосить такие богатые травы, собирал пригоршнями малину, угощал Веру.

— А не опоздаем? — спрашивала она.

— Ну, что ты, я у капитана спрашивал, остановку решили продлить. Очень красивое место, — уверенно говорил он, шагая вперед.

Они радостно, облегченно вдыхали смолистые запахи сосны и пихты, пресноватый аромат грибов. Видимо, пока теплоход спускался вниз, прошли на Радунце дожди: были видны развороченные бурливыми потоками расщелины, на мягкой земле отпечатались раздвоенные копыта лосей, под ноги заманивающе высыпали хромовые шляпки маслят. Серебров приподнимал тяжелые нижние ветви пихт, подолом прикрывавшие землю. Там твердо и независимо стояли кряжистые «мужички» — белые грибы на толстых ножках. Вера, став на колени, срезала их. Серебров складывал грибы в предусмотрительно захваченную авоську.

— Благодать какая! — радовалась она. — Ой, как здесь хорошо, Гарик.

— Пойдем дальше. Там еще лучше, — заманивал он ее выше. Ему хотелось подняться на самую вершину гряды. Казалось, что оттуда откроется вовсе необыкновенное, еще ни разу не виденное.

И действительно, на самом гребне, где опять были луга и стоял покинутый починок с дряхлыми домами, перед ними распахнулся широчайший простор с неоглядно раздвинувшимся горизонтом. От такой широты казалось Сереброву, что он не стоит на земле, а парит над рекой и полями.

— До чего красиво! — воскликнула Вера и не отстранилась, когда он привлек ее к себе. Он поцеловал ее долгим, перехватывающим дыхание поцелуем, растрогался и дрогнувшим голосом умоляюще проговорил:

— Давай останемся с тобой здесь и на теплоход не пойдем.

— Опять! Выдумщик! — качая головой, рассмеялась она.

— Нет, серьезно. Я там оставил записку.

— Болтунишка. Когда ты перестанешь фантазировать!

Они присели. Далеко внизу открывалась излучина ре-

ки, обрамленная ельниками. Виден был теплоход — маленькая белая игрушка, пестрели еле заметные, похожие на стрелки компаса, байдарки.

— И мы одни,— прошептал, уважая тишину, Серебров и положил Вере на колени голову.— Ой, как хорошо, не умереть бы,— вспомнил он рякинскую поговорку.

— Дурачок какой,— так же тихо прошептала она ероша его волосы.

Вдруг внизу раздались короткие дальние гудки.

— Что-то случилось! — встrepенулась Вера.

— Все в сборе,— сказал спокойно Серебров.— Видишь, они уже убрали трап и теперь отчалиют от берега.

На лице Веры сначала отразилась растерянность, потом беспокойство. Она вскочила.

— Ведь ты говорил — два часа. Ты врал, что ли? — возмущенно крикнула она.

— Врал.

Лицо у Веры покрылось пятнами.

— Ты поступаешь со мной, как с безгласным существом,— прошептала возмущенно она и кинулась вниз по тропе. Серебров догнал ее, преградил дорогу.

— Ну, Верушка. Я прошу тебя, останемся. Ну, останемся. Я же тебя люблю,— бормотал он. Она вырывалась из его рук, отталкивала его от себя, но он не давал ей идти.

— Я закричу,— размазывая по лицу слезы, пригрозила она и, словно не доверяя своему голосу, крикнула: — Помогите!

Серебров усадил Веру рядом с собой на поваленную грозой березу и, держа ее за руки, поощряюще сказал:

— Надо посильнее, ты кричишь для отвода глаз.

— Помогите! — крикнула она и, вырвав руку, с досадой ударила Сереброва по спине.— Дурак какой! Ну что ты со мной делаешь? Врун! Зачем сказал, что два часа...

— Ударь еще,— просил Серебров, не выпуская Веру.— И еще крикни. Это у тебя хорошо получается. Но кричи не громко, а то те, с кедами, которые устали, раз-раз прискачут сюда.

Вера взмахивала в отчаянии свободной рукой.

— Пусти, ну, пусти же! Что о нас подумают? Что? — и закрыла глаза, представляя ужас и позор, которые ожидают их.

— Мы ведь влюбленные. Все знают...— пытался успокоить ее Серебров.— Что подумают? Да то и подума-

ют, что мы целовались с тобой, что мы теперь муж и жена.

А внизу, на теплоходе, поднялся переполох. Гудела сирена. Какие-то сердобольные туристы скандировали: «Э-а, э-а!» Наверное, очкастый массовик, просадивший весь запас своей энергии в первой половине пути, вновь воспрянул духом и, размахивая руками, призывал их кричать.

— Какой позор! Какой позор! — повторяла Вера. Ей представилось, как на виду у всего теплохода они выберутся вдвоем из леса. Ей слышались ругань и двусмысленные шуточки. Серебров тоже вообразил эту картину и с сочувствием сказал:

— Знаешь, как-то не по себе. Надо все-таки оберегать свой авторитет, давай не пойдем. Они успокоятся.

И действительно, крикуны успокоились. Очевидно, попутчики нашли послание Сереброва. В нем он благодарил организаторов экскурсии и команду теплохода, возносил существующие и несуществующие их таланты и добродетели и извещал, что остается со своей невестой в Синей Гриве. И «англичанка» Ирина Федоровна, наверное, уразумела, что Серебров не шутил, когда прочла его просьбу воспользоваться мощью Гоши и сдать Верины и его вещи в камеру хранения на Бугрянском речном вокзале.

Теплоход еще раз длинно, с укоризной прогудел, давая знать, что складывает с себя все заботы о самоуправных путешественниках, и Вера с Серебровым увидели, что белая их посуда, наполняясь музыкой, выбирается на середину реки.

— Даже всплакнуть хочется, — сказал он, выпуская Веру. Она вскочила и замахала руками.

— Они думают, что ты им желаешь доброго пути, — расшифровал Серебров ее жесты. Вера с прежней досадой ударила его по спине.

— Противный! — крикнула она со слезами.

Теплоходик, видно, успокоился. Словно утюжок, вспарывая гладь воды, он двигался к повороту и вот уже скрылся за гривой пихтача.

— Я тебя совсем не люблю, — сказала Вера.

— Теперь уж это не имеет значения, — подбирая авоську с грибами, откликнулся Серебров. — Будет брак по расчету. Я женюсь на тебе, потому что ты дочь банкира.

— Ох, Серебров! — простионала она.— Нахал из нахалов!

А он обнял ее и, не давая ей двинуться, проговорил: — Милая моя страдалница, прости меня. Прости меня, Верушка.

Она вырвалась из его рук, вздохнула и практически сказала:

— Но у нас ведь ничего нет. Ну, что ты за авантюрист? Я ведь ничего не взяла.

— Я твой муж,— откашлявшись, проговорил строго Серебров.— И прошу с должным почтением относиться ко мне. Авантюрист? Да что это такое?!

— Муж обьелся груш. Авантюрист, узурпатор, завоеватель, фараон,— старательно подбирала она прозвища, спускаясь по тропинке.

— Ты дело подменяешь болтовней,— усовещал ее Серебров.— Ты беззаботный человек. Ты пошла в одних босоножках и праздничном платье, а у меня есть спички, нож, авоська, деньги, документы. У Робинзона Крузо, когда он поселился на необитаемом острове, было гораздо меньше запасов, чем у меня. Сейчас купим сапоги, ватник, поставим шалаш. В нем нам надлежит создать рай.

Вера сняла босоножки и пошла босиком, оставляя четкие отпечатки на влажной земле.

— Умница, бережешь обувь,— веселился Серебров.— Я буду целовать твои следочки,— и он действительно, став на колени, трижды чмокнул ее следы.

— Ой, коварный хитрюга, разбойник, тиран,— придерживаясь за ветки елей, говорила уже без злости Вера.

— Кровопиец, вампир, бандит с большой дороги,— помогал он ей пополнять запас прозвищ.

Сереброву было легко и весело оттого, что он осуществил задуманное, оттого, что Вера была с ним, остальное его не тревожило: ни мнение Ирины Федоровны, ни жалобы руководителей экскурсионной поездки. Когда они вышли к дебаркадеру, на берегу было безлюдно. Дом, магазинчик с дверью, перекрещенной железными накладками, красные и белые треугольники бакенов, ульи. На крыльце дома появилась некрасивая, мужского покроя, женщина с коротко стриженными сидящими волосами, которые удерживала широкая гребенка. Женщина с хмурью в лице окинула взглядом неожиданных пришельцев.

— Здравствуйте,— занскивающе сказал Серебров, пряча за спину авоську.

— Это вы, бродяги, опоздали на теплоход? — низким, сиплым голосом спросила женщина и достала из кармана жакетки пачку чанирос.

— Мы,— подтвердил беспечно Серебров.— А у вас есть молочко четырехпроцентной жирности?

— Вы хоть кто такие? — прикуривая, спросила женщина. Глаза у нее, пожалуй, были добрые, понимающие, и это Сереброву понравилось.

— Мы муж и жена,— ответил он и, не сбиваясь, снова спросил, есть ли молоко.

— Не знаю уж сколько процентов, но хвалят,— сказала женщина, вынеся им трехлитровую стеклянную банку молока и эмалированные кружки. Стенки банки запотели. Молоко было с ледника.

— А криночек нет? — посочувствовал Серебров, разливая молоко.— Вот видишь, как все хорошо! — сказал он Вере и добавил, нахально вербуя в союзницы женщину: — Я же говорил, что с добрыми людьми не пропадем.

А женщина, видимо проникнувшись состраданием, сообщила, что сейчас приедет какой-то Василий Иванович. Этот Василий Иванович свяжется с теплоходом по рации и увезет их, а теплоход на очередной стоянке пождет.

— Ни в коем случае! — замахал руками Серебров.

Вера хотела сказать что-то свое, но Серебров перебил ее. Он начал расхваливать синегривские места и доказывать, что давно мечтал остановиться именно здесь.

— Места у нас первостатейные,— пробасила женщина.— Много среди лета народу живет. Вон там, на излучке, на камнях — мы сковородкой их зовем — семей по пятнадцать останавливается. И там, и там живут, а теперь уж уехали.

— Вот мы на «сковородку» и пойдем,— сказал Серебров, вставая.

— А где у вас палатка? — забеспокоилась женщина.

— Мы так,— ответил легкомысленно Серебров.— Шалаш, костер.

— Так уже нельзя, так уже холодно,— сказала женщина.— Поселяйтесь у нас, в летней половине. Чего с вами делать-то.

Лицо женщины осветилось улыбкой. Видно, они казались ей вовсе несмышленишами.

К тому времени, когда заурчал мотор на реке, Вера и Серебров уже знали, что женщину зовут Анной Ивановной, что фамилия ее Очкина. Узнали также, что она считается начальником пристани, а ее муж, Василий Иванович,— бакенщик, что жить здесь хорошо, что отдохнуть можно первостатейно. Никто еще не пожалел, выбрав для отдыха Синюю Гриву.

В берег ткнулась очень серьезная железная посудина со стационарным мотором и флагом. Она была похожа на корабль, представляющий микроскопическую морскую державу. Из лодки вышел человек в выцветшей форменной капитанской фуражке. Самым впечатляющим на морщинистом лице этого человека были седеющие длинные усы, и Серебров вспомнил, что видел его ранним утром, когда плыл вниз по реке.

— Они и есть зайцы? — строго и бескомпромиссно оглядывая Сереброва и Веру, сидящих у ополовиненной банки с молоком, спросил усатый Анну Ивановну.

— Они,— ответила Очкина.— Но они у нас будут жить, Василий Иванович. Они на теплоход не поедут.

— Мне капитан сказал: взять и посадить их в Совьем,— непримиримо стоял на своем усатый Василий Иванович. Дробно простучала о стлани цепь. Хотел он непременно отправить их.

— А вы не беспокойтесь, мы ведь живы-здоровы,— вмешался в разговор Серебров.— И мы не хотим ехать.

Василий Иванович посмотрел на него неодобрительно: вас, мол, не спрашивают. Как скажет Анна Ивановна, так и будет. Анна Ивановна была не согласна с Василием Ивановичем.

— Так и передай,— закуривая папиросу, проговорила она, пользуясь то ли властью жены, то ли начальника пристани. Видно, Очкина была все-таки главной, потому что Василий Иванович послушался и ушел в бакенский домик что-то передавать по рации.

Скроенная по мужским меркам, не выпускающая изо рта «беломорины», Очкина оказалась неправдоподобно заботливой. Она не только отвела им летнюю половину дома с широченной кроватью, но и принесла сапоги, телогрейки, какие-то рубахи.

— По лесу-то рвать сойдет,— сказала она и добавила: — Коли еще чего понадобится, не молчите,— и выдула изо рта целый клуб дыма. Серебров прозвал Анну Ивановну вместо Очкиной — Мамочкиной. Так они и именovali ее между собой.

Сереброву нравилась оглушающая тишина, безлюдная река, рубленый дом с капельками желтой, как мед, смолы на бревнах, с чистыми светлыми подоконниками, по которым бегали муравьи.

В первый вечер Вера ушла спать одновременно с Анной Ивановной. Очкин и Серебров еще долго сидели у костра. Серебров смотрел в огонь. Бакенщик рассказывал, что в давние времена синегривцы для ловли стерляди замешивали в тесто для приманки бабочек-подеенок, вылетающих раз за лето.

— Первостатейный был клев,— говорил Василий Иванович.

Серебров долго не шел в дом. Когда Очкин закрыл дверь зимней своей половины, Серебров все еще сидел, прислушиваясь к тишине. Ждал. Он почувствовал сковывающую робость и виноватость перед Верой. Как он зайдет, что скажет? Вдруг от дома донесся Верин шепот:

— Гарик, я боюсь.

— Сейчас, я сейчас,— поспешно, успокаивающе ответил он и, загасив костер, двинулся к дому. Вера ждала его в проеме дверей. Он обнял ее. Она ткнулась ему в грудь лицом, вздохнула:

— Мучитель мой.

— Извини, извини меня,— прошептал он, уводя ее в дом.

Сразу же в их жизни появилась размеренность. Вера еще спала, когда Серебров в одних плавках, с полотенцем через плечо выскакивал на крыльцо. Лес пах смолой и свежестью. Солнце было еще в тумане, как лампочка в парилке, и вовсе не слепило, когда он глядел на него. Деятельно гудели пчелы. Мамочкина шла с подойником из хлева, в подойнике пенилось парное молоко. Были чисты внятные на утре звуки: пение петухов в нагорной деревне, стрекот лодочного мотора.

— Я вам молочко в сенях оставлю,— шепотом говорила Анна Ивановна.— А Верочка спит?

— Спит,— говорил Серебров.

— Ты ее береги,— понизив голос, шептала Мамочкина и мудро добавляла: — При добром муже жена красивее.

Сереброву было приятно оттого, что он именно такой добрый муж, при котором Vere остается только красивее, и он по обжигающей ноги росе бежал к пляжику. Около полосатого, похожего на ксилофон треугольного

знака речной навигации сидел на камне Василий Иванович с какой-то снастью.

— Купаться уже нельзя. Медведь в воду лапу опустил,— предупреждал он, поднимая редкозубое, осмоленное солнцем лицо.

— Ничего,— беспечно откликнулся Серебров и с дрожью входил в воду.— Я в моржи думаю пойти.

Василий Иванович качал головой: потешный народ — отдыхающие.

Неторопливый, спокойный, Очкин знал целую прорву всяких мудрых примет и советов. Он говорил о том, что лучше всего от комаров не новейшие средства, а товарный деготь.

— Они его сильно недолюбают,— отзывался он о комарах.

Во время утренних бесед с Василием Ивановичем Серебров усвоил, что через месяц после первого снега наступает настоящая зима, а через месяц после того, как упадут с елок иголки, начинается ледоход. Если ольха по весне оперяется первой, жди мокрое лето, а если береза, то будет лето сухим.

С купания возвращался Серебров взбодренный. Садился рядом с Василием Ивановичем. Они говорили о всяких умных вещах: об использовании космических полетов в народном хозяйстве, о зловредной радиации, о лесных пожарах, которые замучили народ в нынешнее лето, о политике.

— Гляди-ко, гляди,— вдруг шептал Василий Иванович и показывал клешнястой рукой на реку.

Серебров замечал на слепящей, маслянистой глади воды корягу.

— Лось, а рога-то, хоть чалку забрасывай,— с почтением произносил Василий Иванович.

Василий Иванович и Серебров следили за могучим лосем, который, выбравшись на высоких стройных ногах из воды, вздрагивал кожей, раскидывая брызги, и спокойно шел по отпадку в лес, словно не замечая их.

— Сей год волки им житья не давали,— говорил Василий Иванович.— А летом они знают, что никто не тронет.

Эти простые разговоры нравились Сереброву.

Вера и Мамочкина звали их завтракать. Серебров шептал в пунцовое ухо Веры слова, которые сказала ему поутру Анна Ивановна: «При добром муже и жена красивее».

— Муж объелся груш,— не находя, что сказать, произносила Вера первое попавшееся.— Зазнайка хороший,— и краснела.

— Да нет, что вы, Верочка, он у вас и вправду хороший,— заступалась за Сереброву Мамочкина.

После завтрака в пожертвованной им одежде они отправлялись в лес за малиной или грибами. Вера в серой телогрейке, кирзовых сапогах, плотно охватывающих икры сильных ног, в платке Анны Ивановны выглядела по-деревенски простенькой. Сереброва умиляла эта опрощенность.

— Ох ты, доярочка моя,— радовался он. Шли они с Верой прямо в смальтовую синь предгрозового неба, которое опиралось на лесистую синегривскую гору, и, настроенный Василием Ивановичем на философский лад, Серебров развивал перед Верой мысль о том, что удачное сочетание противоположностей — наиболее благоприятное условие для гармонии в семейной жизни.

— Ты спокойная и сдержанная, а я психопат, так что у нас все будет хорошо,— произносил он.— Ты будешь уравнивать меня на семейных весах.

— И не думаю. Ты слишком вознесешься, если я окажусь на противоположной чаше,— отказывалась Вера.— Я тоже могу быть психованной. И кроме того, жизнь сложная вещь,— добавляла она уже серьезно, словно Серебров был вовсе мальчишка.

— Скажи на милость, и откуда ты это знаешь? — задирился он и лез целоваться.

— Да ты что, злодей? Все рыжики истоптал! — вскрикивала Вера. Став на колени, она замирала. Из травы возникали серые, с прозеленью кольца грибных шляпок. Рыжики росли тут «мостами». Если долго смотреть в их кольца, то покажется, что это начало трубок, идущих в глубь земли. А какое оранжевое полыхание разгоралось в корзине, какой неповторимый дух шел от них!

Днем они купались. Вера в облегающем ее грудь и талию голубом купальнике, стыдливо глядя под ноги, шла к воде. Серебров замирал, любуясь ею. Она чувствовала сго взгляд и сердилась.

— Не смотри на меня так.

— Я не могу не смотреть,— откликнулся он.— Это преступление — не смотреть. Я смотрю на тебя, как на произведение искусства.

С тонкой талией, полноватыми крепкими ногами,

длинными распущенными волосами, она была какой-то новой, еще неизвестной ему. Почему-то он не предполагал, что она такая красивая. Вера закручивала волосы и боязливо входила в воду. Серебров налетал на нее, брал на руки.

— Я же тяжелая,— отбивалась она, болтая ногами, но он не отпускал ее, и она брала его за шею рукой. Они брызгались, барахтались в воде. Верина куфта рассыпалась, и длинные волосы касались воды.

— Опять замочил,— сердилась она.— Вот и сиди теперь, жди, когда я их расчешу да высушу.

— Русалка, дикая Бара, Ундина! — выкрикивал он, греясь на солнце, и терпеливо ждал, пока Вера не расчешет волосы и не упрячет их под платок. В простом длинном платье Анны Ивановны Вера уже была не такой яркой и притягательной, как в купальнике. Простая, понятная, с веснушками на носу и щеках.

— Баба у меня баская да ядреная,— поддразнивая ее, говорил он голосом дяди Мити.

Вечером они варили уху. Непременно на костре. Иной ужин Василий Иванович не признавал. Вчетвером они сидели у косматого огня. Рвалось вверх пламя. Отсветы его синусоидой изгибались на волне, поднятой почти невидимой во тьме самоходной баржей. Огонь освещал спокойное, темное, как у старой женщины из племени индейцев, лицо Мамочкиной, седоусого Василия Ивановича. Анна Ивановна уже в который раз повторяла для Сереброва и Веры романтическую историю о том, как во время войны готовили в их деревне посылку для фронта. Тогда Анна Ивановна была молодая и статная. И вот она вышила на кисете слова «Самому храброму» и вложила в него записку. По этой записке написал ей получивший кисет раненый снайпер Вася Очкин. Потом он приехал сюда и нашел ее. Этот снайпер Вася и оказался Василием Ивановичем Очкиным, за которого она вышла замуж.

Анна Ивановна, несмотря на годы, не утратила восторженной приподнятости. Когда Василий Иванович отъезжал в своей сварной просторной лодке, она махала ему рукой. Она всегда выходила встречать его на берег. Повторяла уважительно:

— Мой Василий Иванович — опытный, первостатейный речник,— и чувствовалась в этих словах гордость за него и его занятие.

Слушая Мамочкину, Серебров смотрел в костер и ду-

мал о том, что, может быть, счастье заключается как раз в том, чтобы вот так, вдвоем, бок о бок жить всегда, до самой старости, воспитать и проводить в жизнь детей и не устать друг от друга. После этих размышлений он вдруг находил такое же спокойствие и такую же, как у Мамочкиной, житейскую мудрость в Вере.

На реке терялся счет дням. Сереброву казалось, что они давным-давно живут здесь. Это ощущение появлялось, видимо, оттого, что за августовский погожий день можно было переделать прорву разных дел: сходить за грибами, а потом, играя силой, поколоть для Очкиных дров, покатать Веру на весельной лодке, сбродить на озера за шурятами для жарехи, просто посидеть на берегу и поглазеть на реку. Вери это ощущение длительности времени беспокоило.

— Какое сегодня число? — встревоженно подняв голову, спрашивала она не один раз на день. Она боялась, что замещающая ее учительница не так, как надо, составит расписание, а она, опоздав, не успеет ничего исправить. Или вдруг она начинала тревожиться за Танюшку.

— Живу здесь, и один день кажется за три. Ты не врешь, что сегодня двадцать первое? — испытующе спрашивала она Сереброва.

— Вон крикни на баржу, спроси, какое сегодня число? — советовал он. Василий Иванович, держа на отлете разворот, читал на завалине областную газету.

— Это вчерашняя у вас? — спрашивала осторожно Вера.

— Вчерашняя, — говорил Очкин, шурша газетой.

— Глупенькая, это же завтрашний номер, — веселился Серебров. — Как, Василий Иванович, там за нашу поимку не объявлено вознаграждение?

Он был беззаботен. Его не тревожили колхозные дела. Все знает там Маркелов. Жизнь рисовалась впереди легкой и понятной. Он заберет Веру и Танюшку к себе в Ложкари, так что зря его супружница волнуется из-за расписания, завучем ей в Ильинском не быть. В Ложкарях начнется благоденствие. И чего еще желать? Милая, добрая, заботливая Вера. Теперь он знает, что лучше, чем жить вместе с ней, ничего быть не может. И Вера, конечно, знает об этом. Он был убежден, что знает. И Танюшке будет хорошо, и ему.

Обычно они обходили в разговорах Николая Филипповича. Как будто его вовсе не существовало, как будто

было можно миновать с ним встречи. Да, они не будут встречаться. Ни к чему. Серафима Петровна пусть приезжает, а Огородову вход закрыт.

Однажды Серебров проснулся среди ночи. За окном хлестал ливень, и кто-то могучий сталкивал в небе валуны. Они с треском раскалывались, освещая синеватыми вспышками комнату, гнущиеся под ветром стволы раскосмаченных молодых берез. Синие сполохи поздней августовской грозы. Потом гром ушел в сторону. Серебров лежал, слушая его дальние добродушные, как псиное урчание, раскаты, дробь капель на оконных стеклах. В туго оклеенный бумагой потолок гулко ударялись мухи, встревоженные грозой. Ему показалось, что проснулся он не от грозы, не от стука этих мух в барабанно натянутую бумагу, а от чего-то неясно тревожного и щемяще безысходного. «Откуда взялось это ощущение? К чему примерещилось?» — подумал он и хотел повернуться на бок. Вдруг до него донесся сдавленный безутешный всхлип. Серебров встрепенулся. Вера. Как же так? Он спит себе, а она плачет. Она одна и плачет. Кто ее обидел? Или она боится грозы?

Он обнял ее, стал целовать в горячее, мокрое лицо.

— Ну что ты, что с тобой, Верушка? — шептал он, глядя ее.

— Ни-и-чего, — всхлипнув, ответила она. — Так, ни-и-чего.

— Как ничего? А почему плачешь? — допытывался он.

— Я-а, я б-боюсь, — прошептала она наконец.

— Ох, ты глупая, — проговорил он с превосходством взрослого. — Чего бояться-то? Это же гроза. Ну, разбудила бы меня, — успокаивающе сказал он, утирая ей слезы.

Но Вера всхлипывала, тычась лицом ему в плечо, и Серебров вдруг понял, что плачет она вовсе не из-за грозы, не из-за страха перед раскатами грома.

— Ну что, Танюшку вспомнила? — подсказал он ей. А она завсхлипывала еще горше и безутешнее.

— Я б-боюсь, я б-боюсь, — наконец выдавила она из себя дрожащим голосом, — что ты, что ты опять м-меня б-бросишь, — и плечи ее затряслись в плаче.

Серебров прижал к своей груди Верину голову.

— Ох, и дурочка ты, а еще завуч, — прошептал он, с тревогой укоряя себя за то, что не смог заметить Вериных сомнений и мук.

— Я знаю,— сказала она.— Я знаю, ты меня отцом будешь попрекать. Что он дядю Грашу... Что он такой... А потом бросишь. Но я сама его ненавижу. Из-за этого, из-за того, что он маму мучает, что у него эта, Золотая Рыбка. Все ведь знают. Мне стыдно.— И Вера опять завсхлипывала.— А ты все смеешься, тебе хоть бы хны.

То, что большая, спокойная, надежная Вера была беззащитной, как ребенок, вдруг наполнило Сереброва новой тревогой. У нее в душе одинокость и безысходность, а он, бесчувственный, бравирует и не замечает, что происходит с ней, как она терзается от нескладной своей жизни. И вся эта нескладность не из-за отца, а из-за него, Сереброва. Ведь он мучил ее. И наверное, все время, пока живут они здесь, на берегу, она боится, что не всерьез, а так, для игры, оказался он рядом с ней. И у него не хватило ни ума, ни сердца догадаться об этом, понять ее и успокоить. И, может быть, это у нее не первая бессонная ночь, полная обиженных мыслей, скрытых слез, которые не приносили облегчения.

Растроганно обнимая Веру, Серебров виновато повторял, что всегда, всю жизнь будет он с ней и никуда не денется, и все у них будет хорошо.

Вера жалко и беззащитно прижималась к нему, ища ласки и утешения, и Серебров, понимая, что должен как-то уверить ее в том, что у него все серьезно и навсегда, снова и снова целовал ее. Он не смог заснуть до тех пор, пока не услышал ее спокойного дыхания.

Наутро с безвестного бакенского поста Синяя Грива была отправлена телеграмма: «Женюсь замечательном человеке Верочке Огородовой. Целую Гарик». Телеграмма предназначалась родителям.

Вечером Василий Иванович связался с почтой. Оттуда прочитали ответную телеграмму: «Поздравляем женьитьбой, желаем счастья. Мама, папа». Серебров подал листок с телеграммой, записанной Очкиным, Вере и пошел разжигать костер, потому что свадьба, как и подобает такому торжеству, должна была пройти на славу. Жалко, что не было гитары. Василий Иванович ловил плохоньким приемником музыку, и Серебров танцевал с Верой в свете костра. Мамочкина говорила пожелания: чтоб и детей у них были полны лавки, и чтоб мир да любовь. Вера, тихая, боязливая, жалась к Сереброву. Ее удивляла эта неожиданная свадьба на берегу пустынной реки.

— В круг, в круг! В хоровод! — вострепнувшись, вдруг

закричала Мамочкина.— Какая свадьба без хоровода! А ну, Василий Иванович, поднимись! Ведь свадебный круг!

Схватив Веру и Василия Ивановича, она устроила-таки хоровод у костра. Неуклюже, степенно ходил уса-тый Очкин, прыгал Серебров, и пели они что-то старин-ное, хороводное. На этот странный свадебный круг гла-зели с проходящей по реке «гэтээмки» капитан с помощником и дивились тому, как развеселились нынче Очкины. А вроде степенные люди.

Когда Серебровы уезжали, кончилось длинное лето. После неожиданного сигнального инейка зажгла осень леса. Берега реки сплошь ало и оранжево полыхали. Протоптаные желобком тропинки были наполнены шо-рохом. Под свежим ветром неслись наперегонки к кром-ке берега похожие на перья жар-птицы листья. Это были легкие, как лепестки, листочки березы, тяжелое фигурное оперение дуба и разлапистое, как утиные сле-ды, кленовое. На линии обрыва листья взвивались вверх, видимо боясь сразу кинуться в охолодавшую воду. Неко-торые долго, обожженно крутились, прежде чем коснуть-ся ее.

Когда Серебровы грузились в сварной корабль бакен-щика, все дно бухточки было выстлано листьями, слов-но богатой монетной россыпью. Это на их свадьбу берег щедро бросал свою казну.

Прощались с ними Очкины, как родные. Анна Ива-новна нагрузила для них целый рюкзак синегривскими разносолами и вареньями. Наверное, Мамочкина все-таки была не просто начальником пристани, а по-досланной сюда волшебной феей, правда, изрядно со-старившейся, но не утратившей самых главных своих качеств — великодушия и доброты.

Железная посуда, оставив на берегу женщину с погасшей «беломориной» во рту, увезла их в райцентр, откуда самолетик Ан-2 за полчаса с небольшим доставил молодую чету в Бугрянск.

На свадебном семейном ужине у стариков Серебро-вых Вера через силу жалко улыбалась, словно была в чем-то виновата, а Нинель Владимировна и правда винила в душе эту незнакомую женщину за то, что все получилось не так, как мечталось ей, матери.

Говорили больше о неслыханной нынешней жаре, о том, что в их краю вечнозеленых помидоров вызрева-

ли они нынче на корню. Серебров-младший, чтоб разрядить обстановку, расхваливал синегривских Очкиных.

— Уважайте и любите друг друга,— растерянно повторял Станислав Владиславович, тоже застигнутый свадьбой врасплох.

УТРО ПОЗДНЕЙ ОСЕНИ

Серебров жил на два дома. Работал в Ложкарях, а ночевать ездил в Ильинское, каждый раз вопреки законам геометрии убеждаясь, что кривая объездная короче прямой ухабистой дороги. Он говорил теперь, что если есть ад, то он помещается между Ложкарями и Ильинским. Заведующий роно Зорин не отпускал Веру из Ильинской школы, ссылаясь на то, что в ложкарской десятилетке нет ставки литератора, а в Ильинском некого назначить завучем. Надо ждать до нового года. Серебров не донимал Зорина потому, что чуть ли не в воздухе носилось предощущение перемен. Арсений Васильевич Ольгин зазвал его к себе в кабинет и разоткровенничался: дескать, собираются у него забрать в область главного инженера Морозова, и вот тогда... Тогда, понял Серебров, нет никакого резона торопиться Вере с переездом в Ложкари, коль придется им стать крутенскими жителями.

В эту осень Серебров обнаружил у себя ухватливость закоренелого семьянина. Вера задерживалась в школе, поэтому хозяйничали они вдвоем с Танюшкой, тщеславно ожидая похвалы. Серебров даже отремонтировал погреб и ссыпал туда десяток мешков картошки. Он до тошноты изучил потребности семьи и закупал в Ложкарях и Крутенке крупы и консервы.

— Ты видишь, что я человек основательный,— хвалился он перед женой.— Вот еще мяса накопчу, Сергей Докучаев обещал научить.

— Страшно, ужасно хозяйственный,— с трудом отскребая со сковороды подгоревшую картошку, соглашалась Вера.

Сеттеру Валету стало веселее. От его лая, от Танюшкиного писка в доме было шумно. Дочка возилась с Валетом, теребила цепкими пальчиками его мягкую пегую шерсть или, повязывая пса платком, требовала непослушным язычком: «Сыпи, сыпи». Валет все это покорно сносил, но в глазах его видел Серебров один и тот же немой

упрек: вот, мол, до какой жизни ты меня довел — превратился я из заслуженной охотничьей собаки в игрушку, а разве для этого существуют сеттеры-лавераки?!

— Не сердись, не сердись,— трепля вислые уши Валета, просил Серебров.— Вот освобожусь — на охоту пойдем.

Если удавалось вернуться пораньше из Ложкарей, Серебров, натянув на Танюшку капюшончик, усаживал ее себе на плечи и нес на околицу. Здесь Валет с Танюшкой гоняли трехцветный мяч. Валет намеревался мяч укусить и укусил бы, но Серебров предупреждающе кричал:

— Фу!

— Фу,— повторяла Танюшка и грозила пальцем.

Потом, усталые, они сидели на вросшем в землю бревне и смотрели на лес, на дорогу, на озимь. Серебров без особой грусти постигал, что этой осенью прерывается связь с былой беззаботной молодой жизнью. Пришел ей конец. Женатый он человек. Но это не огорчало его.

Глядя на поле, убеждался он, что и правда озимь у Командирова, как ковер, о который вытирают ноги.

По Ильинскому. Серебров ходил, как ходит по провинции человек из столицы: во всем замечал безвольную, неумелую руку Панты Командирова. Сена ильинцы взять почти не сумели — завозили в тюках южную дорогую солому, а разлохмаченные кучи своей кудлатил ветер: не хватило времени ее прибрать. Надо же, как все безалаберно. «Ни скотины, ни кормины»,— как сказал бы Маркелов.

Несмотря ни на что, Пантя бодрого духа не терял. Встретив посреди разъезженной улицы инженера Сереброва, каждый раз предлагал переходить в его колхоз, чтобы не гонять так далеко машину. Серебров смотрел на плохо бритый, мягкий подбородок Панты и отвечал вроде в шутку, что не справиться ему в «Труде». А выходило, пожалуй, всерьез.

В центре Ильинского, близ старой церкви, находилось самое популярное здесь общественное место — давно пережившая свой век сельская лавка с высокими ступенями, на которых обсуждались все происходящие в селе события.

Посадив Танюшку на плечи, шел сюда и Серебров. Танюшка шлепала его по голове мягкими ладошками, и ему было приятно бродить с этой драгоценной милой ношей. Сидел на ступенях безногий чеботарь Севолод

Коркин. Он объяснял летние пожары тем, что газеты много писали статей «Пусть горит земля под ногами пьяниц». Вот она и загорелась. Сереброву надоел этот анекдот, но из вежливости он посмеялся.

С дальнего конца села иной раз раздавался голос самого нужного в Ильинском человека — Сереги Докучаева.

— Где этот бог? Почто он забыл про Ильинско? — орал Докучаев, бредя по развороченной тракторами улице.

— Чо те бог, сам не будь плох,— оживлялся безногий чеботарь Севолод Коркин, предчувствуя хороший разговор, и кашлял в кулак.

— Да пусть бы камень большой сбросил на Ильинско, а то ведь вовсе в грязи потонули,— опять орал Докучаев, слабо пожимая шершавой, как терка, пятерней руку Сереброва.

Был Серега и комбайнером, и трактористом, в свободные часы, вскинув на плечо бензопилу «Дружба», ходил кроить по селу кряжи. А вот нынче пострадал Докучаев из-за своей неосторожности. Случилась незадача: валом навозоразбрасывателя захватило у него полу телогрейки. Того гляди пойдет самого трепать. А выключить мотор некому. Серега уперся ручищами в станины. Адская сила у машины — тянет, но и он не ослаб. Потом обливался, а держался, хотя казалось: вот-вот откажут руки. Когда сам собой, не выдержав единоборства, заглох мотор, Серега сел на обочину полевой дороги и не смог достать папиросу. Тряпично обмякли руки. И теперь не прошла в них эта слабость.

Глаха, жена Докучаева, не успевала справляться с домашней стиркой из-за работы на ферме. И Серега не мог теперь обстирнуть детское бельишко. Каждый раз перед баней заходил он в лавку и будил словно впавшую от холода в спячку продавщицу Руфу.

— Есть комплекты, дорогуша?

— Ну,— говорила та, очнувшись.— Шесть?

— Шесть,— подтверждал Докучаев. Руфа завертывала в бумагу майки и трусишки.

— Садись-ко, крестник, ближе к пролетарьяту,— звал Докучаев Сереброва на лестницу. Так называл он Сереброва из-за того, что тот в давние студенческие годы работал с Верой у него на комбайне. Считал Серега, что от него зависело их знакомство.

Выбравшийся из магазина безногий чеботарь Севолод

лод Коркин, спрятав мятую сдачу за отвороты шапки, присоединился к разговору. Если он был навеселе, начинался невыносимый разговор.

— Дак вы уж, робята, уважьте меня. Умру, дак пономерной гроб сделайте, чтоб как с ногам,— просил Севолод. Обижало его то, что он — калека, и не хотелось ему калекой выглядегь после смерти.

— Да живи, Севолод, не шибко торопись туда,— говорил Докучаев поначалу спокойно.

— Не-е, если дак,— повторял Севолод, слезливо морща небритое лицо.

Слова его были обращены к Докучаеву, потому что не кто иной, как Серега Докучаев в печальных случаях прицеплял к трактору сани, заменявшие катафалк. По шероховатой, изорванной дороге он уже свозил на глухо заросшее елками кладбище немало своих односельчан. И вот теперь обращался к нему («в случае чего, дак») Коркин...

— Не болтай, Севолод, мать твою,— сердясь, обрывал он Коркина.— Мы что, фашисты какие,— и загибал сложный оборот речи. Севолод примолкал, мигая голыми веками.

Шел на ступеньках разговор о том, что сорвалась из Ильинского доярка Парася Соломенникова, и вряд ли удастся найти ей замену, потому что вывелись в колхозе молодые женщины. Наверное, опять группу коров придется делить между доярками. На что Докучаев, не удержавшись, снова загнул тот же оборот речи, потому что прибавлялись тяготы его Глахе.

Еще толковали мужики про то, что сбывается злая шутка Огородова, предлагавшего закрыть Ильинское, а поля засадить лесом, чтоб разводить волков. Теперь вовсе обнахалились серые — налетели вчера на жеребенка, так конюх Герман Соломин еле его отбил.

Этот разговор напоминал Сереброву вновь о том, что не успел он нынче попасть на озера-восьмеры за чернетью. Надо сходить хотя бы за боровой дичью. Облиняла осень, сквозил в изреженных лесах ветер, попахивало зазимком, а он не сделал ни одного выстрела, и тоскует сеттер-лаверак.

«Схожу, обязательно схожу»,— решил Серебров в канун заветного отгульного дня и с вечера приготовил в чулане ружье, патронгаш, белесую штормовку. Ни свет ни заря, тихонько свистнув Валета, спрыгнул он с крыльца на гулкую, стылую землю. В лужицах и копытных

следах белел крупкий, как сочешок, лед. Собака обрадованно заскулила, запрыгала, стараясь лизнуть хозяина в лицо.

— Ну, ну, Валет, не дури! — прикрикнул Серебров, скрывая за строгостью свою радость, и они двинулись напрямик в лес. Тропинки оглушительно шелестели затверделым, будто жесть, листом. Стерня на поле, прихваченная инеем, стеклянно потренькивала под ногами. Шорох листьев, хруст стерни заглушали остальные тихие звуки утра. Серебров остановился, поправил ружье, отпустил с поводка Валета, вдохнул ледяной, перехватывающий горло воздух. Не воздух, а родниковая вода. Сеттер восторженными кругами помчался, все шире и шире обегая хозяина. Вот уже своими кругами захватил он серебристую от инея озимь.

Когда появилась макушка запоздалого, похожего на диковинный апельсин, солнца, Серебров был в лесу. Солнце расцветило розовыми красками пашню, пожарно вспыхнуло на стеклах дальнего теперь села, в упор ударило по глазам. Он, подчиняясь этому слепящему свету, отшельной тишине, обрадованно затаился, предчувствуя чудесные неожиданности.

Тих был сумрачный ельник, прозрачен белый березовый карандашник, через который видел он и пашню, и село. Ушел отсюда летний шум листвы. Мелкие гостевые пичуги давно оставили эти места, а коренные обитатели, озабоченные приближением холодов, были деловиты и не шумливы.

Молодчина Валет! Он выгнал из хвойного густерика тяжелого тетерева-черныша, который с пугающим хлопаньем вдруг вылетел прямо на Сереброва. С отвычки Серебров едва успел вскинуть ружье. Раскатисто грохнул выстрел, и даже не поверилось, когда птица, потеряв линию полета, вдруг кувыркнулась в хвойную чащобу. Заполошно трепыхнувшись, она затихла там. Валет быстро нашел ее и, ожидая похвалы, преданно взглянул на хозяина. Умница он все-таки, и Серебров потрепал его, одобряя.

Часам к десяти Валет выгнал тетерку. Серебров сумел взять и ее. Усталый, повеселевший, шел он опушкой через седые кудри иван-чая: все-таки прекрасно, что он вырвался на охоту, что у него такая отличная собака, что он так удачливо стрелял.

Потеплело, и теперь под болоньевой курткой и штормовкой его разморило от ходьбы и тепла. Он пробрался

к знакомому ключику, который бил из-под валуна в посивевших зарослях лисохвоста и козлотородника. Ключик переходил в ручей, вечно и деловито сплетающий свои струи в прозрачный поясок. Над ним каплями косячиной крови рдели ягоды шиповника. Через ручей был брошен раскатистый мосток, где каждая жердина чувствовала себя вольно и стучала по-своему.

Ранним утром звенел гулкой иней, а теперь отпустило, и Серебров с облегчением сбросил штормовку, распахнул куртку. На штормовке он разложил наспех собранный завтрак — кусок вареного мяса, помидоры, хлеб, поел и бросил преданно глядевшему на него, дисциплинированному Валету мосол, а сам с мостика наклонился к воде. Когда дотянулся до обжигающей холодом губы ключевой струи, вдруг зашумело в ушах. Распрямылся. Шум не пропадал. Это был посторонний моторный рокот. Чей-то «уазик», переваливаясь по ухабистому проселку, пробирался сюда.

Серебров, торопливо собрав еду, направился к лесу. Догонит какой-нибудь дуралей и начнет мотать распросами душу. Машина остановилась поблизости.

— О-от Аович,— донеслось до Сереброва невнятное, и не столько по голосу, сколько по новому синему тенту «уазика», он догадался, что кричит маркеловский шофер Капитон. Зачем-то понадобился Серебров в отгульный день. Он ругнул мысленно свою беспутную судьбу и двинулся навстречу машине.

Налюбовавшись дичью, Капитон сказал, что приехал по распоряжению Маркелова: какая-то случилась незадача. Серебров досадливо подумал, что, наверно, опять Миней Козырев неправильно оформил накладные или заявки и придется ему их переоформлять, чтоб вовремя получить запчасти. А может, еще что стряслось. Серебров голову ломать не стал — все равно не догадаешься. Было досадно, что сдернул его Капитон с такого хорошего места. Надо было уйти поглубже в лес, но разве от Капитона скроешься?

Дома, сунув дичь в холодильник, Серебров написал Вере записку и закрыл дверь. Разочарованно проскулил, провожая его, Валет: так приятно начинался день, а теперь опять сиди в скучных сеньях. Даже маленькой Ташюшки нет. Слышно — топает ножками у соседки.

Капитон сообщил последнюю крутенскую сенсацию: Федя Труба завалил медведя пудов на шесть весом. Об

этом медведе они и толковали по дороге, пытаясь угадать то место, где устроил Труба свой лабаз.

Вдоль улицы у крутенского Дома Советов выстроились «газики», «Москвичи», «Жигули». Дремали в них шоферы, пока начальники, выражаясь обиходным языком, получали «припарки» или «стояли на ковре».

Заглядывая в двери кабинетов в поисках Маркелова, Серебров обошел все этажи, пока не наскочил на Ваню Долгова. Ваня Долгов ушел из комсомола в заворги райкома партии. Как и полагалось человеку в его теперешней должности, он был всегда озабочен, абсолютно все знал. Посолидневший, утративший былую хитрость, но по-прежнему белесый, Ваня обрадованно вцепился в Сереброва и потащил его к себе.

— Давай быстрее, давно тебя поджидаем.

— Зачем меня? — упираясь, удивился Серебров. — Мне Григория Федоровича.

— Э-э,— усмехнулся Долгов и, построжав, добавил: — К Виталию Михайловичу в кабинет, вот куда тебе надо.

«То, что носилось в воздухе, теперь материализуется,— подумал Серебров.— Выпросил, значит, меня Ольгин у Маркелова».

— Ты хоть скажи: плохое или не очень? — скрывая за безразличным тоном предчувствие радости, проговорил Серебров.

— Да куда-то думают тебя,— ответил уклончиво Долгов и подтолкнул Сереброва к дверям.

— Я знаю,— слышался за дверями раздумчивый, спокойный голос председателя «Нового пути» Александра Дмитриевича Чувашова,— если человек просится с работы, значит, не вмоготу, надо отпускать, уработался, шабаш, дальше толку не будет.

Когда Серебров шагнул в кабинет, сидящие за длинным столом члены бюро райкома партии примолкли и с интересом обернулись к нему. Только теперь Серебров спохватился, что он в неприличествующей месту одежде, и смахнул с головы шапку.

— Садись, садись, Гарольд Станиславович. Как охота? — выходя из-за стола, спросил Шитов. Взгляд ярких карих глаз теплый, доброжелательный.

Серебров понимал, что запев рассчитан на то, чтобы он получил возможность прийти в себя, осмотреться, а потом уж объявят все, что положено... Вон Ольгин сидит в сторонке, разглядывает носки своих ботинок, и

Маркелов рядом с ним. Они не члены бюро, их позвали решать судьбу Сереброва. Говорить на бюро, как он охотился, было вовсе ни к чему, но он, улыбнувшись, сказал, что взял косача и тетерку.

— Молодец,— похвалил Шитов.— А вот мы тут о тебе много говорили, пора тебе расти.

Серебров потупился. Что ж, он не прочь.

— Есть у нас мнение поставить тебя на колхоз, как, а? — проговорил Шитов и взглянул в глаза Сереброву. Тот начал растерянно терзать шапку. «Вот так раз, а почему не в Сельхозтехнику?» — и покосился на Ольгина. Тот отвел взгляд в сторону.

— Я слышал, ты с Ильинским породнился, женился на Вере Николаевне? Поздравляем тебя,— прохаживаясь по зеленой ковровой дорожке, проговорил Шитов.

С женитьбой обычно поздравляли Сереброва с ухмылочкой: вроде бы и надо поздравить, да какой-то брак странный. Вера всхлипывала, обижаясь на чьи-нибудь неосторожные слова, Серебров успокаивал ее: плюнь ты на этих баб, завидуют, что тебе достался такой хороший муж.

— Ой, зазнайка Серебров,— смахивая слезы, растягивала Вера слова и улыбалась.— Надо же, в кого ты такой хвастун?

Когда Виталий Михайлович сказал здесь, на бюро, что поздравляет Сереброва с женитьбой, начальник милиции Воробьев, нахмурив щетинистые рыжие брови, тоже что-то буркнул, и Чувашов сказал что-то, но некогда было Сереброву вслушиваться. Его охватил панический страх, он понял, в какой колхоз хотят его сосватать. Только не туда. Ах, как плохо, что он заранее не знал, зачем его вызывают! И Долгов не сказал, хорош приятель.

— Так вот,— садясь напротив Сереброва, сказал Шитов,— бывают, Гарольд Станиславович, такие моменты, когда надо решаться на большое и трудное дело. Из Ильинского переводим Командирова на другую работу, есть мнение — направить туда тебя. Человек ты молодой, расторопный, знающий. Там такой и нужен, кое-что подкинем на первых порах. Энергии много, вон как летом у тебя в Ложкарях кипело.

Перехваливал его Шитов.

— Теперь ты ильинский житель...— добавил Воробьев, вскинув взгляд на Сереброва.

— Да нет, мы в Ильинском не будем жить,— расте-

рянно проговорил Серебров.— Зимой переедем в Ложкари, там квартира хорошая.— Он не мог собраться с мыслями, бормотал жалкие слова, понимая, что это неубедительный детский лепет. Какое значение имеет то, что у него квартира в Ложкарях? В Ильинском могут найти ему целый пятистенки.

Серебров вдруг представил донельзя разъезженную адскую дорогу, взлохмаченные копны соломы на ильинских полях и торопливым паническим голосом проговорил:

— Нет, нет, я туда не пойду, там агроном нужен.

Шитов и совсем еще молодой, розовощекий второй секретарь Колчин, Ваня Долгов, Александр Дмитриевич Чувашов заулыбались, заговорили, что это отлично, раз известно Сереброву, на что надо будет обратить внимание. Урожай — главное.

Их было много, а он один. Они доказывали, что для председательской должности у Сереброва есть все данные, а он придумывал мотивы отказа. Напоминало это какую-то игру, в которой выигрывает тот, за кем оказывается последнее слово.

— Ты не скромничай,— остановившись напротив, проговорил Шитов и обратился к Маркелову: — Как, Григорий Федорович, есть у него разворотливость?

— Почти все поручения он выполнял хорошо,— облек в обтекаемую форму свой ответ Маркелов: не хотел топтать Сереброва похвалой и хулить не мог.

Когда Серебров сказал, что не только сам, но и жена против Ильинского, Шитов взял телефонную трубку и попросил срочно соединить его с Ильинской школой.

— Советуйся, Гарольд Станиславович,— любезно подал он трубку. Серебров растерянно услышал всполошенный Верин голос:

— Да откуда ты звонишь? Ты ведь ушел на охоту. Ой, да как это, Гарик! Не соглашайся! — но она тоже была растеряна и ничего не сумела ему подсказать.

Был такой момент, когда Серебров, лихорадочно перебирая доводы, умолк, не зная, что еще возразить.

— Дело в том, Гарольд Станиславович, что заявлений с просьбой избрать председателем колхоза пока не пишут, а мы знаем, что тебе эта должность по плечу,— напирал Шитов.— Кто за?

Когда члены бюро подняли руки за то, чтобы рекомендовать Сереброва председателем колхоза «Труд», он, растерянный, ошалелый, не слушая поздравлений и на-

путствий, вышел в приемную, забыв шапку. Он был ошарашен таким мгновенным поворотом судьбы.

Спустившись на второй этаж, он вдруг всем своим существом ощутил невозможность предстоящего. Он вспомнил навозные завалы около ферм, разметанную по полям солому, пьяных парней в клубе, все, что так не нравилось ему в Ильинском, и понял, что любым способом, пусть «по-нехорошему», с выговором, должен отказаться от председательства во что бы то ни стало. Он же там погибнет. Серебров рванулся обратно к кабинету первого секретаря. В приемной стоял Ваня Долгов, с его шапкой в руке. Не обращая внимания на Долгова, Серебров, решительный в своем отчаянии, стал на пороге.

— Виталий Михайлович, что хотите делайте, я не буду, ни за что,— выпалил он.

Начальник милиции Воробьев возмущенно качнул головой.

— Ну что, мы тут в игрушки собрались играть?

Серебров знал, что теперь начнутся упреки в незрелости, но он все равно будет стоять на своем.

— Веди бюро,— хмурясь, сказал Шитов Колчину и, обняв Сереброва за плечи, пошел с ним через приемную в противоположный кабинет.

— Кури,— Шитов протянул сигареты «Лайка». Серебров смотрел на тлеющий огонек, и ни о чем ему больше не хотелось говорить. Надо выдержать, устоять, не согласиться.

Шитов встал, подошел к окну, взглянул на рыжие луга, на голые черные деревья, отвесные белые-белые берега Радуницы.

— Давай, Гарольд Станиславович, как на духу—, произнес он.— Ты, наверное считаешь, что мы с бухты-барахты на тебе остановились? А представляешь, мы весь район перстрясли... Один серьезен, да не разворотлив, другой разворотлив, да обещать много любит, третий... Я знаю ведь прекрасно: если ты откажешься, то выиграешь. У тебя родители влиятельные, помогут переехать в Бугрянск, но учти, останется у тебя внутри на всю жизнь червь, который точит любого честного человека. Совестью он называется. Если память жирком не зарастет, станешь думать, что от настоящего дела увильнул, предоставил возможность расхлебывать все другим. Пусть копаются в своей земле. Так я говорю?

Шитов жал на сознательность и откровенность.

— Вы можете думать обо мне что угодно,— обижен-

но сказал Серебров.— Я лучше в тюрьму на год сяду, чем идти в «Труд».

— Это мне нравится,— смеясь глазами, воскликнул Шитов.— За что сядешь?

— Вот пойду и разобью в банке окно. Попытка ограбления.

— Я думал, ты человек серьезный,— протянул Шитов.— За это тебе десять суток от силы дадут. А за год ты в колхозе таких дел наворочаешь! Стоит ли садиться?

Сказав это, Шитов вышел. Серебров подошел к окну, остановил взгляд на отливающей металлом полоске реки. А вдруг это не самый опасный край обрыва, вдруг это лесенка, чтоб взглянуть шире и понять себя? «Ведь когда я замешал Маркелова и от зари до зари ездил по участкам колхоза, недосыпал, это все-таки были самые деятельные, приятные дни. Недосыпы тут же материализовались в стога скудного нынешнего сена. Тьфу ты, задал задачу Шитов. Нет, нельзя поддаваться, ни в коем случае нельзя».

Шитов вернулся, видно, наказав что-то Колчину.

— Сколько тебе, Гарольд Станиславович, годков? — сцепив пальцы рук, спросил он.

— Вы ведь знаете, двадцать семь,— ответил Серебров без охоты.

— Под тридцать, а все дитем себя считаешь. Это же ответственный возраст. Я вот в семнадцать на войну пошел, пулемет доверили. У нас командир полка был двадцати шести годков. Тысяча штыков. Техника. А главное — тысяча жизней. И не боялся. А Чувашов двадцатипятилетним на колхоз пришел.

— Не выйдет у меня,— с отчаянием проговорил Серебров, чувствуя, что все больше слова Шитова парализуют его решимость отказаться от председательства в «Труде».

— Брось паниковать,— кладя свою ладонь на его руку, проговорил Шитов.— Что — я не знаю тебя? Захочешь — выйдет.

Взгляд у него был веселый, бодрящий. Верил в него Шитов, да вот беда, Серебров в себя не верил.

— Ну, я же городской и не знаю тонкостей! — опять выкрикнул он, вскакивая со стула.

— Ну и что, что ты городской. Сколько у нас городских работает. Давай не паникуй, ты специалист сельского хозяйства.

Считая разговор оконченным, Шитов пожал ему руку, и Серебров вяло побрел вниз по лестнице.

— Если ничего не выйдет, я сразу приду и печать отдам! — крикнул он с площадки.

— Поживем — увидим, — откликнулся Шитов.

Серебров вернулся в Ложкари. У конторы расположились так и эдак поставленные мотоциклы. Механизаторы, сменившие свои пыльные, с вьезшимися намертво мазутными пятнами куртки на чистые, сидели на перилах крыльца, курили. Ваня Помазкин, слушая их, улыбаясь и выгибал из алюминиевой проволоки какую-то диковину. Еще никто не знал в Ложкарях о том, что Серебров переедет в Ильинское, и ему самому не верилось, что придется расстаться с привычными здешними делами. Вот и Ваня будет теперь чужим, и Маркелов. Эх, вот Ваню бы да Крахмалева в Ильинское.

Серебров походил по кабинету, загляделся в окно: на берегу Радуницы стая шумливых ворон и галок кружила над головой молодой дворняжки, лезшей к подбитой, не могущей подняться в воздух птице. Вначале собака вела себя с достоинством, отлаивалась, а потом, не зная, как избавиться от клювастых ворон, позорно, без оглядки, кинулась в людное место.

«Вдруг и я окажусь в таком положении?» — с тоской подумал Серебров. Он дождался Григория Федоровича, чтобы спросить, стоит ли пытаться, выйдет ли что у него. Маркелов вздохнул.

— Я ведь тебя отстаивал, не вышло, но ничего, во всяком случае, с земного шара не сбросят.

Полные мрачного оптимизма слова, вызывавшие раньше у Сереброва веселье, потому что они или не касались его, или относились к делам пустяковым, теперь его обидели. Видимо, Маркелов понял это и сказал теплевающим голосом:

— Жалко тебя, неплохо ведь жили, но ты не трусь. Хороший человек и в аду обживется. Работать-то ведь легко, надо только придумать, как сделать, чтоб коровы с голоду не орали, чтоб хлеб под снег не ушел, чтоб девки деревню не покидали, а так все просто.

Но и это были не те слова, которых ожидал Серебров. А существовали ли такие слова, которые бы помогли ему?

Серебров с неохотой, принуждая себя, отправился в Ильинское, так и не найдя успокоения и уверенности. Машина въезжала под тревожное низкое небо, затянутое

фиолетовыми тучами. Они не сулили ничего обнадеживающего. Глядя на неприбранные ильинские поля, Серебров думал, что в жизни теперь наступит невыносимо грустная полоса. Как выйти из нее? Как сделать, чтобы все было не шалей-валяй?

У ильинской конторы помахал ему шапкой Ефим Фомич Командиров. Серебров остановил машину.

— Зайди-ка, Гарольд Станиславович,— прошептал тот таинственно. Серебров нехотя выбрался из «газика», двинулся вслед за Пантей в пропахшую застарелой табачной вонью контору.

Командиров распахнул перед Серебровым бутафорскую дверь закутка, считавшегося председательским кабинетом, снял шляпу, аккуратно причесал скудную растительность на темени и, приблизившись вплотную, проговорил предостерегающим шепотом:

— Ходят слухи, что тебя сюда запрут. По-хорошему ли, по-плохому ли, не соглашайся. Загинешь, панте. Люди здесь такие: горек будешь — выплюнут, сладок — проглотят.

Лицо у Ефима Фомича было сочувствующее и испуганное.

— Пресненьким надо, что ли, быть? Ни рыба ни мясо? — усмехнулся Серебров.

— А ты брось насмешничать-то. Правду, панте, собьешь холку. Я ведь девять годков отбухал. Кабы не гождь вовсе был, не держали бы. Один Докучаев чего стоит, сколько крови мне испортил. Гость да гость. Хулиганство ведь форменное. Я говорю: не нравится, так уезжай. А он: не-ет, почто я из своих мест поеду?

— Поздно, поздно, Ефим Фомич,— проговорил, вздохнув, Серебров.— Ты мне лучше расскажи, с чего надо начинать.

Ефим Фомич посмотрел на Сереброва так, словно тот приговорен был к страшному наказанию, и заговорил шепотом, в котором уже не было страха, но было сочувствие:

— Эх, молодо-зелено. Жалко, панте, тебя. По-отцовски тебе говорю: запутаешься. Ревни, да не ходи.

— Ну а ты скажи, Ефим Фомич, почему «Победа» поднялась, а твой «Труд» не поднялся? — гнул свое Серебров, но Ефиму Фомичу не хотелось показывать себя неумехой.

— Ты не думай, я ведь рьяно за все брался, все, пан-

те, подхватывал. Доильная установка «Елочка» у нас первая была в районе. И обо мне писали в газете.

— Ну а как Маркелов сумел выскочить? — не успокаиваясь, пытал Пантю Серебров.— Как Чувашов? Сухих вон гремит...

Командиров махнул обиженно рукой, скривился.

— Хапуга твой Маркелов,— и, пересев ближе к Сереброву, прошептал: — Он ведь всех ободрал, всех купил. Везде у него свояки, он что хочешь добудет, что хочешь постройт. А я, панте,— ударил себя кулаком в грудь Ефим Фомич,— ни копейки колхозной не пропил, безотчетно не истратил.

Это считал Ефим Фомич высшим своим достоинством. А Маркелов не боялся тратить копейку там, где можно было взять рубль.

— Ну, ладно, спасибо за беседу, как говорят корреспонденты,— натягивая на голову шапку, сказал Серебров.

Однако Ефиму Фомичу расставаться с ним не хотелось.

— Погоди,— торопливо сказал он и начал рыться в ящиках вытертого стола.— Куда я ее дел? Куда?

Наконец Ефим Фомич протянул Сереброву какую-то бумагу, напечатанную на расхлябанной машинке с прыгающими буквами. Серебров прочел лихую размашистую резолюцию на уголке бумаги: «Вы бы еще попросили каменный топор»,— и его щеки обожгло стыдом. Это ведь с его подсказки Генка Рякин закатил такой ответ на просьбу колхоза «Труд» выделить три конные сенокосилки. Теперь-то Серебров знал, что в этих лесных местах без конных сенокосилок не возьмешь траву. А вот они с Генкой, два острослова, для которых все тогда было трын-травой, написали такой ответ.

— И так, панте, бывало,— назидательно сказал Командиров пристыженному преемнику.

— А ты злопамятен, Ефим Фомич,— тряхнул головой Серебров.

— Нет, не злопамятный я. Не только ведь от Рякина и от Ольгина я такие бумаги получаю.

— Тогда спасибо,— сказал Серебров, берясь за ручку двери. Запоздалая исповедь Ефима Фомича затронула его. «Неужели и со мной случится такое? Неужели и я потеряю уверенность, махну на все рукой?» Он опять ощутил всю безвыходность своего положения.

Серебров медленно поехал домой. Бусил еле замет-

ный, крапом оседавший на ветровом стекле дождик. По затравеневшей боковой улице, вихляя, кто-то гонял красный, пожарного цвета «Москвич». Когда машина поравнялась с «газиком», Серебров узнал за рулем Валерия Карповича. Помазок переживал пик своего счастья, объезжая вымечтанную легковушку. «Теперь уж не будет говорить, что у него нет бабушки-миллионерши», — подумал Серебров и, угодив колесом в выбоину, чиркнул грязью на Помазкову обнору. Выскочив из «Москвича», Валерий Карпович обиженно стер ветошкой брызги. Серебров повернул «газик» к лесу. Хотелось побыть одному, но как-то неприкаянно почувствовал он теперь себя в сквозном, неприятном березнике. Уже в темноте подъехал он к дому, долго обтирал о траву сапоги.

— Ну, чего ты там? — спросила из сеней Вера.

— Ну, ты се та? — повторила попугайчиком Танюшка.

— Да вот так, — печально вороша Валетову шерсть, откликнулся Серебров и переступил порог. — Будешь председательшей, Вера Николаевна.

— Согласился? — всплеснула она руками.

— Согласился.

Вера обняла его, заглянула в глаза.

— Ну, не огорчайся так. У тебя все получится. Я знаю, ты у меня очень умный, энергичный, сильный.

Но Серебров не был в этом уверен. Он удивлялся теперь своей летней прыти. Откуда она у него взялась? Эта прыть и обманула Шитова. На самом деле он вовсе не такой. Он рохля, он не знает, как ему быть.

— Двенадцать тысяч гектаров угодий, шесть тысяч пашни, двадцать две деревни и всего восемьдесят два трудоспособных, — обреченно сказал он и налил водки. — Господи, спаси и помилуй. Ну, дай, Верочка, чего-нибудь пожрать, что ли.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСКИЕ ДНИ И НОЧИ

В клуб они пришли с Виталием Михайловичем Шитовым и секретарем парторганизации Семеном Евстигнеевичем Сметаниным, который был здесь и председатель сельсовета. Этого улыбчивого молодого человека все звали в Ильинском попросту Сеней, и Сенино слово было, наверное, не очень авторитетным, потому что в клубе, кроме мальчишек, гонявших размочаленными киями бильярдные шары, никого не оказалось.

— У нас так. Пока по дому все не изладят, не придут,— объяснял виновато и беспомощно Сеня и теребил себя за ухо. Серебров курил сигарету за сигаретой и криво усмехался.

Заглянули снова в контору, где возился с бумагами повеселевший Ефим Фомич. Получалось так, что, бесславно отбыв свой председательский срок, шел он на повышение — зав. коммунхозом. Наверное, и не ожидал такого счастья.

— Выходит, опять идет Пантя в начальники,— кривась, проговорил на крыльце Серебров.

— А что, по-твоему, выбросить его, и все? — спросил Шитов.

— Он же все тут завалил,— несогласливо сказал Серебров.— На пушечный выстрел допускать нельзя к руководящей работе...

— Ты ведь знаешь, что днем с огнем ищем председателей и директоров. Поработал он немало, вышиби его с треском — знаешь, какая реакция будет? Вот такое, мол, будущее и нас ждет. Да и по-человечески...

Он не договорил, и Серебров не стал продолжать этот разговор. Может, и прав Шитов. Бог с ним, с Пантей. Ему-то, Сереброву, как жить?

Когда они вновь пришли в клуб, Сеня Сметанин уговаривал мужиков заканчивать курение и идти в зал. Народу было по-прежнему мало: не интересовала ильинцев даже новая колхозная власть.

Когда после беззаботного отчета Панти настал черед выступать с тронной речью Сереброву, он тоскливо подумал, что говорить ему, по сути дела, не о чем.

— Хочу,— сказал Серебров,— чтоб никому лет через пять не захотелось уезжать из Ильинского, чтоб Валерий Карпович, к примеру, изъявил желание работать в новом Доме культуры, девчата наперебой шли на молочный комплекс и чтоб ильинцы не стыдились называть себя ильинцами. И теперь не стесняйтесь: везде говорите, что вы ильинские, из колхоза «Труд»,— проговорил он.

Это вызвало ухмылки и невеселый смешок. Помазок скривил большегубый рот: не верил, что будет здесь такой Дом культуры, в который он попросится из школы. Да и другие вряд ли в это верили.

— Что он, городской-то, сделает? Не было хозяев, и это не хозяин, а гость! — крикнул притулившийся около дверей Сергей Докучаев.— С кем работать-то? Осталось два Ивана для выполнения плана.

— Почему два Ивана? — недоуменно вскинул голову Шитов.

— А потому, что дураки, уехать не сумели, — откликнулся под тот же невеселый смех Докучаев и поднялся было что-то еще сказать, но разочарованно махнул рукой: — Чо зря колоколить.

Еще в «газике» колхоза «Победа» Серебров проводил Шитова до поворотки.

— Самое трудное хозяйство тебе досталось, — почувствовал Шитов, глядя на мечущийся по размоинам свет фар. — Сразу всего не перевернешь. Терпения наберись: сегодня — одно хорошее дело, завтра — другое, маленький, воробыный скок, да вперед. Вот правильно решил скважину прежде всего пробурить.

Сереброву казалось, что терпеливым быть ему как раз не надо. Тогда опять, как при Панте, пойдут дела. Остервенело крутя баранку машины, чтоб выбраться из самой разьеженной хляби на тракт, он крикнул:

— Видите, какая дорожка? По такой ни вывезешь, ни привезешь, а народ удерет. Если дорогу не поможете сделать, через три месяца принесу вам колхозную печать.

Шитов на этот раз не ответил на задиристую угрозу. Вот надежная твердь тракта. Прежде чем пересечь в свою машину, Виталий Михайлович взял Сереброва за локоть.

— Выступал я в одной дотошной интеллигентной аудитории. Спрашивают: силен у председателей элемент карьеризма? Я ответил, что в наших нечерноземных местах никто к председательской власти не рвется — знают, что можно грыжу нажать. Чтобы результаты своих стараний увидеть, надо лет десять, а то и пятнадцать протрубить, так что настраивайся, Гарольд Станиславович, а насчет дороги ты прав: дорога — это надежда, дорога — это стиль работы, в конце концов, это забота об экономике, социальном развитии. Я вообще считаю, что Нечерноземье надо поднимать с дорог. Будем делать дорогу.

— Ловлю на слове, — потеплев к Шитову, проговорил Серебров и повел свою машину в непроезжую хлябь. Шитовский шофер прощально посветил ему на самом ухабистом месте. «Первая помощь», — усмехнулся Серебров.

Наверное, ему было бы куда легче, если бы секретарил

в колхозе надежный человек вроде Федора Прокловича Крахмалева. Щуплый Сеня Сметанин, которого прозвал Серебров из-за фамилии Молочным Братом, по молодости лет и по мягкости характера не мог быть прочной опорой. И здешняя агрономша, бровастая, тихая Агния Абрамовна, оказалась очень неуверенной в себе. Плохая на них надежда.

Когда ранним мутным утром председатель появлялся в конторе, село еще досматривало сновидения. А в это утро, едва он шагнул в боковушку, затрезвонил телефон. С железнодорожной станции спрашивали, видно, для отвода глаз, будет ли колхоз «Труд» вывозить нитрофоску, а то «Победа» послала автомашины. Маркелов договорился в райсельхозуправлении, чтоб удобрения отдали ему.

— Буду, и обязательно! — наливаясь злостью, крикнул Серебров. Опять не хотели признавать «Труд» за серьезное, уважаемое хозяйство, способное расплатиться за удобрения и вывезти их.

Надо было вывозить нитрофоску, а на ходу имелось всего два грузовика, да и те ушли на мясокомбинат. Шоферов этих двух грузовиков он сумеет предупредить, чтоб ехали после мясокомбината за минералкой, а где еще взять машины? Серебров съездил за кассиршей, привез ее в контору и потребовал денег. Когда он, засовывая на ходу в карман пачку пятерок, покидал контору, закутанная в шаль кассирша простионала:

— Посадят ведь вас, Гарольд Станиславович. Как отчитываться-то станете?

— Вместе веселей сидеть,— прежде чем захлопнуть дверь, отрезал Серебров.

Пушистый утренник выбелил деревья, нанизал на ветки и провода искристый ледяной мех. Комбайны на машинном дворе стояли матовые от изморози. Председательский «газик» выскочил на колдобистую дорогу. Мелькали побеленные снегом деревеньки Ошары, Отрясы, Теребиловы, напоминая о давней поре, когда небезопасно было мужику выбираться в извоз без кистеня или цапа. И вот, уподобляясь не смиренным мужикам, а разбойным предкам, Серебров, злой, деятельный, встал с поднятой рукой на выезде из Крутенки и начал останавливать порожние автомашины. Первым попался толстощекий Тыква. Понятливый этот толстячок, получив аванс, повернул к складам. Выезжая из райцентра следом за леваками, везшими нитрофоску для его колхоза,

Серебров радовался: «А ведь могли отдать наши крохи Маркелову».

У пересзда остановил их предупреждающе помигивающий круглыми соевыми глазами светофор. Расхлябанный командировский «газик» Сереброва угодил между тремя новехонькими оранжевыми тракторами К-700.

«Эх, красавцы! Мне бы пару таких, ну, хотя бы один. Удобрения возить, дорогу пробивать»,— с завистью подумал Серебров, пока по механизаторам, сидящим в кабинах, не понял, что идут эти машины в «Победу», что опять удалось Григорию Федоровичу выплакать желанные «Кировцы». Это всколыхнуло у Сереброва в душе низменнейшие чувства: злобу, обиду, обделенность.

— Тут три, а нам ни одного,— крикнул он себе, вывертывая машину из очереди, и погнал обратно в Крутенку. Расхлестанный «газик» со скрежетом остановился у объединения Сельхозтехника, и Серебров ворвался к Ольгину.

— Почему опять Маркелов? — начал он, задыхаясь от злости. Ольгин виновато покопал пальцем в кудлатой, похожей на грачиное гнездо шевелюре, развел беспомощно руками.

— Это по особому распоряжению областной Сельхозтехники, именником, прямо ему. Я тут ни при чем.

— По особому распоряжению, именником,— передразнил Серебров.— А мне вы можете именником?

— Ну, что тебе объяснять, Маркелов без нас дело обтяпал! — наливаясь кровью, крикнул Ольгин. Ему было все понятно, а Сереброву нет.

— За вашей спиной творят что хотят, а вы уши развесили,— трудно проговорил Серебров, ударяя ладонью по спинке кресла.

— Ну, имей совесть,— замыкаясь в себе, обиделся Ольгин.— Так себя ведешь...

— Какая у меня может быть совесть, если ничего не даете?! — крикнул Серебров.— Да мне не кричать, а драться хочется. Ведь обещали...

— Обещали,— эхом повторил Ольгин, почесывая щеку.— А пока нет.

Серебров, хлопнув дверью, выскочил из кабинета управляющего, погнал машину к райкому партии. Его повергли в ярость равнодушие и вялость Ольгина. И Шитовым, который попался навстречу около Дома Советов,

он оказался недоволен. В ярких глазах секретаря при виде Сереброва возникла выжидательная усмешка.

— Что же творится у нас? — проговорил с возмущением Серебров.— В «Победу» направляют еще три «Кировца», а я остаюсь на бобах, хотя и вы, и райисполком мне обещали золотые горы, когда ставили на колхоз. Неужели вы не можете их отобрать у «Победы»? — возмутился Серебров. Шитов пожал плечами.

— Как же я их отберу? Они куплены. Разбираться будем.

Серебров вспыхнул, обиженно глядя в глаза Шитова, спросил:

— Но почему благодетели занимаются своей благотворительностью за счет района? — Потом, понимая, что и этот разговор бесполезен, махнул рукой.

— Может, сам договоришься с Маркеловым, одну машину даст? Ты все-таки его посланец. Я ему позвоню,— пытаюсь успокоить Сереброва, проговорил Шитов. Серебров возмутило, что тот так спокойно относится к этому разбою, но сдержался, поехал в Ложкари.

В широком светлом кабинете Григория Федоровича было тихо. Маруся Пахомова ушла на обед. Маркелов нацепил на нос очки, которые делали его лицо необыкновенно значительным. На старых, с медными уголками счетах с прищелкиванием вычислял он что-то оптимистичное. Об этом оптимистичном рассказал он по телефону районному газетчику, спрятав в огромной пятерке трубку.

Завидев гостя, Григорий Федорович поспешил закончить разговор, вышел из-за стола навстречу, пустил, чтобы заполнить паузу, беззлобный анекдотец. Сереброву хотелось узнать, разговаривал ли с Григорием Федоровичем Шитов, однако по беззаботному лицу Маркелова догадаться об этом было невозможно.

— Может, Григорий Федорович, столкнемся насчет одного «Кировца»? — пошел Серебров напролом, глядя в глаза Маркелова. Эти слова Григорий Федорович воспринял как развеселую шутку. Улыбка на рябом лице его стала еще шире и добродушнее.— Нет, серьезно, нам лес возить, дорогу поддерживать,— чувствуя, как предательски начинает вздрагивать голос, проговорил Серебров.— Вам возместят...

Унизительным был этот разговор!

Маркелов хитровато взглянул на Сереброва:

— Одна только сваха за чужую душу божится, а баб-

ка надвое сказала, Гарольд Станиславович. Возместят ли — вопрос. У меня тоже не без дела трактора-то будут. Все-таки пятую часть районного молока даем.

Маркелова разжалобить было не просто.

— Вам ведь Виталий Михайлович звонил насчет одного «Кировца», — не то спросил, не то утвердительно сказал Серебров, разглядывая свои пальцы. Потом вскинул взгляд на Маркелова и наткнулся на холодную усмешку.

— Напугал Настю большой снастью, — скучающе проговорил Григорий Федорович, поигрывая чечевичами счетов. — Я ему сказал го же самое. Я для района делаю план и поднимаю моральный дух райкома. Кто дает, тому и помощь.

Камешки сыпались в серебрянский огород. У него заиграли на скулах розовые желваки: наивный он человек, надумал уговорить Григория Федоровича, а тот расчетливо, с наслаждением знай чистит его по щекам.

— Я вот сам-то с соломенных крыш начинал, а не плакался, не жаловался, к соседям с протянутой рукой не ходил, гордость имел, — поучающе проговорил Маркелов. От этих слов бледность покрыла лицо Сереброва. «Зачем он издевается?» — беспомощно пронеслось в голове, а потом опять вскипела злость, и он, вставая, вежливо спросил Григория Федоровича, не помнит ли тот, как раньше называли в деревне мужиков, которые прибирали к рукам покосы, пахотные земли и скотину, за счет бедности других наживались.

— Ну, ну, — с угрозой проговорил Маркелов, тоже вставая. Такого он даже от Сереброва не ожидал, но сдержался, хохотнул почти добродушно:

— Наивный ты человек, Гарольд Станиславович. Закон хозяйствования в чем заключается? Средства вкладывать туда, где есть отдача.

Серебров уже не мог себя сдерживать.

— Не по отдаче вы получили, а по подачке, у других изо рта вырвали, мироеды этим отличались.

Благодушие слетело с широкого лица Маркелова, глаза стали колючими и злыми.

— Страшные слова ты говоришь, Гарольд Станиславович, да только знай, что волк собаки не боится, а вот лишнего звягу не любит.

Разговор стал походить на перепалку, но Серебров не хотел смягчать свои слова.

— А ведь хорошая собака, Григорий Федорович, ста-

рого волка берет,— сказал он как бы для уточнения. От лица Маркелова отлила кровь, на носу обозначились оспины. Видно, обдумывал Маркелов, как позанозистее уесть Сереброва.

— Мой тебе совет, Гарольд Станиславович,— сказал он, покручивая за дужку очки,— вертись сам. Я верчусь, тебе не мешаю, и ты вертись. А если приспичит, так не на басах веди разговор, а с добрым словом заходи.

Они стояли друг против друга: огромный несокрушимый Маркелов и тонкий, складный Гарольд Серебров, казавшийся хрупким в сравнении с председателем «Победы».

— А я так вертеться не хочу,— со злостью глядя на Маркелова, выдавил из себя Серебров.— Мне честно многое причитается.

— Ну, ну,— с сомнением проговорил Маркелов.— Хорошо, что не унываешь. И не унывай, во всяком случае, с земного шара не сбросят.

Серебров ухмыльнулся: ох, мол, стареют твои шутки, Григорий Федорович.

Чтоб сбить злость и успокоиться, Серебров по дороге в Ильинское свернул на просеку лесного квартала и по неглубокому первому снегу проехал туда, где выделил лесхоз «Труду» делянку для рубки. На просеке было тихо. Припорошенные первой вьюгой елки уже смотрелись по-зимнему, и о многом рассказывали первые следы: размашистой стежкой пробежал волк, одинаковыми листочками лесной кислицы нарисовал свой путь к березняку заяц-беляк, накрошила под елью шелухи от шишек белка. Сереброва умилили и эти следы, и нетронутая белизна снегов, горностаевая роскошь инея, но он вновь пришел в неистовство, когда с обидой понял, что не добротный строевой лес, а березовый карандашик определен его колхозу. Померкла лесная красота. С громом захлопнув дверцу машины, выбрался он из леса.

В конторе, не раздеваясь, начал трезвонить к Никифору Ильичу Суровцеву, по привычке отписавшему «Труду» такую никудышную делянку.

— Так разве лес теперь! Все ведь вырублено,— вздыхал и плакался Никифор Ильич по телефону.

— Я ваши фокусы знаю,— резал Серебров и, не желая вникать в оправдания Суровцева, крикнул: — Если не перемените делянку, пойду к прокурору, напишу в управление лесного хозяйства, всех подниму.

— Сразу и к прокурору, сразу и...— бормотал трусливый Никифор Ильич.— Проверю я, проверю.

Наверное, жизнь продолжала идти своим неспешным шагом, а Сереброву казалось, что она летит на высокой, рискованной скорости. Те, кто стопорил и гасил эту скорость, вызывали у него злобу. Вечером, не считаясь с самолюбием молоденькой агрономши Агнии Абрамовны, ругал ее Серебров за то, что не позаботилась она освободить для нитрофоски склад и пришлось с таким трудом вывезенные удобрения сыпать прямо в снег. В глубине души ему было жалко эту растерянную, наивную девицу в дешевом рябеньком пальтеце, испуганно теребившую заштопанные рукавички. Она все еще не могла выбраться из ученичества, а он, стуча ребром ладони по столу, безжалостно резал:

— Чтоб завтра удобрения были под крышей!

— Я заявление подам,— откликнулась агрономша, вытирая голубой детской рукавичкой глаза.

— Пока не подали, выполняйте. Вы хоть что-нибудь сделайте, а то ведь я напишу, что вы увольняетесь за бездеятельность,— грозил он.

Серебров знал одно: эта испуганная девочка в сравнении с Федором Прокловичем — слепой котенок, а он должен требовать от нее то, что делает Крахмалев.

— Возьмите почвенную карту, съездите в «Победу» к Федору Прокловичу, расспросите все толком, а то ведь вы даже не знаете, где и что будете размещать,— жестко поучал он юную агрономшу. Агния Абрамовна, обиженно швыряя носом, прикрыла фанерную легкую дверь.

— А потом поедете в зональный институт за семенами! — кричал вдогонку Серебров.— Спокойной жизни не будет! Я куплю вам сапоги и о работе буду судить по каблукам. Пять центнеров урожай, так надо бегать по полям и зсмлей заниматься, чтоб хоть семь-то получить.

Он понимал, что не прав, что ругает агрономшу не за ее промашки, а за давние Пантины грехи. Но что делаешь, если и самому приходится теперь расплачиваться за чужое головоотянство?

Заглянул Виталий Михайлович Шитов. После поездки по участкам колхоза, уже в конторе, неожиданно спросил Сереброва:

— Ты знаешь, какие положительные качества были у Ефима Фомича?

— На работу раньше всех приходил,— съязвил Сере-

бров, поламывая пальцы.— Я тоже раньше всех прихожу.

— Нет, ты брось это. Он чем был хорош: не оскорблял никого.

— И вы хотите, чтобы я лебезил перед всеми, как Пантя? В Ильинском люди махнули рукой на самих себя, контора зачуханная, на участках начальных школ нет, себестоимость молока такая, что его дешевле на землю вылить, чем вывозить. Мне денег не дают, материалы задерживают, а я что должен говорить: спасибо, мне не к спеху, я подожду? В грязи живем, без дороги,— потерпим. А я терпеть не хочу. Я опаздываю! Мне трактора нужны, удобрения, дорога. Если не построим дорогу, через два года она будет не нужна, люди уедут. Вот я и ругаюсь. Я тороплюсь.— Серебров обиженно отвернулся к окну. Непонятен был ему душеспасительный разговор о Панте Командирове.

— Но, послушай,— пересаживаясь ближе к Сереброву, проговорил Шитов.— Может случиться так, что ты много построишь: школу, контору, Дом культуры, газ проведешь, а добрым словом все равно будут вспоминать не тебя, а Командирова, который просто сидел и всем вежливо говорил: «Здравствуйте», «Обождите».

Серебров гмыкнул, вскочил с места, выхватил сигарету из пачки. Шарадами занялся Виталий Михайлович.

— А я не собираюсь уходить, пока обо мне не изменят мнение,— задиристго крикнул он, закуривая.

— Что ж, похвально. Но ведь с помощью грубости долго не усидишь. Тебе, наверное, кажется, что грубость, резкость, задиристость — это признак силы? А ведь грубость никогда силой не была, хотя говорят, что сила ломит. Грубость, Гарольд Станиславович,— это слабость, отчаяние. Понимаешь? Что ты демонстрируешь, когда кричишь, мечешься? Да слабость. Толку-то мало!

Что-то было важное в словах Шитова. Серебров притих.

— Вот ты на Докучаева обижаешься за то, что он и тебя, как Командирова, не признает. Прав он. Для людей делаешь — средства в работе применяй людские.

— Значит, я не гожусь? — с обидой спросил Серебров, стряхивая пепел в полулитровую банку, уже наполненную окурками.

— Я этого не сказал,— уклонился Шитов.— Сам думай.

Серебров был убежден, что неумоимость, упорство,

требовательность помогут ему преодолеть равнодушные людей, построить контору, Дом культуры, добиться сносных урожаев, сделать все, что не сумели сделать до него. А теперь вот Шитов, которому летом нравились энергия и пробойность, говорит вовсе другое.

Шитов уехал. Его слова занозой сидели в памяти Сереброва, но злость и обида не проходили. Наверное, они и толкнули его, по мнению людей дальновидных, на необдуманный поступок.

На этот день намечалось собрание районного актива.

В Крутенском Доме Советов с утра было торжественно и празднично. Съезжались принаряженные председатели колхозов, директора школ, микроскопических крутенских промышленных предприятий — маслозавода и промкомбината.

Свой человек, Маркелов в фойе дружески хлопал по могучей спине Огородова. Тот хохотал, показывая широкие бровные зубы. Веселясь, Маркелов нет-нет да и косил глазом на стоявшего в отдалении высокого, сухощавого человека — первого секретаря Бугрянского обкома партии Кирилла Евсеевича Клестова.

— Подойди к нему, — подтолкнул Григория Федоровича Огородов. — Нынче ты вон как дал! Не хуже, чем Сухих.

— Подальше от царей — голова целей, — с притворной скромностью откликнулся Маркелов.

Кирилл Евсеевич Клестов был популярен в районах. Грубоватый, но доступный, он председателей колхозов и директоров в обиду не давал. Между собой они называли его просто Кириллом. Почти каждый припоминал шуточку или бывальщину, которой встретил его или проводил Клестов. На разносы его не обижались. Маркелова однажды Клестов в пух и прах разругал за бездействующие «авэемы», но потом, когда колхоз вышел по урожаю зерна в десяток лучших по области, ободряюще намекнул:

— Если пятилетку закончишь так, не исключена возможность, что станет тесно на лацканах твоего пиджака.

Закинув руки за спину, стоял Кирилл Евсеевич с Шитовым, улыбаясь, хотя и недолюбливал Виталия Михайловича. Представлялся ему этот секретарь очень уж прямолинейным, негибким да еще обидчивым. Из-за диссертации полез на рожон. Нынче слушали Крутенский райком партии, критиковали за низкую товарность молока. Так этот Шитов все объяснил плохими дорогами.

Будут дороги — будет больше молока. А когда дороги хорошими станут, коль не доходят до них руки? С людьми надо больше работать, тогда все будет.

А теперь вот толковал Шитов о том, что уборочные машины слабо приспособлены для севера.

— Знаешь, плохому танцору всегда что-то мешает, — оборвал Клестов Шитова. — Не нам это решать, — и, найдя глазами Маркелова, поманил его к себе.

Маркелов сначала не понял, его ли зовет Клестов, а когда понял, заволновался и скованно, стараясь не хромать и от этого хромя еще сильнее, приблизился к Кириллу Евсеевичу, склонил голову.

— Молодец, — похвалил его Клестов, пожимая руку. — Я слышал, ты по восемнадцати на круг взял? Для такого сухого лета это вровень с тридцатью.

— Да наши земли могут давать не меньше, чем кубанские, — с шапкозакидательским восторгом проговорил, пунцовая, Маркелов.

— Молодец, — опять похвалил Клестов. — А вот кой у кого ссылки на то, что плохие дороги, на технику, — и взглянул на Шитова.

Догадываясь, в чей огород закидывает камешек секретарь обкома партии, Григорий Федорович сделал вид, что не понял этого.

— А мы сами дороги прокладываем. Гравий нашли, — скромненько сказал он.

— Ну вот, — проговорил Клестов, довольный, что сама жизнь в лице Маркелова подтвердила его мысли.

— Ложкари на тракту, — не согласился Шитов.

Клестову с Маркеловым было легче, чем с Шитовым. Он не отпустил его от себя. Кладя руку на плечо Григория Федоровича, сказал, что надо тому сегодня выступить.

— Задай тон. С оптимизмом, а то...

— Можно будет, — согласился Маркелов, радуясь, что заранее подготовил такое выступление и что ему есть о чем сказать. — Мы думаем в следующем году по тридцать центнеров получить на круг, — проговорил он, хотя Крахмалев вряд ли одобрил бы такое его обещание.

— Во-во, — подбодрил Клестов Маркелова.

Стоя в стороне у окна, Серебров пытался сосредоточиться перед выступлением. И вовсе некстати к нему в закуток развалистой походкой направился Огородов, великодушный, широкий, протянул руку зятю.

— Ну, хватит дуться-то, — примирительно, прощающе

сказал он.— Чего народ-то смешить? Приезжайте с Верочкой в воскресенье, пельмени сгоношим.

Серебров нехотя пожал руку тестя, взглянул в его глаза. В глубине огородовских глаз переливался целый спектр чувств: затаенная обида и всепрощающая доброта, лебезливая уступчивость и ненависть. Не было в его взгляде только искренности и правды, а их-то, наверное, старательнее всего и пытался изобразить тот.

— Не приедем, некогда,— хмуро сказал Серебров.— А вот в банк приду, куда я денусь. Ругаться приду.

Звонок избавил Николая Филипповича от неприятной паузы, когда ему уже нечего было сказать.

— Ну, садиться пора,— пробормотал он и отошел от Сереброва.

Это было довольно обычное собрание с докладом о том, как крутенцы работали в прошлом году. Пока еще под снегом нива и неизвестно, каким будет новое лето, можно потолковать о промашках, допущенных из-за проклятушей жары или мокряди.

Виталий Михайлович Шитов, принаряженный, с молодящим его хохолком волос над высоким лбом, легко возник на трибуне. Он был настроен благодушно. В последние годы Крутенский район начал выбираться из числа провальных. Раньше гремел один льноводческий колхоз «Новый путь», а теперь вот выдвинулась в число крепких маркеловская «Победа».

И Шитов похвалил «Победу», сказав, что там умеют работать с минеральными удобрениями. Нынче вывезли их столько, сколько не вывез весь соседний Мокшинский район. Григорий Федорович потупил глаза. Пусть Клестов оценит и это. Стараются Маркелов. За себя говорят отрядные цифры самой высокой по району урожайности зерновых и трав, достигнутой в «Победе». В засушливое-то лето!

Бился за этот хлеб Крахмалев, бился Серебров, когда замещал Маркелова, и, конечно, сам Григорий Федорович, но Серебров теперь был не в счет — он краснел за свой «Труд», хотя краснеть должен был не он, а Пантя Командиров. Однако Пантя теперь был уже далек от ильинских забот.

Доброжелательный, чем-то незримо отличающийся от районного люда, Кирилл Евсеевич Клестов нашел взглядом Григория Федоровича, когда речь шла о колхозе «Победа», легонько, с одобрением кивнул ему. По-

том сокрушенно покачал головой, когда докладчик заговорил о низкой урожайности в «Труде».

Серебров вскинул голову и взглянул в глаза Клестову: что ж, принимаю упрек, но и вы не обижайтесь, если я скажу правду.

Маркелов еще раз заслужил благосклонную улыбку Кирилла Евсеевича, когда напористый и уверенный, вышел на трибуну и начал сыпать цифрами, из которых, словно из мозаичных стекляшек, складывалось оптимистическое панно ложкарской жизни. Почти вертикально взметнувшаяся воображаемая кривая подъема экономики колхоза говорила и о взлете Маркелова.

— Может давать краснодарские урожаи наша земля-кормилица! — оптимистично доказывал он. — Только любить ее надо, а не позорить.

Шумок прошел по залу, когда Шитов сказал, что слово дает Сереброву. Огородов ухмыльнулся и подтолкнул локтем Маркелова: смотри, куда мой родственничек прет! Тот покрутил головой. Знает он этого нахала.

Серебров, шегольски одетый, в новом синем костюме с жилетом, легким, решительным шагом прошел к трибуне и сразу же вогнал в краску Маркелова, начав свою речь с того, как получил вместо трактора посуды и мог бы остаться без удобрений, если бы не занялся противозаконным расходом денег.

— Почему так получается? Почему «Труду» не дали ни одного трактора, а его прославленный, богатый, но не очень-то сочувствующий чужой нужде сосед отхватил сразу три? Да потому, что через голову районных властей Маркелов умеет найти путь к сердцу руководителей областной Сельхозтехники.

Маркелов нахмурился: использовал Серебров запрещенный прием. Такого не водилось среди руководителей крутенских колхозов и совхозов. Нельзя упрекать за расторопность: добывай сам, проси и помалкивай. Явно зависть двигала неоперившимся председателишкой. «На свою шею вырастил», — с досадой подумал Григорий Федорович.

Когда же Серебров сказал, что вся шефская помощь машиностроительного завода, именуемого в народе «чугункой», осела в колхозе «Победа», в зале поднялся неодобрительный гомон. Ну и Маркелов!

Григорий Федорович торопливо, вместе со скрепками выдрал из записной книжки серединный листок. «Возму-

щен клеветой, прошу слово для справки», — написал он в президиум.

Серебров знал, что одними эмоциями нынешнего бывалого и тертого руководителя не возьмешь. Он запасся цифирью. Урожайность сопоставил с мизерными тоннами минеральных удобрений, которые попадали на поля «Труда», с количеством имеющихся у колхоза машин. Когда Серебров по цифровым выкладкам, как по лесенке, стал взбираться к вершине своего выступления — к выводу о том, что такая позиция районных и областных властей не способствует подъему экономики слабых хозяйств, у Клестова тотчас смыло с лица доброжелательное выражение. Он взглянул на Сереброва с досадой. А когда тот заявил, что позиция эта вредна, потому что слабых колхозов и совхозов в области добрая половина, Кирилл Евсеевич не выдержал:

— А вам известно, сколько было отстающих хозяйств девять лет назад?

Девять лет назад Клестов стал работать первым секретарем обкома.

— Я таких подсчетов не делал, — повернувшись к нему, сказал Серебров. — Меня беспокоит, что слабых хозяйств по-прежнему в нашем районе да и области много.

Наверное, Сереброву не стоило говорить об области. В районе отстающие — это вина здешнего руководителя, а вот отстающие в области — это на совести самого Клестова. Но Серебров не хотел сваливать вину за район на одного Шитова.

— А сколько вы взяли хлеба с гектара? — спросил хмуро Клестов, повернув лицо к трибуне.

— Пять, — ответил простосердечно Серебров.

— Пять? — с удивлением вскинул брови Клестов и тоном голоса призвал удивиться остальных. — Да вы еще не использовали естественного плодородия. До десяти, даже до двенадцати центнеров можно подняться за счет улучшения агротехники, сортовых семян. Рано еще тянуть руку за удобрениями, — он расстроено отвернулся, возмущенный таким непониманием элементарных вещей. — Низкий урожай — это ведь прежде всего низкий уровень руководства. Надо искать вину в самом себе, Серебров.

Это была отповедь. И опять же за чужие, Пантины, грехи.

— Я ведь говорю не только об удобрениях, — не сдавался Серебров. — А техника? Чтобы с нашими тракто-

рами провести своевременный сев, надо полтора месяца. И дорогу без техники мы поддерживать не можем.

— Ну, друг дорогой,— сказал Кирилл Евсеевич, уже вовсе отчужденно и сердито.— Расплакались, руку тянете, а своих резервов не используете. Да я уверен, что у вас около ферм горы навоза. Вот вывезите органику...

Тут он был прав, но Серебров уступать не хотел.

— И для этого нужна техника. Как минимум шесть тракторов-колесников или два «Кировца»,— проговорил он, поигрывая свернутым в трубку текстом выступления,— Сельхозхимия к нам ехать не соглашается. Далеко.

— Вы бросьте эту арифметику,— раздражаясь, осадил его Клестов.

— Теперь, Кирилл Евсеевич, пора уже не с помощью арифметики, а с помощью высшей математики руководить хозяйством,— петушисто откликнулся Серебров.

Клестов, выведенный из себя, поднялся.

— Мы и впредь намерены технику давать тем хозяйствам, где ее используют с отдачей, где с удобрениями работают, а не сплавляют их в реку,— с железом в голосе сказал Клестов.

Прав он был, конечно. В «Труде» по-прежнему валялась на земле нитрофоска — так и не сумела убрать ее нераспорядительная, слезливая агрономша Агния Абрамовна.

Клестов считал, что он сбил спесь с распетушившегося Сереброва, еще ничего не сделавшего, но уже требующего всего в полном объеме.

— Садитесь,— сказал он с презрительной жалостью. Но Серебров не сел.

— Вы меня упрекнули насчет помощи... Если не хотят нам давать трактора, пусть снимут план продажи зерна, молока и мяса. Мы будем собирать клюкву, грибы и другие дикорастущие. Предлагал же когда-то один из участников этого собрания засадить наши места лесом, чтоб разводить волков. Считал, что это выгоднее.

Вряд ли кто помнил эти знаменитые слова Огородова, оставшиеся в обиженной памяти Сергея Докучаева, но они вызвали шум. Многие, и в первую очередь Огородов, постаравшийся не вспомнить, что фраза о волках принадлежит ему, почяли, что песенка выскочки Сереброва спета. Когда тот шел на свое место, на него смотрели с жалостью. Серебров ощутил, что спустился в совершенно иной зал, чем тот, из которого он поднимался. Его охватила тоскливая злость.

Кирилл Евсеевич быстро поставил на свое место задиристого председателишку. Он назвал его выступление иждивенческим. У него были под рукой цифры о помощи колхозам и совхозам. Он напомнил собранию о постановлениях обкома партии, которые обязывали заниматься отстающими хозяйствами.

— Извиняет Серебров то, что он человек молодой и только начинает работать,— великодушно закончил Кирилл Евсеевич свою разгромную речь.— Теперь вам ясно, что мы не можем делать одинаковую ставку на слабые и сильные хозяйства? — Клестов взглянул на Сереброва. Тот, бодливо наклонив голову, сказал негромко, но так внятно, что услышали все:

— Нет, не ясно. Мне не ясно.

Это всколыхнуло в зале возмущенный гомон. Кириллу Евсеевичу надо было как-то выходить из затруднительного положения. Он немного деланно, но отходчиво рассмеялся.

— Хорошо, с вашим особым хозяйством мы особо разберемся,— проговорил он и перешел к делам, касающимся всей Бугрянской области.

Добил Сереброва неожиданным ударом Григорий Федорович Маркелов, которому дали слово для справки. Он просто спросил Сереброва:

— Скажи, Гарольд Станиславович: кто ездил на завод договариваться насчет шефской помощи?

— Ну, я,— ответил Серебров, и зал разразился гогом.

— А говоришь, что я все у шефов забрал,— усмехнулся Маркелов.

Во время перерыва, в буфете, куда повалил проголодавшийся люд, знакомые хлопали Сереброва по плечу: ну ты и дал! Были такие, которые говорили вроде с одобрением, но чувствовалось, что пал в их глазах Серебров.

— Ты что это,— покрутив головой, упрекнул его заворготделом Ваня Долгов.— С первым секретарем в таком тоне?!

— А-а, отстань. Как думаю, так и сказал,— наливая в стакан напиток «Буратино», отмахнулся Серебров.

Задержал его в вестибюле Александр Дмитриевич Чувашов. Глядя с удивлением своими голубыми внимательными глазами на Сереброва, он как-то застенчиво проговорил:

— Посылай агронома, у меня хорошего семенного

ячменя лишку есть. Тонн десять могу дать на развод. Сорок центнеров урожайность.

— На что меняете? — с привычной опаской спросил Серебров.

— Да просто так, по себестоимости,— проговорил, смеясь, Чувашов.— Ох, и купцами мы стали.

Предложение Александра Дмитриевича тронуло Сереброва больше, чем похвалы о безоглядной смелости. Он благодарно тиснул ему руку.

— Спасибо, душевное спасибо.

Весь перерыв Маркелов опять был рядом с Клестовым. Они о чем-то горячо говорили, но, видимо, секретарь не журил Григория Федоровича за «чугунку», потому что лицо у того было довольное.

После собрания Сереброва позвали в кабинет Шитова.

Поигрывая шариковой ручкой, сидел за столом Виталий Михайлович. Сбоку устроился розовый от приятного волнения Григорий Федорович. Его позвал на совет первый секретарь обкома партии. Кирилл Евсеевич, заложив руки за спину, прохаживался по ковровой дорожке. Он рассказывал о чем-то веселом, потому что Серебров еще застал смех в глазах Шитова и Маркелова.

— Садитесь,— широко повел рукой Клестов.

Серебров сел, поламывая пальцы, упер взгляд в пол.

— Ну так что ж, Гарольд Станиславович,— сказал Клестов.— Тут мы посмотрели. Действительно, у вас с техникой дела обстоят неважно. Решили вашему хозяйству добавить тракторов.

Серебров опять, наверное, сделал промашку. Сразу уверовав в то, что трактора сами собой появятся у него, он вскинул голову и проговорил:

— «Уазика» у нас нет, и еще нужен автобус. Единственный наш колхоз без транспорта, школьников в Ложкари возить не на чем, и дорога никуда не годится.

Клестов захохотал чуть ли не с восхищением:

— Ну, тебе дай палец, ты руку отцапнешь.

Великодушие не покидало его.

— А давайте я вас на своей колхозной машине провезу,— сказал Серебров, играя под простачка.— До Ильинского не доедем, развалится.

— Ну что ж, и «уазик»,— сказал раздумчиво Клестов.

— Только не из фондов района,— проговорил Серебров.

— Эх, выстегать бы тебя, прежде чем председателем садить,— вырвалось у Маркелова. Он сделал вид, что вовсе не сердится за старое на Сереброва, просто недоволен тем, как тот нахально ведет себя.

— Меня и так стегают,— задиристо откликнулся Серебров.

— А еще,— возвысил голос Клестов, не обращая внимания на дерзость Сереброва.— Вот Григорий Федорович проявил благородную инициативу и решил взять шефство над вашим хозяйством. Его специалисты разберутся в севообороте, посоветуют насчет создания кормовой базы. Подбросит сосед семян, породистых телок.

Сереброву, наверное, следовало бы, забыв о гордыне, выдать почтительное «премного благодарен» и приложить руку к сердцу, но он знал, что, взявшись помогать колхозу «Труд», Маркелов наверняка имеет свой расчет. Газеты напишут, какой добрый и великодушный Маркелов, а он, Серебров, на буксире у передовика будет выглядеть тупой бездарью.

— На каких условиях? — замыкаясь, спросил он.

— Ну, мы обговорим все в управлении сельского хозяйства,— сказал Клестов.— Наверное, можно доплачивать специалистам из «Победы». Надо добавить им техники, чтоб они массивированным наездом за три дня вспахали на «Кировцах» всю вашу землю.

«Значит, опять дадут технику не «Труду», а «Победе»,— подумал Серебров и, наливаясь обидой, сказал:

— Пусть лучше Григорий Федорович возьмет наше хозяйство полностью на баланс. А я, как и прежде, буду главным инженером.

Это одобрения не вызвало.

— Спасибо надо сказать,— опять вырвалось у Клестова.— А ты...

— Спасибо, но я как-нибудь так, без шефа,— наклонив упрямо голову, проговорил Серебров.

Клестов развел руками.

— Такие-то упрямы встречаются редко,— добавил он, уже не скрывая возмущения.— Тебе же кашу в рот кладут, а ты глотать не хочешь.

— Не хочу,— поднимаясь, согласился Серебров.— Сам жевать буду. А за советом приеду к специалистам.

— Ну что ж, идите,— недовольно нахмурился Клестов и, когда закрылась за Серебровым дверь, напустился на Шитова: — Нашел ты себе золото, Виталий Михайлович. Как решился такого ферта ставить на колхоз? Вы-

скочка! Артист! Ты ему купи цилиндр и это самое,— ну как его? — носили раньше... да жабо. Пусть щеголяет в жабо, только не в колхозе, а в клубе.

— Да нет, он хороший парень, живой. Его в колхозе шилом зовут,— проговорил растерянно Шитов. Его озадачил неожиданный этот конфликт. Если бы не было Клестова, он сумел бы поставить на место Маркелова, успокоить Сереброва.

— Ты что, считаешь укол шила приятным? — хохотнул Клестов. Он был недоволен Шитовым. Постоянно складывались между ними особые, не очень теплые отношения. И вот теперь берет Шитов под защиту этого выскочку и зазнайку.

— Ты разберись еще раз с ним,— сказал Клестов.— Наломает дров, потом локти кусать будешь. Ну, поехали, Григорий Федорович, к тебе. Я хоть душой отдохну,— признался Клестов в своем благорасположении к Маркелову.

Серебров возвращался в Ильинское усталый и скучный. Ему не казалось уже отважным свое выступление на собрании. Уныло вспоминал он спор в кабинете Шитова. Нашумел, надерзил, можно было бы и не задираться. Но предложение Маркелова о шефстве над «Трудом» Серебров по-прежнему расценивал как хитрость. Понравиться Клестову захотел Маркелов. Сам ведь помочь отказался, а тут...

Колхозные заботы лишили Сереброва возможности нормально разговаривать, есть, спать.

Однажды ему даже привиделся необычайно тревожный сон. Весна будто бы наступила, время сева, жаворонки поют, а у него в «Труде» земля не пахана. И ему стало так тяжело, беспокойно от этого, что он проснулся в поту и долго бродил взглядом по темному потолку, с тоскливым опасением спрашивая себя: «Неужели не получится? Вдруг, как Пантя Командиров, завязну в суете, потеряю уверенность?»

Он мучился, не в силах заснуть, считал до трехсот, потом еще и еще, а сон не шел. Рядом тихо спала Вера. «Вот у нее сон спокойный, ей что»,— с обидой подумал Серебров, но когда повернулся на бок, Вера вовсе не сонным голосом спросила:

— Чего ты возишься-то?

— Я думаю. А ты чего не спишь? — с подозрением проговорил он.

— А разве я не могу думать?— обиделась она.

— Спи-катай, у тебя думы легкие,— прошептал он с обидным пренебрежением.

— Еж колючий,— стветила она со вздохом.— Ничего не замечашь, я уж неделю есть не могу. Ребенок у нас будет,— и всхлипнула.

— Да ну? — садясь на кровати, проговорил Серебров.— Парень?

— Откуда я знаю? — усмехнулась она сквозь слезы.

— Парня давай,— виновато погладив Веру по обнаженному плечу, проговорил он,— на охоту ходить вместе будем.

— Ишь ты — заказчик,— счастливо рассмеялась Вера,— а может, у меня девчоночья специализация?

— Ну, пусть девчонка,— примирительно сказал он,— тогда чтоб красавица,— и бродил взглядом по потолку уже не с такой безысходностью, как до этого.

«Если мальчик, назовем Стасиком, только отчество никуда не годится,— думал он,— а девочку — Верой. Пусть будут две Веры. Хорошо, когда двое детей».

ЛЕДЯНЫЕ ЦВЕТЫ

Жизнь, жизнь, какие она выкидывает фортели! Были дни, когда Серебров неотвязно думал о Надежде, были месяцы, когда он жил мечтой о встречах с ней. А вот теперь отошла Надежда в сторону, стала невидной в бугрянской дали. Он даже не знал толком, как она живет, и без боли вспоминал о ней.

Наезжая в Бугрянск, он вначале колебался, звонить ли ей. Всплывало в памяти стыдное прощание на платформе Крутенского вокзала, когда Огородов отвел душу, кость его. Потом пришло устойчивое благоразумие: к чему бередить заросшие царапины? Все перегорело, стало забываться.

И вдруг в колхозную контору на его имя пришло от нее письмо.

Серебров удивленно держал в руке конверт, не решаясь открыть. Надежда зря не напишет. Значит, что-то случилось. Написано оно было коротко и лихо. «Милый Гаричек! Заела меня чертова тоска. Может, нашел бы заблудшую овцу в каменном лесу? Буду рада увидеть тебя. Сам понимаешь, безнадежная Надежда».

В общем-то записка была непроницаемой, ни о чем не говорящей, но в том, что Надежда послала ее, угады-

вались какие-то перемены или сложности. А может, это был привычный Надькин прием: захотелось снова приблизить прежнего терпеливого обожателя. Но увы! Ведь он не тот.

Раньше Серебров сразу бы снялся с места и помчался к Надежде, а теперь он сунул письмо в ящик стола, решив, что при случае позвонит ей.

Вскоре побывал он в Бугрянске, но звонить Надежде не было настроения. В тот раз посылал Шитов Сереброва и еще четырех крутенских председателей на областное совещание руководителей отстающих хозяйств. Собрались в огромном кубовидном зале Дома Советов товарищи по несчастью. В основном народ молодой, еще только начинающий свой тернистый путь.

Обычно перед областными совещаниями в этом зале бывало шумно и весело. Приветливо раскланиваясь, спешил в передние ряды, к начальству, ставший навсегда президиумов Маркелов. Гул в зале Бугрянского Дома Советов был тогда бодрый. На этот раз немотно сидели в зале люди. О чем говорить, над чем смеяться? Собранные сегодня не знали друг друга, и не похвал, а нагоняя за скудные урожаи, мизерные удои и привесы ждали они. Президиума на этом совещании не избирали. Вошел высокий, уверенный в себе Кирилл Евсеевич Клестов, сели по обе стороны от него те, кто мог ответить на любой хозяйственный вопрос, распечь за отставание. Выступая, Клестов не обошел вниманием дерзкого председателя из Крутенки.

— Все ему давай, как передовику, а он сам еще не знает, будет ли отдача,— негодуя, гремел Кирилл Евсеевич.— Но мы пошли ему навстречу, сам Григорий Федорович Маркелов решил взять шефство над колхозом, а Сереброву, видите ли, это не нравится. Хочу сам, сам с усам. Но посмотрим, получится ли. Правда, усы у него есть, но небольшие.

Зал оживился, стали оборачиваться на усатых, Серебров не задирался. Здесь сидели такие же, как он, бедолаги, и он был не лучше других.

Кирилл Евсеевич говорил о том, что напрасно такие, как Серебров, считают себя забытыми или отверженными. Есть внимание к отстающим, и он стал приводить цифры. Слова секретаря обкома теперь уже не обижали Сереброва. Может, обтерпелся он, а вернее всего — понял: чтобы выкарабкаться из отстающих, надо привыкнуть к мысли, что ругать будут.

После встряски как-то забылось, что должен он позвонить Надежде.

В Бугрянск больше ехать было незачем. Оказалось вдруг, что всех кормов, считая и привозную, в брикетах, солому, остается в колхозе с гулькин нос, и Серебров названивал в соседние районы знакомым специалистам, выспрашивая, нет ли у них на перевертку кормов. В конце концов написал он слезное послание дяде Брониславу Владиславовичу, моля его поискать корма на Ставропольщине.

Совершенно неожиданно, почти прежний, шумный, веселый, нагрянул в Ильинское Маркелов. Кого не чаял увидеть у себя Серебров, так это Григория Федоровича. Маркелов вообще не любил наведываться в «лежащие набоку» хозяйства. А тут еще эти стычки из-за тракторов и отказ Сереброва от шефства. И все же явился Маркелов собственной персоной, в новой дубленке, в белой своей шапке, делавшей его похожим на магараджу. Визит этот вызвал у Сереброва недоумение. Неспроста пожаловал Григорий Федорович. И пожаловал рановато. Через полгодика бы... Встретил бы его тогда Серебров в просторном кабинете новой каменной конторы. А теперь входил богатый, знатный сосед в прокуренную тесную боковушку, в которой трудно уместиться вдвоем.

— Ну, Гарольд Станиславович, не контору — дворец заворачиваешь, а я вот первые десять лет в этаким же закутке высидел, — с порога сказал Григорий Федорович.

— В такой конторе сидеть — себя не уважать, — озадаченно пожимая руку Маркелова, сказал Серебров. — Ведь человек проводит на работе большую и, говорят, лучшую часть жизни. Зачем же лучшее время сидеть в грязи и копоты?

Эта фраза была заготовлена как раз для такого случая.

— Ну, ну, — с недоверием проговорил Маркелов и выдал по поводу новых кабинетов анекдот с прозрачным намеком: в таких, мол, случаях не контору меняют. Серебров усмехнулся: анекдотец был с большой бородой.

Надо было как-то обороняться, и он намеренно перешел на хвастливый тон.

— Контору строим, скважину пробурили, вода теперь в дома пришла, детсад открыли, каток для детишек сделали, — перечислил он и показал в окно на хоккейную коробку, где носилась вспаренная ребятня.

Маркелов взглянул без любопытства и одобрения на каток, опустился на хлипкий, застонавший под ним стул, облазил взглядом желтый щелястый потолок.

— А это чего у тебя? — покосился на громоздившиеся в углу металлические ящики.

— Это для диспетчерской службы,— с деланным пренебрежением сказал Серебров. Диспетчерская служба, которую намеревался он ввести по примеру Чувашова, была его гордостью, но гордость эту выдавать было нельзя.

— Сколько стоит? — ухватил самое уязвимое Маркелов, сиюсь прочитав на ящиках чужеземные слова.

— Двадцать семь тысяч,— сказал Серебров, небрежно махнув рукой.

— Двадцать семь тысяч! Это чтоб велеть Сереге Докучаеву клок соломы подобрать? — выпучив глаза, изумился Маркелов.

Серебров, делая вид, что не заметил преувеличенного удивления, объяснил:

— Рации на комбайнах поставим, на фермах, в бригадах... Удобно.

Маркелов пожевал губами, покрякал. Серебровская новинка интереса у него не вызвала, считал он ее для нищего колхоза пустой тратой денег. У него надежно работала телефонная станция, и по его приказу Маруся Пахомова из-под земли могла достать кого угодно.

Мелькнул интерес в глазах Григория Федоровича, когда увидел он распаянные в простенке чертежи Дома культуры, совмещенного с кафе, столовой и танцплощадкой.

— Отличный, современнейший проект сельского очага культуры,— похвалился Серебров, пощелкивая пальцами по чертежу.

— Где ты такой отхвятил? — вглядываясь в малиновые прожилки кальки, спросил Григорий Федорович.

Проект этот был гордостью Сереброва. Вычитал он о таком чуде в журнале и тотчас же сделал запрос в эстонский проектный институт.

— Ну-у,— не то одобрил, не то подверг сомнению затею строить такой Дом культуры Григорий Федорович. В общем-то Маркелов не без основания считал, что пока поля лысые, как голова у Панти Командирова, и пока коровы дают молока не больше, чем козы, плясать и петь рано, а богатую контору строить зазорно. В «Победе»

вон урожай и в прошлое лето был чуть ли не вчетверо больше, чем в «Труде», на фермах породистый скот.

Серебров понимал — не дорого стоит его задиристость. Но что ему оставалось делать?

Нет, не за тем, чтобы осматривать ильинские новинки, пожаловал Григорий Федорович. Зачем же? Серебров ломал голову, а Маркелов не говорил о причине своего приезда. Зорко ухватил пока самое уязвимое: лихо транжирит председатель Серебров колхозные средства.

— У меня тесть — банкир, — беспечно проговорил Серебров. — Бетонных плит вот не могу для перекрытий найти, с соломой дело швах, со всей области вожу.

— Могу сказать, где плиты водятся и где соломки добыть можно, — сговорчиво пообещал Маркелов, ударяя зажатými в кулак перчатками о вихлявый стол.

— Так, может, зайдем к тебе на квартиру? — предложил Григорий Федорович. Все-таки что-то допекало его. Настырен он был в своем желании поговорить с глазу на глаз.

Они вышли из конторы, Капитон, тиснув обрадованно руку Сереброва, метнулся к машине.

— Ты здесь постой, — сдержал его прыть Маркелов. Даже верного тайного советника не хотел он посвящать сегодня в свои секреты.

Они шли рубчатыми автомобильными колеями, разделенные срединным шершавым снеговым гребнем. Серебров подумал, что ему, пожалуй, повезло: приехал Маркелов, когда все скрыто снегом и не видны убогие командировские озимые «ковры». А то всласть помыл бы Маркелов зубы.

Когда в Ильинском появятся ровные зеленые поля, Серебров пока не знал. Мечталось весенний сев провести по-крахмалевски, и ругал он главного агронома Агнию Абрамовну за некондиционные семена. Выгнал всех конторских работников, и сам вышел с лопатой, чтоб убрать удобрения под крышу.

В сенях, подавая Маркелову голик, Серебров проговорил:

— Скажешь, Григорий Федорович, где плиты добыть, за науку и коньяк выставлю.

— Православную, значит, не пьешь? — спросил Маркелов, усмешливо глядя на Сереброва.

— Не та должность, за вами тянусь, — все еще задираясь, откликнулся тот.

— Ну-ну, тянись, да не порвись, — привычно скалам-

бурил Григорий Федорович, входя в квартиру. Мельком окинув взглядом уютные, светлые комнаты, одобрительно проговорил: — Ничего тут у тебя, — а потом, не сдерживая себя, вдруг ругнулся. — С этим проклятым срубом, который мы с тобой Макаеву отправили, целый детектив получается. Народный контроль копает под него, причем областной. Слышал?

— Что вы говорите? — без особого возмущения удивился Серебров. — Нет, не слышал.

Маркелов покосился, не веря удивлению, потер крутой лоб.

— В общем, звонил Макаев. Говорит, доберутся — могут на всю область ославить. И ни за что. Черт бы побрал этот дом, этого Макаева. В лучшем случае выговор схвачу, а в моих-то годах в греховодниках ходить не пристало. Все насмарку пойдет, — вздохнул Маркелов и замахал рукой, видя, что Серебров достает рюмки. — Не надо. Сердце сегодня всю ночь жало. Я ведь так.

Упоминание о годах и то, что все «пойдет насмарку», было зачином. Серебров, поглаживая Валета, пытался понять, чего Григорий Федорович хочет от него. Царапнуло за живое, когда Маркелов упомянул, что сруб для Макаева отправили они вместе. Все было сделано без него.

Маркелов подался через стол к Сереброву и покосился на дверь — словно боялся, что их подслушивают. Потом приглушенно, но решительно проговорил:

— Если народный контроль займется всерьез, этим делом может заинтересоваться и обком партии. Загорится сыр-бор. И тебя вспомнят. Выход такой: жена Макаева, Надежда Леонидовна, заявляет, что дом этот покупал не Макаев, а она. И ты ей, Гарольд Станиславович, понимаешь, ты, а не кто-нибудь купил этот сруб в Ложкарях. Вы с ней друзья детства, Макаев говорит, что у вас что-то там было... Я, конечно, не знаю, что. Тебе лучше знать... И все затихнет.

Серебров вскочил. Ну и Маркелов, ну и ловкач, ну и дока, чего придумал...

— А где же докумечты на мою покупку?

Маркелов рассмеялся: да кто же оформляет документы, если это сруб для бани?! Есть у нас в бухгалтерии одна фитюлька, но ее не надо. Вот так будет лучше: ты закупил сруб. Там, где срублено на баньку, определенно можно поставить пятистенок. Покупал, мол, банный сруб, а потом еще приторговал.

Серебров взглянул на Маркелова: ой, хорош Григорий Федорович! Как ребенка, хочет его облапошить. Но Серебров прикинулся протачком:

— Так ведь я не дарил сруб, Григорий Федорович.

Маркелов покосился на Сереброва. Видимо, заподозрил, что тот валяет дурака.

— Тут не до шуток. Меня могут за штаны и...

— И меня могут за штаны и... — в тон ему протянул Серебров.

— Ну тебе что, ты начинаешь. Легко отделаешься. Даже тебе приятно будет. Освободят от председательства, выговор небольшой запишут — и лети, куда хочешь. Вон ты как на колхоз не шел, упирался, будто жеребчик перед кастрацией.

Но сложность была в том, что Серебров теперь освобождаться от председательства не хотел. Ночами не спал — думал, как вытянуть «Труд». Было ему как-то обидно за эти места. Хотелось — ах, как хотелось! — сделать их счастливыми, многолюдными. А удастся ли? Выдюжит ли он? Обижались по-прежнему на него бригады, плакала агрономша Агния Абрамовна, но было что-то важнее всего этого. Не замечал теперь Серебров в глазах людей недоверия. Слова Сереги Докучаева о том, что сорвет резьбу Серебров, теперь никто уже не повторял. Сухонькая Глаха, жена Докучаева, как-то сказала в магазине продавщице Руфе, что шилом звали Сереброва в Ложкарях, дак шило и есть.

— Везде поспеет, так и вертится. Гляди-ко, долго ли у нас, а уже водопровод провел и ясли открыл.

Яслями, водопроводом гордился Серебров. И было ему теперь вовсе не безразлично, что о нем скажут люди.

— Меня увольнение как-то не поманивает, — замкнувшись, проговорил Серебров, глядя мимо Маркелова, в окно, на сугроб, из которого планки штакетника высовывались, как зубья пилы.

— Да не трусь ты. Это одна формальность. Ты просто напиши объяснительную, что купил сруб у дяди Мити для Надежды Леонидовны, поскольку был в дружбе, а дядя Митя подтвердит: эдак, мол, купил и нанял его печи сложить, баньку срубить, ну и наличники вырезать.

Да, гладкий, логичный сценарий сочинил Макаев. Причем чести жены не пожалел. Плетите, дескать, что угодно. Не вмещались в сценарий, на взгляд Григория Федоровича, чистые мелочи. Серебров знал, что за «мелочи». Банный сруб оказался пятистенком — мелочь,

ставил его Макаев не на свои деньги, а за счет колхоза «Победа» — тоже мелочь. И даже за наличники, резьбу по дереву, кладку камина и печей, строительство бани расплачивался с дядей Митей не Макаев, а колхоз.

В глазах у Маркелова уловил Серебров усталость. Наверное, и правда сердце болело. На мгновение Серебров вдруг ощутил жалость к Григорию Федоровичу, захотелось сказать ему мягко и вразумительно: «Зачем ты, Григорий Федорович, известный человек, отличный руководитель, влезаешь в эти махинации, имя свое порочишь?» Но ясно было, что не примет этих слов Маркелов, что обидится он: яйца курицу учат. И Серебров проговорил с усмешкой:

— Прекрасное сочинение! Его надо послать на студию художественных фильмов, Макаева переводом оформить сценаристом, а тебя, Григорий Федорович, директором картины.

Маркелов обиженно заворочался на стуле.

— Смеешься? А ведь ты все начинал, ты позвал Макаева в гости, — стал цепляться Григорий Федорович. Хотелось ему втянуть в эту веселую компанию и Сереброва. Откинувшись на стуле, Серебров пошевелил в воздухе пальцами.

— Это ведь, Григорий Федорович, две большие разницы, как говорят в Одессе. Две очень большие разницы.

— Не знаю, как там говорят, — насупился Маркелов, — но моя просьба такая: напиши объяснительную — купил, мол. И съезди, объясни им это все. По гроб не забуду добра. Ты понимаешь, если что случится, мне уже не подняться.

— Ну что ты, Григорий Федорович, все образуется, как говорит Помазкин. Теперь я никуда ехать не могу. У меня кормов всего двухнедельный запас, — трудно проговорил Серебров, потирая горло. — Завтра в Мошкино еду, а может, и на юг придется рвануть. Ты понимаешь, на волоске я.

Маркелов крутнул головой, расслабляя ворот рубашки, оттянул галстук.

— Не плачь, продам я тебе соломы, отправишь машины, свои да «Кировца» пошлю с овсянкой, только съезди, напиши объяснительную.

— Сегодня не могу. Завтра, — неожиданно для себя сказал Серебров. — А за солому спасибо, выручишь.

Маркелов встал, хмуро бросил:

— Упрям ты. Ну ладно, послезавтра-то съездишь?

— Послезавтра разве что,— нехотя ответил Серебров. Теперь они молча шли к конторе. Маркелов уже не шутил, дышал шумно.

Оставшись один, Серебров вдруг понял, на что он идет. Совесть свою меняет на солому, чтоб выручить Макаева, чтоб Маркелоз вышел сухим из воды. А о нем, Сереброве, будут говорить: «Молодой да из ранних». Не успел года поработать — уже начал жульничать. Нет, не пойдет он на это ни за что. Не может он быть жуликом в глазах ильинцев.

Серебров связался с Маркеловым и хриплым, виноватым голосом проговорил, что разыгрывать по макаевскому сценарию роль купчины, который дарит особняк, отказывается. Нет желания играть такую роль, и объяснительную он писать не будет, и к контролерам не поедет. Правильно они против Макаева копают.

Григорий Федорович долго молчал, наконец сказал:

— А злопамятный ты, не можешь Виктору Павловичу простить, что он Надежду Леонидовну увел у тебя.

— Все уж быльем поросло,— откликнулся Серебров, вешая трубку. Да, теперь Маркелов кормов не даст. Теперь предстоит лететь к богатому соломой дяде Броне и выменивать ее на лес, потому что южане далеко не простаки.

Наверное, все-таки вывела его из себя эта история — совсем забыл, что самолет в Минводы летает по нечетным дням, а сегодня двенадцатое. И вот получается — он приехал в Бугрянск, и здесь у него оказалось свободное время.

«И она написала, наверное, из-за той же злополучной дачи,— с обидой подумал он о Надежде.— Конечно, из-за дачи». Однако все же решил заглянуть к ней в ателье и сказать, что на сделку не пойдет, пусть Макаев выплатит свои денежки.

В ателье приемщица заказов пораженно всплеснула руками.

— Неуж, Гарольд Станиславович, не слышали? Ушла от нас Надежда Леонидовна. Ученый теперь человек, не чета нам. В швейном техникуме преподает.

Ух, какие сдвиги произошли в Надькиной жизни! Значит, одолела технологический институт? Молодец!

По знакомому переулку Серебров прошел к желтому, с белыми колоннами зданию техникума, смахивающему на помещичий особняк. Как быть? Позвонить ей

из телефонной будки? В учительской стоял галдеж. Смеялись над чем-то женщины. И пока искали Надежду, он невольно прислушивался к этому смеху.

— Ой, Гарик, это ты? — пропела она обрадованно. — Ты откуда говоришь? Почти отсюда? А у меня еще урок. Ты сможешь скоротать это время. Через пятьдесят минут я — твоя.

Она, как всегда, рискованно шутила.

Ну, конечно, он подождет, поскитается.

Он бродил по «необитаемым островам», как называл когда-то захолустные улочки, и вспоминал мучительные и сладкие для него дни. Повяло чем-то милым, давним из того времени, когда он неотступно ухаживал за Надькой. Милым и обидным. До ее знакомства с Макаевым он повсюду сопровождал ее. Ходил на демонстрацию модных фасонов одежды. Там Надьке аплодировали больше, чем другим. Платья и костюмы ее оказывались самыми модными. На ногтях у Надьки был не просто маникюр, а разрисованный какими-то виноградинками. Она везде стремилась произвести впечатление. Даже на лыжную прогулку в сосновый парк, широко раскинувшийся за рекой Радуницей, собиралась, как на смотр мод. Гарька разыскивал загодя лыжи под цвет костюма, заказывал к дому такси. Надьке надо было, чтобы ей позавидовали другие лыжницы, чтобы украдкой стрельнули на нее плутовыми глазами примерные мужья, покорно, след в след, идущие за своими женами. Как давно это было и было ли?

Надежда слетела с невысокого крылечка, как всегда, продуманно одетая, ловкая. Под полями меховой, дымчатой шляпки лицо похudevшее, в глазах милая, виноватая улыбка.

— Не идешь, а танцуешь, — подзадорил он ее, чувствуя, однако, отчуждение.

— Ой, Гарик, я, наверное, стала старухой? Разве такой я была?

Она, как всегда, напрашивалась на похвалы.

— Когда я вижу тебя, я чувствую себя ограбленным. Из-за тебя бы, наверное, в прошлом веке стрелялись поэты и гусары, — сказал он, ощущая прежнюю холодность.

— Все, все теперь, Гаричек, в прошлом. Я себя чувствую старой маразматической клячей, — проговорила она, уверенно беря его под руку.

Надо было прорваться сквозь традиционную словес-

ную накипь, чтоб услышать от Надьки естественные слова, узнать, что побудило ее просить о встрече.

— Ты женился,— не спросила, а утвердительно сказала Надежда, заглядывая ему в лицо.— Я все знаю. Она дочь того широкозубого мужика, который все орал: «Пить — так водку, воровать — так миллион». Как тебя угораздило? Что, она очень красивая?

«Ах, Надя, Надя, какое теперь тебе дело, что у меня за жена?» — подумал он, прежде чем хоть что-нибудь ей сказать.

— Но ведь дочь и отец могут быть разными.

— Возможно,— с недоверием сказала Надежда.— Еще я знаю, что ты председатель колхоза. Я ведь слежу за тобой,— с похвалой себе сказала она, прижимаясь к его плечу.— Ой, Гарик, Гарик, как все изменилось. Тяжело тебе? — заглядывая ему в глаза, проговорила она, не скрывая любопытства, а может, даже ревности.— Ты счастлив? Она, наверное, спокойная, надежная, идеальная хранительница семейного покоя, да?

— Счастье — это когда поедешь за сеном и веревка не лопнет, а у меня она все время рвется,— ушел он от ответа.

Вот и ресторан, где решил Серебров поговорить с Надеждой. В это время сюда забегали торопливые люди, чтобы наспех проглотить запоздалый обед. И только трое капитально расположившихся завсегдатаев южного обличья проводили Надежду завистливыми, знойными взглядами: отлично сложенная женщина с упругой походкой.

Серебров выбрал столик за массивной колонной, чтобы не мешали эти досужие взгляды. Надежда, уверенно, достав из своего портфельчика пачку сигарет, закурила. Это тоже была перемсна в ней.

— Ты знаешь, почему я написала тебе?

— Нет,— уверенный в том, что написала она из-за дачи, покривил он душой.

— Я очень хотела тебя увидеть,— притрагиваясь длинными своими пальцами к его руке, проговорила она.— Очень хотела увидеть. У меня опять такое ощущение, что я одна. На всем белом свете одна...

Он усмехнулся: начинается прелюдия к разговору. Теперь Надежда скажет, что никто из числящихся в друзьях не хочет им помочь. Если она начнет этот разговор, он объявит его запретным. Пусть Макаев сам играет по какому-нибудь своему сценарию.

Но Надежда ни о даче, ни о том, что этой историей занялся народный контроль, не говорила.

— И отчего же у тебя такое разочарование? — снисходительно спросил Серебров, не веря в ее одиночество.

Повторяя спичкой узор на скатерти, она проговорила:

— Я не знаю, Гаричек, как тебе сказать...

Все понимающая смазливая официантка оценивающе посмотрела на Надежду и расставила тарелки. Потом нетерпеливо нацелилась карандашом в блокнот.

Пока официантка записывала заказ, Надежда смотрела на кончик сигареты и молчала.

— Ты знаешь, я, наверное, уйду от Макаева, — неожиданно проговорила она.

Серебров закурил, чтобы скрыть свою растерянность. Чего-чего, а этого он от нее не ожидал. Холодная настроженность стала таять. «Эх, Надька, Надька! А раньше-то ты о чем думала?»

— Так зайкой можно сделать человека, — сказал он наконец первое, что пришло на язык.

За окнами синел ранний зимний вечер. Пиликали на эстраде музыканты, настраивая инструменты. Невдалеке за столик сели вовсе зелененькие девчухи-стрекотухи. Они неумело демонстративно закурили и, перешептываясь, стали ждать, когда ударит музыка. Глаза их сияли. Начиналась роскошная, почти взрослая жизнь. Наверное, такими же были они с Надькой, когда удавалось попасть сюда в студенческие годы.

Он боялся смотреть ей в глаза. «Эх, Надя, Надя, закружит ведь, завертит тебя жизнь. Почему же так поздно ты решилась на такое?» Но опять он не сказал этих упречных слов. Раз призналась, значит, объяснит Надежда, почему решила уйти от Макаева.

Завел свою бодрую музыку оркестр. Молодые и не очень молодые шеголи донимали их, то и дело вырастая перед столом, чтобы пригласить Надежду потанцевать. Серебров понял, что от этих кавалеров, давно углядевших такую приметную даму, не будет отбоя.

— Может, пойдем? — спросил он.

— Конечно, Гарик, — сговорчиво откликнулась она.

Серебров шел рядом с Надеждой полутемными улицами, обеспокоенный и смущенный. Надежда, сжимая его локоть, проговорила с раскаянием в голосе:

— Ты знаешь, Гарик, я почему-то теперь думаю, что вовсе не важно, где жить, а с кем — очень важно. Простой вывод, а как долго я к нему шла.

А он подумал, что тоже долго шел к такому выводу. Он был последнее время рад, что жизнь его определилась, уравнилась. Наверное, он ощутил необходимость такого равновесия тогда, когда понял причину безысходного несчастного Вериного плача во время грозы в Синей Гриве у Очкиных. Ну и, конечно, тогда, когда Вера призналась, что у них будет еще один ребенок.

— Да, простое очень сложно бывает понять,— сказал он больше себе, чем Надежде.

Они долго кружили тесными от снега, безлюдными переулками и пришли к своему старому деревянному дому. У Сереброва всегда вызывал лирическую грусть этот непритязательный и терпеливый брусковый дом. Он еще больше почернел, стал каким-то растерянным и стыдливым. Напоминая о цветении, белели в палисаднике увитые инеем яблони. В воспоминаниях Сереброва яблоневый цвет был накрепко спаян с Надеждой. Вот по этим стойкам он карабкался к ее окну, чтобы положить цветы. Ладони долго горели от заноз и ссадин. Зато какой пугающий восторг поднимался в груди, когда он слышал удивленный Надькин крик: «Опять кто-то положил букет!»

Ему показалось, что он и сейчас сможет нарвать для Надежды цветущих яблоневых веток. Он даже взялся за сук, но с него посыпалась снежная пыль.

— Говорят, что наш дом скоро снесут,— проговорила Надежда.— Он ведь очень старый. А жалко.

Да, с этим домом было связано очень много такого, что Серебров вспоминал со смущением. Он бы не повторил теперь такого безумия.

— Пойдем, а то увидят,— сказала Надежда.— Мамы нет,— и двинулась к крыльцу.

Но он остался на месте. К нему опять вернулось ощущение растерянности.

— Нет, Наденька, не могу,— сказал он.— Через два часа я улетаю, а мне еще надо взять вещи и добраться до аэропорта.

Она досадливо взглянула на него.

— И никак нельзя отложить рейс?

Она еще верила, что владеет им и что он исполнит любую ее прихоть. Да, раньше он бы, не задумываясь, отложил любой рейс, чтоб остаться с нею, а теперь повторил:

— Нет, нельзя!

Она смутилась.

— А я думала, что мы посидим как обычно,— с разочарованием протянула она.

— Не все повторяется,— мягко, жалея ее, сказал он.

Она провела перчаткой по штaketине забора.

— Ты знаешь, Гарик, я очень прошу тебя, даже умоляю, скажи в контроле, что ты купил сруб для меня, а то ведь этого дурака Макаева сбросят с главного. Тебе ведь это ничего не стоит,— сказала она наконец.

— Стоит,— жестко сказал он. «Эх, Надька, Надька, никуда она не уйдет от Макаева. Она просто хотела разжалобить меня,— с обидой понял Серебров.— Ну бог с ней».— Есть честный выход,— проговорил он.— Уплатить. Может, все обойдется.

Она схватила его за лацканы пальто.

— Но я умоляю тебя. Нас же все знают. Поднимется такой шум. Помоги, Гаричек.

Да, все разговоры о разрыве с Макаевым были игрой. Серебров ясно понял это теперь. Да, впрочем, это ее дело.

— Нет, Надя, я не пойду на такое,— обретая ту прежнюю отчужденность, сказал Серебров.— До свидания. Мне надо идти.— И он высвободил лацканы пальто из ее рук.

Он поднял воротник и двинулся прочь от старого дома. Он шел, и ему казалось, что Надежда стоит под яблонями и смотрит вслед. Надеется, что он повернет обратно, пробежит эти пятнадцать шагов, скажет: «Я не могу без тебя!», и они поднимутся по скрипучей лестнице старого дома. Но он не обернулся, даже не взмахнул прощально рукой. Не мог он этого сделать. Ведь он был совсем другим, чем раньше. И почему Надежда не могла понять это. Впрочем, и сам он понял это только сейчас: начиналась серьезная жизнь, где он был в ответе за каждое слово, каждый, даже малый шаг.

СОДЕРЖАНИЕ

Разлад	3
Старые знакомые	16
Две командировки	39
Ночной спор	68
Какая птица самая коварная?	78
Капризная фортуна	89
На семнадцатом километре	106
Помазкины	120
Маркеловские университеты	135
Шеф и подшефный	146
«Райский уголок»	160
Соперники	177
От первой травинки до желтого листа	194
Берега	215
Утро поздней осени	244
Председательские дни и ночи	258
Ледяные цветы	278

Ситников В. А.

- С 41 Свадебный круг : Роман.— Дораб. переизд.—
М.: Мол. гвардия, 1986.— 292 с.
1 р. 10 к. 100 000 экз.

Героями романа кировского писателя Вл. Ситникова являются наши современники. Произведение рассказывает о жизни тружеников Нечерноземья, производственные дела и личные проблемы взаимоотношений героев находятся в центре внимания автора, поднимающего вопросы нравственности, бережного отношения к родной земле, добро-го и рачительного хозяйствования на ней. Роман привлекает хорошим проникновением в психологию героев, в характеры партийных и хозяйственных руководителей, достоверным изображением производ-ственной жизни и будней колхоза.

С 4702010200—051 136—86
078(02)—86

ББК 84Р7
Р2

ИБ № 4890

Владимир Арсентьевич Ситников

СВАДЕБНЫЙ КРУГ

Редактор В. Кравченко
Художник С. Соколов
Художественный редактор А. Романова
Технический редактор Р. Сиголаева
Корректоры Н. Мейланд, Л. Четыркина

Сдано в набор 30.08.85. Подписано в печать 27.01.86. А 08033. Формат 84×108 1/32. Бумага кн.-журнальная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 15,54. Условн. кр.-отт. 15,96. Учетно-изд. л. 16,7. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 10 к. Изд. № 1559. Заказ 5—307.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». 103030, Москва, К-30, Сушевская, 21.

Полиграфкомбинат ордена «Знак Почета» издательства ЦК ЛКСМУ «Молодь». 252119, Кисв-119, Пархоменко, 38--42.

**В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ЦК ВЛКСМ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
В 1985 ГОДУ ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ
СОВЕТСКИХ ПРОЗАИКОВ:**

- П. Автомонов. **Каштаны на память.** Роман. Перевод с украинского.
- Ю. Азаров. **Соленга.** Роман-исследование.
- Д. Ахуба. **Пристань.** Роман, повесть, рассказы. Перевод с абхазского.
- Т. Абулашвили. **Река уносит весть.** Перевод с грузинского. Серия «Молодые голоса».
- В. Быков. **Обелиск.** А. Рыбаков. **Неизвестный солдат.** Повести. Серия «Библиотека юношества».
- В. Блакит. **Чти имя свое.** Повести. Перевод с белорусского.
- В. Богомолов. **Сердца моего боль.** Повести, рассказы, роман.
- Б. Блинов. **Личное дело.** Повести.
- Ю. Бондарев. **Игра.** Роман.
- А. Герасименко. **Сайпан, Сайпан...** Повесть.
- М. Глинка. **Конец лета.** Повесть.
- А. Данильченко. **Дело совести.** Повесть.
- И. Дорба. **Под опущенным забралом.** Роман. Серия «Стрела».
- С. Залыгин. **На Большую землю.** Роман, повесть, рассказы.
- А. Иванов. **Под древней луной.** Роман, повести.
- Ю. Красавин. **Мастера.** Роман.
- В. Кочетов. **Журбины.** Роман.
- А. Коноплин. **Поединок над Пухотью.** Повесть. Серия «Стрела».
- М. Катюшенко. **Один дождь на всех.** Повести и рассказы. Перевод с белорусского.
- А. Ким. **Вкус терна на рассвете.** Рассказы.
- И. Капылович. **Над Припятью-рекой.** Рассказы. Перевод с белорусского.
- А. Караев. **Чаша Джемшида.** Повести и рассказы. Перевод с туркменского.

- В. Липатов. **И это все о нем.** Роман. Серия «Школьная библиотека».
- В. Личутин. **Повести о любви.**
- Н. Лугинов. **Песня белых журавлей.** Повести и рассказы. Перевод с якутского. Серия «Молодые голоса».
- А. Макаров. **Последний день лета.** Повести.
- Р. Мишвеладзе. **Кто здесь хозяин?** Новеллы. Перевод с грузинского.
- Т. Пулатов. **Страсти бухарского дома.** Роман.
- С. Сартаков. **Свинцовый монумент.** Роман.
- Категория жизни.** Сборник. Рассказы и повести.
- Л. Фролов. **Летающие тарелочки.** Повести и рассказы.
- И. Шамякин. **Петроград — Брест.** Исторический роман. Перевод с белорусского.
- Е. Шереметьева. **Весны гонцы.** Роман. ¹
- В. Яворивский. **Портрет по воображению.** Роман. Перевод с украинского.

